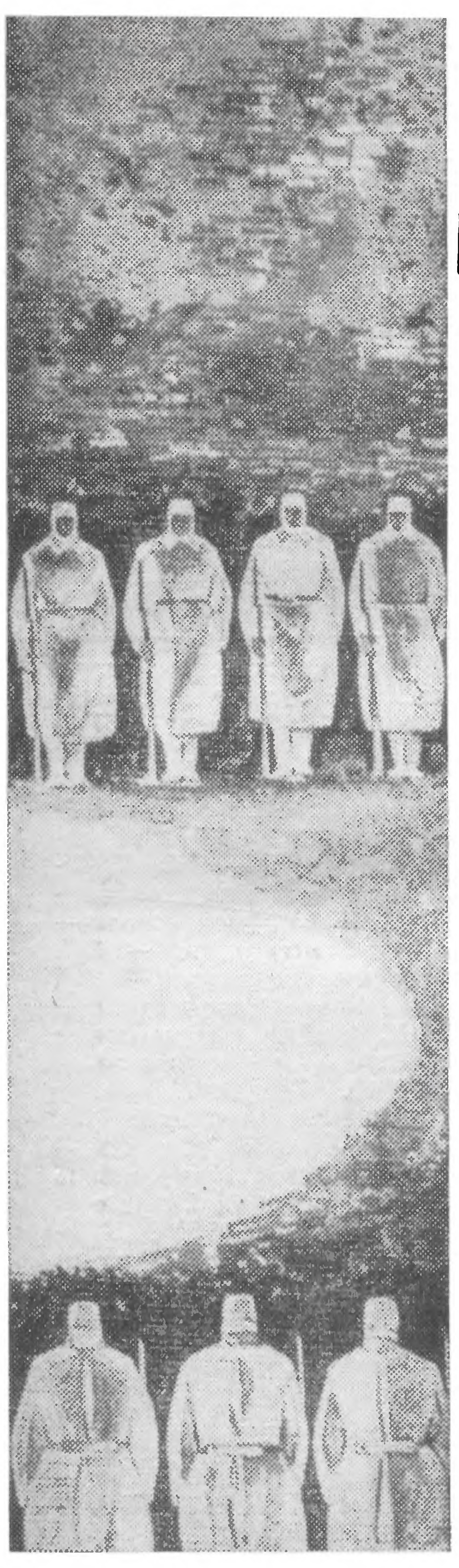
1972

2



Молодая гвардия





Ежемесячный
литературно-
художественный и
общественно-
политический
журнал ЦК ВЛКСМ

Молодая гвардия

1972 2
ФЕВРАЛЬ
ОСНОВАН В 1922 ГОДУ

В НОМЕРЕ:

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



Министр обороны СССР,
Маршал Советского Союза

А. А. ГРЕЧКО

СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В ОБОРОНЕ СТРАНЫ

Более чем полувековая история Советского государства — это история героического труда нашего народа, его напряженной борьбы за построение социализма и коммунизма в нашей стране, активной защиты завоеваний Октябрьской революции, выполнения им своего интернационального долга. На протяжении этой относительно короткой, но богатой величайшими событиями истории советский народ шел неизведанными путями, решал сложные экономические, политические и оборонные задачи. Ему пришлось не только строить новое общество, но и вести упорную борьбу с врагами, защищать свою Родину с оружием в руках.

В этой борьбе развивалось и крепло Советское социалистическое государство, росла его экономическая и оборонная мощь, международный авторитет и влияние на ход мировых событий. Одновременно росли и закалялись наши люди, воспитывалась и мужала советская молодежь.

За полстолетия объединенные силы международного империализма не раз пытались сокрушить нашу Советскую Отчизну. Почти десять лет нам пришлось воевать. Дважды наш народ поднимал свою Родину из руин и пепла и превратил ее в сильнейшую державу мира, успешно строящую коммунизм.

Какая же нужна была титаническая сила, чтобы выдержать все эти тяжелейшие испытания, выпавшие на долю советского народа, и стать после них еще крепче, сильнее, еще более утвердить в себе уверенность в окончательной победе социализма и коммунизма! Поистине «никогда не победят того народа, в котором

рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда» (В. И. Ленин).

Решающим условием великих побед советского народа на войне и в мирном строительстве является то, что во главе его стоит партия коммунистов, партия, созданная Лениным.

Именно наша партия, ее ленинский Центральный Комитет умело сочетали решение политических и экономических задач с укреплением обороноспособности страны, с созданием и развитием мощных Вооруженных Сил. На всех этапах истории Советского государства партия рассматривала обеспечение обороны страны как важнейшую составную часть коммунистического строительства, как необходимое условие мирного труда советских людей, как священный долг каждого советского человека. Это еще раз подтверждено XXIV съездом партии. «Съезд, — говорится в резолюции по Отчетному докладу ЦК КПСС, — с удовлетворением отмечает, что партия, ее Центральный Комитет постоянно держат в центре внимания вопросы военного строительства, укрепления мощи и боеспособности Советских Вооруженных Сил. Всемерное повышение оборонного могущества нашей Родины, воспитание советских людей в духе высокой бдительности, постоянной готовности защитить великие завоевания социализма и впредь должно оставаться одной из самых важных задач партии и народа».

Оборонные задачи встали перед Советским государством с первых дней его зарождения. Теоретические положения и способы решения этих задач были разработаны В. И. Лениным. Он определил и сформулировал основные цели и принципы вооруженной защиты социалистического Отечества, наметил развернутую программу организации обороны страны, заложил основы советской военной науки и военного искусства, дал блестящие образцы решения сложных вопросов военно-политического и стратегического руководства Вооруженными Силами. Ленинские идеи, развитые и обогащенные коллективным разумом партии, испытанные в огне многочисленных военных схваток с врагами, сложились в стройную систему взглядов, отправных принципов руководства обороной страны.

В. И. Ленин неоднократно указывал, что обеспечить правильное решение военных задач, рациональное распределение ресурсов государства, полную мобилизацию всех моральных и духовных сил народа на достижение победы в случае войны можно лишь на основе **единства политического и военного руководства.**

Правильность этого ленинского завета доказана всей практической деятельностью нашей партии. Во время войны она сосредоточивала все усилия, использовала все моральные, экономические и военные возможности страны для разгрома агрессора. «Все для фронта, все для победы!» — под этим лозунгом, выдвинутым партией в грозные годы Великой Отечественной войны, советский народ совершал величайшие военные и трудовые подвиги. В условиях мирного строительства партия умело и гибко использует возможности государства для одновременного решения народнохозяйственных и оборонных задач с учетом конкретной военно-политической обстановки в мире.

И сейчас, как отмечается в постановлении ноябрьского (1971 г.)

Пленума ЦК КПСС, в проводимой партией и Советским правительством ленинской внешней политике, «твердый отпор империализму и поддержка революционного, освободительного движения неизменно сочетаются с последовательным курсом на мирное сосуществование государств с различным социальным строем». В этой политике **миролюбие Советского государства слито воедино с готовностью дать решительный отпор любому агрессору.**

Советский Союз ни на кого не собирается нападать, не стремится к установлению политического господства в мире или к изменению существующего общественного строя в других государствах путем войны. Он не нуждается и в расширении государственных границ. Но то, что завоевано и создано руками советского народа, мы будем защищать со всей решимостью. И если враг нападет, мы готовы дать ему сокрушительный отпор.

Вместе с тем **Советский Союз всегда был и остается верен своему интернациональному долгу.** Усиление военной мощи нашей страны и проведение всех оборонных мероприятий осуществляются у нас, исходя из общих интересов обороны дружественных социалистических государств. Советский Союз и его Вооруженные Силы всегда готовы встать на защиту этих стран, обеспечить безопасность их границ. Любой агрессии со стороны империализма будет противопоставлена политическая и военная сплоченность всех государств Варшавского Договора.

Оборонное могущество нашего государства складывается из прочности его социального строя, экономической мощи страны, силы и действенности политики партии и Советского правительства, идейной сплоченности народа, крепости его морального духа, высокой боевой готовности Вооруженных Сил. Оборона страны — это кровное дело всего нашего народа. Все советские люди независимо от того, служат ли они в рядах армии или заняты мирным трудом, принимают самое непосредственное участие в укреплении обороноспособности государства.

Большой вклад в обеспечение обороны страны вносит наша замечательная советская молодежь. На всех этапах развития Советского государства она беззаветно защищала его, участвовала во всех боевых походах молодой Красной Армии, была в первых рядах участников оборонных строек страны.

Первое поколение советской молодежи прошло через огонь гражданской войны, было испытано в ожесточенных схватках с иностранными интервентами и внутренней контрреволюцией, в невиданно трудных условиях блокады, разрухи и голода. 14 государств наседали тогда на нашу страну, три четверти ее территории оказались в руках врага. В эти грозные дни по зову Коммунистической партии вся страна превратилась в военный лагерь. В первых рядах вооруженного народа были коммунисты, рабочие старшего поколения. Плечом к плечу с ними шли десятки тысяч молодых бойцов, комсомольцев, юношей и даже подростков.

Уже через три месяца после победы Октябрьской революции на подавление контрреволюционного мятежа белогвардейцев под Петроградом была брошена первая боевая молодежная сотня. Храбро сражались с врагами молодежные роты, батальоны, отряды бронепоездов из первых комсомольцев. Я сам пришел в 1-ю Конную армию 14-летним подростком и хорошо помню, что бо̀льшая часть нашего полка состояла из молодых людей.

Проведенные во время войны три комсомольские мобилизации

дали Красной Армии тысячи молодых патриотов Родины. История запечатлела массовые подвиги советской молодежи. Люди старшего поколения хорошо помнят тех безусых, туго перетянутых пулеметными лентами, в буденовках и черных бушлатах бойцов, которые вселяли страх в наших врагов.

В годы гражданской войны из рядов молодежи выдвинулось много талантливых полководцев, командиров и политработников, вожаков партизанского движения. В 25-летнем возрасте М. Н. Тухачевский вступил в командование армией, в 23 года И. Э. Якир стал начальником дивизии, в таком же возрасте Николай Щорс командовал бригадой и дивизией, а Анатолий Железняков Дунайской флотилией, был командиром полка, возглавлял партизанский отряд и командовал бронепоездом, 16-летним юношей начал командовать полком Аркадий Гайдар.

Закончилась гражданская война, и Коммунистическая партия призвала народ к мирному строительству, восстановлению народного хозяйства, не разоружая, однако, своей армии.

И вновь на трудовые подвиги, на укрепление оборонной мощи страны была призвана молодежь. Это она по комсомольским путевкам шла на ударные комсомольские стройки Магнитки и Кузбасса, Днепрогэса и Дальнего Востока, возводила корпуса заводов оборонной промышленности, на которых осваивалось производство новой боевой техники.

Серьезную помощь в укреплении обороноспособности Советского государства в период мирного социалистического строительства оказал Осоавиахим, ядро которого составила молодежь и ее передовой отряд — комсомол. Именно по инициативе комсомола развивалось это добровольное общество, готовившее технически грамотные кадры для армии и флота. Комсомольцы проявили инициативу в развитии массовых видов военно-прикладного спорта («Готов к труду и обороне») и в других важных мероприятиях оборонного характера. Получить значки «ГТО» и «Ворошиловский стрелок» считалось тогда большой честью.

В 1922 году комсомол взял шефство над нашим Военно-Морским Флотом, послав туда сразу 2500 своих лучших представителей. Через десять лет комсомольцы составили 75 процентов всего личного состава флота. В 1931 году комсомол взял шефство над Военно-Воздушными Силами и развернул большую работу по подготовке молодых летчиков и авиационных специалистов для военной авиации. Эта работа дала богатые плоды.

В 1941 году нашей стране была навязана самая жестокая и тяжелая из всех войн, когда-либо пережитых народом. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась почти четыре года. Она явилась величайшим испытанием прочности Советского социалистического государства, единства народа, партии и Вооруженных Сил, их мужества и преданности своей Родине. Миллионы советских людей встали на ее защиту и жертвовали собой ради будущего своих детей, своего родного Советского социалистического государства. В первые же дни войны на фронт отправились добровольно 900 тысяч комсомольцев, юношей и девушек. Тысячи их стали партизанами, подпольщиками в тылу врага.

Образцом непоколебимой стойкости и мужества советских людей была оборона Москвы, Ленинграда и Одессы, Сталинграда и Севастополя, Кавказа, Прибалтики и Советского Заполярья. В числе их защитников было много молодых людей, комсомольцев, которые

проявляли исключительную стойкость в борьбе с врагом. Именно о них тогда писали в донесениях и письмах: «Стояли насмерть!»

В годы войны мне довелось участвовать в битвах за Кавказ, на Украине, в Карпатах, Польше, Чехословакии. И должен сказать, что как в тяжелых оборонительных боях, так и в наступательных сражениях советская молодежь проявляла чудеса мужества и героизма. Приведу несколько фактов, из множества известных мне по фронтовой жизни.

В феврале 1943 года в боях за Новороссийск группа храбрецов, и среди них отделение морской пехоты, которым командовал комсомолец Михаил Корницкий, прорвалась в тыл фашистов. Враг отступал. Но, почувствовав, что моряков немного, фашисты окружили и подожгли дом, в котором засели отважные воины. Положение было трудным. И тогда, выбрав момент, когда гитлеровцы сосредоточивались для атаки, Корницкий подвязал несколько гранат к поясу, взобрался на забор и прыгнул в самую гущу врагов. Герой погиб, но 15 вражеских солдат тоже нашли здесь свою смерть. Товарищи были спасены.

В феврале того же года в боях на Малой земле героически погиб 15-летний воспитанник 144-го батальона морской пехоты Витя Чаленко. За героизм, проявленный в боях под Ейском, Темрюком, Новороссийском, Горячим Ключом и Туапсе, он был награжден орденом Красной Звезды. Витя Чаленко погиб при уничтожении вражеского пулемета, который в одной из атак преградил путь нашей морской пехоте. У него в кармане нашли блокнот и записку: «Если погибну в борьбе за рабочее дело, прошу командиров Вершинина и Куницына при первой возможности зайти ко мне домой в город Ейск и рассказать моей матери, что сын погиб за освобождение Родины. Мой орден, комсомольский билет и этот блокнот передайте мамочке. Пусть хранит и вспоминает своего сына. Передайте ей бескозырку, пусть помнит сына-матроса».

Во время боев в Карпатах в 1944 году младший сержант Иван Недвижай бросился на ствол вражеского орудия. Старший сержант Джуман Каракулов повторил подвиг Александра Матросова.

Бесконечно можно перечислять имена молодых патриотов, которые в годы Великой Отечественной войны на суше, на море и в воздухе, в партизанских лесах и в подполье проявляли чудеса храбрости и отваги. Не о славе и не о почестях думали советские воины, идя в атаку и закрывая своим телом амбразуры дотов, вступая в смертельную схватку с фашистскими танками и тараня немецкие самолеты в воздухе, ведя упорную и неравную борьбу в тылу гитлеровской армии. Жгучая ненависть к врагу, беспредельная любовь к своей матери-Родине, вера в правоту дела Коммунистической партии рождали массовый героизм советских солдат и офицеров. Тысячи имен славных героев, среди которых много молодежи, стали достоянием истории. О них сложены песни и легенды, написаны замечательные книги.

Никогда не забудется и героический труд молодых людей, вставших вместо своих отцов и старших братьев у станков заводов, на колхозных фермах и полях, стойко переносивших тяготы военного времени.

Наша Родина по достоинству оценила мужество и героизм молодежи и ее передового отряда — комсомола: более 3,5 миллиона комсомольцев награждены боевыми орденами и медалями, из 11 тысяч Героев Советского Союза — 7 тысяч воспитанники ВЛКСМ,

а шестьдесят из них удостоены этого высокого звания дважды. 100 тысяч из числа награжденных правительственными наградами — наши замечательные женщины, девушки, многие из которых пришли в армию добровольно.

И сейчас сложная международная обстановка, агрессивная политика империалистических государств, направленная в первую очередь против Советского Союза и других стран социализма, также требуют активного участия молодежи в укреплении обороноспособности страны.

Антисоветская направленность политики империалистов отравляет международную атмосферу, поддерживает напряженность, а в ряде случаев обостряет до предела политическую обстановку, держит мир под постоянной военной угрозой. За послевоенные годы империалисты развязали более трех десятков войн и вооруженных конфликтов разных масштабов. И сегодня полыхают опасные очаги войны на Ближнем Востоке и в Индокитае. Реакционные силы активно препятствуют решению назревших проблем европейской безопасности, пытаются вмешиваться в дела многих стран и народов. Они пускают в ход излюбленные методы политического шантажа и угроз, экономической блокады и массовых идеологических диверсий.

В последнее время под натиском прогрессивных сил империализм вынужден постепенно сдавать свои позиции, кое-где идти на уступки, менять свою тактику. Но его основные цели, антисоветская направленность политики не изменились. И вполне вероятно, что империалисты давно ввергли бы мир в огонь новой войны, если бы этому не противостояла политическая, экономическая и оборонная мощь Советского Союза.

В. И. Ленин учил, что «наши шаги к миру должны сопровождаться напряжением всей нашей военной готовности». Коммунистическая партия Советского Союза, ее ленинский Центральный Комитет никогда не забывают эти мудрые ленинские слова. Проводя миролюбивую политику, они в то же время укрепляют обороноспособность государства, проявляют неустанную заботу о развитии Советских Вооруженных Сил, оснащении их современными видами оружия и военной техники, о поддержании их высокой боевой готовности.

Сегодня Советская Армия и Военно-Морской Флот готовы отразить любую агрессию. Они оснащены всеми современными видами оружия: ядерным и обычным, стратегическим и оперативно-тактическим, наступательным и оборонительным. На их вооружении находятся ракеты различных радиусов действия, самолеты со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, атомные подводные лодки, способные действовать в любых районах Мирового океана, различные зенитно-ракетные комплексы, новейшие танки, противотанковые управляемые снаряды и другая военная техника. Наши молодые воины овладевают этой техникой и могут с высокой надежностью решать самые сложные и разнообразные задачи.

Если кратко характеризовать современный технический уровень наших Вооруженных Сил, то следует в первую очередь отметить такие особенности:

Первое — это сложность боевой техники, созданной на основе последних достижений науки и технической мысли, и одновременно высокая надежность ее работы. Сейчас почти все виды ору-

жия — это целые технические комплексы, состоящие из тысяч узлов и деталей, разнообразных приборов и устройств, воплощающих в себе новейшие идеи радиоэлектроники, телемеханики, кибернетики. В частности, современный самолет состоит из множества систем и агрегатов, оснащен разнообразным вооружением (ракеты, бомбы, снаряды и т. д.). Его оборудование включает несколько десятков радиоэлектронных устройств, в кабине летчика установлено большое количество сложных приборов. Даже такой сравнительно простой вид техники, как танк, ныне превратился в сложнейшую боевую машину. Вот показатель: если в создании танков периода прошлой войны участвовали лишь четыре типа заводов, то сегодня — несколько сот предприятий различного назначения. А современный боевой корабль! Он стал настоящей плавучей крепостью, оснащенной новейшими системами вооружения и управления.

Второе — высокий уровень моторизации и механизации Вооруженных Сил. Только за последние годы суммарная мощность моторов нашей мотострелковой дивизии увеличилась в несколько раз. Энергетический потенциал соединений и частей исчисляется теперь десятками тысяч лошадиных сил. Это резко увеличило подвижность войск, их способность вести мобильные и динамичные боевые действия, быстро осуществлять передвижения на большие расстояния.

Третье — непрерывное возрастание степени автоматизации управления войсками, оружием и боевой техникой. Уже сейчас действуют автоматизированные системы, счетно-вычислительные пункты. Каждый год их количество увеличивается, создаются комплексы автоматизированных систем, которые в случае необходимости будут использованы при планировании и ведении боевых действий.

Научно-технический прогресс нигде не происходит с такой быстротой, как в военном деле. Это постоянно выдвигает все более высокие требования к личному составу армии и флота, к их образованию и технической культуре.

Основа боевого могущества нашей армии — солдаты, матросы, ее командный состав. Их политическая закалка, преданность своему народу, готовность в любой момент, не щадя жизни, выполнить свой воинский долг, придают нашим Вооруженным Силам ту монолитную сплоченность, которая служит источником их доблести и массового героизма.

Основной состав армии и флота — это молодежь 19—20-летнего возраста. Две трети из них — комсомольцы. Из молодых людей состоит значительная часть офицерского корпуса Вооруженных Сил. Естественно, что они привносят в войска тот молодой задор и неиссякаемую энергию, которые в сочетании с богатым военным опытом офицеров и генералов старшего поколения образуют надежную основу квалифицированного, творческого и инициативного руководства войсками.

Каждый год в армию и на флот приходит новый отряд молодых людей, решивших посвятить свою жизнь военной профессии. Они обучаются в наших военных училищах, которые выпускают офицеров с высшим военным и специальным образованием. Впоследствии они становятся замечательными кадровыми командирами, политработниками и военными инженерами высокой квалификации. Советские офицеры живут интересной, творческой жизнью,

ибо их труд одухотворен высокими целями защиты своей Родины.

Наши Вооруженные Силы — это частица всего народа. Но вместе с тем это особая категория людей, ибо они решают свои особые задачи. Их труд нелегок. Он требует строжайшей организованности и дисциплины, умения и способности стойко выдерживать большие физические и моральные нагрузки. Вся жизнь и служба в армии и на флоте строго регламентирована уставами и приказами начальников. Это требует от воинов определенного напряжения, подчинения своей воли распоряжениям старших начальников, готовности делать то, что нужно в интересах службы. Все это, естественно, связано с некоторой ломкой характера, изменением навыков и привычек. Однако трудности воинской службы не должны пугать молодых людей. Они во многом зависят от их морально-психологической и физической подготовленности.

Но не только с трудностями связана воинская служба в нашей стране. Она открывает широкий простор для творческого развития человека, его духовного обогащения, воспитания мужества, воли, энергии и инициативы, вырабатывает в человеке организованность, трудолюбие и стойкость, физически и морально закаляет его и приучает к дисциплине и порядку.

Юноша, придя в армию, включается в единую боевую семью, становится членом сплоченного воинского коллектива. Перед ним открывается не только романтика учебных и боевых походов, но и возможность узнать много нового, интересного, получить полезную профессию, одинаково нужную как в военном деле, так и в мирном труде. Известно, что в армии и на флоте готовят высококвалифицированных специалистов — механиков, радистов, локаторщиков, водителей автомашин, строителей, электротехников и др.

Служба в армии — важный этап в жизни каждого молодого человека. Многое из того, что приобретается в армии, остается с ним на долгие годы жизни. А самое главное — это то, что она вызывает у человека ни с чем не сравнимое чувство глубокого удовлетворения, сознание полезности и необходимости ратного труда.

Наша Родина высоко ценит патриотизм советской молодежи. На всех этапах социалистического строительства, на фронте и в тылу юноши и девушки не раз показывали ясное понимание стоящих перед страной задач, проявляли величайший трудовой и боевой энтузиазм. И сейчас наша молодежь трудится в первых рядах строителей коммунизма. Известно, что почти 40 процентов всех трудящихся, занятых в народном хозяйстве Советского Союза, составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Только за последнее пятилетие в трудовой строй влилось около 15 миллионов юношей и девушек. У нас почти 5 миллионов студентов вузов, 4,5 миллиона учащихся средних специальных школ, училищ и техникумов. Армия ежегодно получает хорошее пополнение молодых людей, имеющих, как правило, среднее и высшее образование, обладающих широкими познаниями в различных областях.

Однако для службы в армии наряду с высокой грамотностью требуются и физическая, политическая, психологическая и специальная подготовка. Еще до призыва в армию будущие воины должны готовить себя к воинской службе, овладевать основами военного дела, вырабатывать в себе качества, необходимые в ар-

мии и на флоте. Такая подготовка начинается обычно еще со школьной скамьи, в различных кружках и на курсах. Большую работу в этом направлении ведет у нас Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). В системе этого общества работает широкая сеть аэроклубов, радиоклубов, автомотоклубов и кружков, где молодежь обучается различным специальностям, необходимым для армии и флота. Вместе с другими молодежными организациями ДОСААФ вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины.

Важное государственное значение в повышении обороноспособности страны и подготовке молодежи к защите Родины имеет Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности», принятый в октябре 1967 года третьей сессией Верховного Совета СССР седьмого созыва. Установленные Законом новые сроки службы в Вооруженных силах (до 2—3 лет, а для имеющих высшее образование — 1 год) предъявляют повышенные требования к допризывной подготовке молодежи. Такая подготовка проводится в обязательном плановом порядке повсеместно, без отрыва от производства и учебы. Ее главная цель — ознакомить молодежь с основами воинской службы, дать общие начала военных знаний, чтобы, прибыв в часть, молодой человек мог увереннее влиться в воинский коллектив и быстрее освоить свои новые обязанности.

Разумеется, подготовка молодежи к выполнению воинского долга не может быть сведена только к военно-техническому обучению. Она неотделима от идейно-политического и военно-патриотического воспитания. Необходимо, чтобы каждый юноша в повседневной жизни воспитывал в себе идейную убежденность, любовь к своей великой Родине, преданность делу Коммунистической партии. Твердость духа, умение ориентироваться в обстановке, внутренняя собранность, сообразительность, быстрота реакции, которые сейчас особенно необходимы в военном деле, должны стать непременной чертой характера каждого молодого человека.

Важно, чтобы эти черты характера воспитывались в человеке с детства. Немалую лепту в этом отношении призвана внести Всесоюзная военно-спортивная игра «Зарница». За несколько лет эта игра приобрела массовый характер, стала одной из важных форм в деле военно-патриотического воспитания молодежи. Ежегодно в «Зарнице» участвуют свыше 15 миллионов пионеров и школьников нашей страны. Здесь они воспитываются на боевых и трудовых традициях Коммунистической партии, советского народа и его Вооруженных Сил. Ребята получают первые военно-спортивные навыки, необходимые для перехода к начальной военной подготовке в старших классах. Кроме того, улучшается их физическое развитие и закалка.

Широко развернулось в нашей стране и другое патриотическое движение школьников — красных следопытов. Оно возникло и развивается под лозунгом «Никто не забыт, ничто не забыто». Десятки тысяч имен доселе безвестных героев Великой Отечественной войны стали достоянием гласности. Советские люди получили возможность воздать им заслуженные почести. А маленькие патриоты почувствовали свою причастность к большому и благородному делу, прониклись уважением к подвигам героев, к их ратной славе. И отсюда, как естественное движение души,

родилось шефство над ветеранами и инвалидами войны, бережное отношение к воинским реликвиям, которые хранятся в многочисленных музеях боевой славы.

Так от мала до велика поддерживается в нашей стране глубокое уважение к Советской Армии. Человек, одетый в солдатскую шинель, вызывает всенародное уважение. Поэтому-то оборона нашей страны имеет самый прочный фундамент — поддержку и признательность всего народа.

Со страниц молодежного журнала «Молодая гвардия» мне хочется сказать советским юношам и девушкам: крепите оборону нашей великой Родины, настойчиво готовьте себя к активной защите социалистических завоеваний советского народа, будьте достойными преемниками старших поколений.

Леонард ЗОЛОТАРЕВ



Липа вековая

РАССКАЗ

По проселку, облитому сентябрьским серебреющим солнцем, часто останавливаясь и отдыхая, движется тощий и длинный старик в изрядно обтерханном солдатском бушлате. Ему помогает идти крючковатая палка — давняя спутница его путешествий. Вдаль старик видит явственно, зорко, вблизи дорога ему неожиданна и беспокойна. «Все ямки с тобой пособираем, — беседует он со своей палкой, словно с живым существом. — Каждая нашей будет». Тыкаясь в придорожье, в еще не просохшую канаву, в

Леонард Золотарев — имя в литературе новое, вырос он на Орловщине, в крестьянской среде, в той удивительной стихии народного языка, которая уже сама по себе является прекрасной школой для человека, одаренного художническим видением жизни.

На любого человека, тем более на будущего художника, окружающая его с детства среда накладывает неизгладимый отпечаток, именно она формирует его нравственное и философское понимание жизни, начинает просвечивать затем в его произведениях; мы замечаем и чувствуем это и в рассказах и очерках Леонарда Золотарева. Нелегкий крестьянский труд, неповторимая среднерусская природа в ее неброской, как бы притушенной, но в текучей, искрящейся красоте, характерная для средней

бурьян и кустарник, палка тянет его все вперед, к горизонту, где на взлобке, подрагивая, разлилось по проселку водянистое марево. Старик несет свое тело бережно, голову держит ровно и прямо; скашивая вбок глаза, жадно ловит широкими ноздрями густой, терпкий воздух с садов и полей.

Красотища какая! Зелено, живо все еще — дожди да дожди. На что полынь, а и та молодится. Хотя в это время ее, бывало, уже собирали да пихали под постели. От блох. А теперь чище жить стали, ишь стоит — не нужна...

Вот из этих мест лет с полсотни тому, подперев калитку плетневую коромыслом, зашагал он, молодой да здоровый, в город. На деньги. Вон тех белых шиферных крыш тогда не было. И поселка того вон. И сада. И поля теперь гонами в два километра. Жили люди тут, пока ты раскатывал. Не сказать, чтоб боялся работы, — работал. Только чуть что, бывало, — мастерок иль топор за плечо и айда в другие места, прощевайте. Помотался от Турксиба до Воркуты. Ни с семьею, ни с домом так и не получилось. Потому-то и звал сам себя, где бы ни появился, Перекати Колей. Звал невесело, с горькой усмешкой.

Не имелось у него страстей-привязанностей, кроме как одного: был любитель он книжек и читал их запойно, что ни попадя. В торбе его, которую звал Перекати Коля «книжной лавкой», перебывала всяка всячина: книжки по истории древнего мира, по учению Канта и про африканских термитов... Пробовал даже сам пописывать — с коих пор в торбе три толстенные тетради. А в последнее время его волновали стихи. Знакомый паренек Ленька Синяев,

---

полосы России, где бескрайние степи соседствуют с лесами, воспитали в Леонарде Золотареве бережное, доброе видение человека, научили его прослеживать многочисленные, тончайшие связи человека и земли, на которой он рождается, живет и трудится...

У Леонарда Золотарева есть талант, знание народной жизни, чувствуется богатая языковая одаренность. И это тотчас понимаешь, прочитав хотя бы один его рассказ, тот же «Аксиньин свет», рассказ очень емкий по характерам и результатам, и хочется от души пожелать молодому писателю больших свершений на трудном литературном пути.

Петр ПРОСКУРИН

журналист, подарил ему «Песню о Гайавате». Перевел ее с английского русский писатель Иван Алексеевич Бунин, когда в Орле жил и работал в газете. Бережет старик Ленькин подарок, завернул даже его в целлофан. Увидал как-то на областной карте две деревни с названием Бунино, удивился, собрался даже наведаться в них, а пришлось тащиться сюда вот, к родимому корню, к своей изначальной земле. Остарел, заплошал Перекати Коля в какой-нибудь год, по утрам уже не в подым, и воды — захворай — подать некому. Да куда ж, не в артельный же дом как безродственному, к старикам, инвалидам. Вот и шел теперь к себе, ближе к погосту, где лежат отец-матерь.

— Какая деревня? — спросил он рисовальщика — паренька возле пруда, чтобы как-то заговорить с ним, отпустить свою душу.

— А, Полозово.

Постоял, посмотрел ему через плечо. Ловко тот орудует краской, возникают на бумаге дома под железом и шифером, и спросил, удивясь своей робости в голосе:

— На заказ, что ли?

— Нет, — сказал паренек и обернулся. Оглядел старика: — Учусь в Москве на художника... А деревня, дед, сия ис-то-рическая. Художник Шварц — слышал, был такой в прошлом веке? Между прочим, — сыпал парнишка, — жил он рядом тут, в Белом Колодезе, в тридцать один год ходил в академиках, родоначальник русской исторической живописи. Известна его еще дорепинская картина «Иван Грозный у тела убитого им сына»... Так вот с нее, с этой Полозовой, и написал академик пейзаж в своей картине «Вешний поезд». Сирые хаты, к весне голые слеги... А писал он с этой же точки.

— Скажите, — вздохнул старик, потоптался на месте, оглядел еще раз деревню и опять зашагал, застучал по проселку своей крючковатой палкой.

— А мы-то с тобой, дураки, и не знали, — бранил он ее так, для порядка, беззлобно. — Исторический живописец!.. Ты-то, конечно, магнитогорская, а я, гляди, тутошний, мужлановский я...

В это самое время навстречу старику Перекати Коле по дороге из Белого Колодезя двигались двое — садовод Семен Семеныч Чубаров и его внук Алешка. Их автобус полуденным рейсом не прибыл, и они шли на большак, чтобы сесть на какой-нибудь проходящий. Солнце висело

по-над ракитами. Недлинная улица — с давними каменными постройками в узорную кладку, с мезонинами, с национальным орнаментом — полнилась нынешней жизнью: всезнающими ребятишками, тюлем на окнах, ящиками из-под вермута у магазина, обязательствами на стенде у совхозной конторы...

Был самый сезон: белоколодезский воздух бродил, словно сок отборной антоновки. И Чубаров вдыхал его, размягчаясь, хмелея. Иногда блики ложились ему на расстегнутую у шеи ковбойку, на торчащий из-под нее треугольник тельняшки, и тогда, как юпитером, выхватывало на переносице родинку, выделяло смуглость и пористость кожи. И странным было сочетание серебристых висков с темными, буйными по-молодому бровями. Он шел, слегка подаваясь к земле, словно тянули его большие, чугунные руки, и думы его были невеселы. Он представлял, как пройдет и этот сезон — его последний сезон. Полетят белые мухи, и некуда будет спешить утрами, некуда будет деть эти ставшие враз ненужными руки. Но и весною и осенью дел не прибавится. И он станет приходить сюда просто так, на прогулку, в сады, которым отдана жизнь.

Не ведал Алешка, что творилось в душе деда.

Был паренек блондинист и круглолик, с чуть грустнеющим взглядом; губы сочны и крупны — верная примета доброты, покладистости человека; смеялись люди — ими хоть валенки подшивай. И шли Чубаровы каждый за своим делом. Семен Семеныч — в райсобес, насчет оформления пенсии. Алешка ехал в город впервые — устраиваться...

Стоит на мужлановском свертке огромная липа, стоит распушается. Лет сто ей, а может, и двести. Кора ее обтрескана, обмыта, обтрепана ливнями и ветрами. Любит вверх-вниз по ней пробежаться всякое муравье, особо когда под напором сока лопнет где-либо сладкая кожа, тогда и бегут на оказию взводы и батальоны — напрямик через ямы, шершавины...

Когда Чубаров с Алешкой подошли к липе, старик уже сидел под ней, задумчиво трогал своей крючковатой палкой муравьиную кучку. На развернутом кем-то вершке лежал кусок сахару. Старик наблюдал, как суетится вокруг него мелкая живность.

— Когда ж это они все зачинят? — присаживаясь на обочину, интересуется Семен Семеныч.

— А соберут совещание, составят смету, согласуют

с начальством, — посмеивается глазами старик и вздыхает: — Гляди, бьются. И у них это так: кто кого смог, тот того с ног.

— Как зовут-то тебя?

— Перекати Коля.

— Так и зовут?.. Мудреный ты, дед, — косится на него Семен Семеныч и сладко вытягивает ноги. — А ну, Алешк, чего там у нас?

Алешка долго роется в сумке, наконец извлекает лепешки — свойские, пресные, в рубчик. Потом появляются малосольные огурцы. Добрый хлебный дух перемешивается со сладковато-укропным, возбуждает слюну, рождает желание провернуть ее языком.

— Эх-хе-хе, — вздыхает Перекати Коля. — А мне вот не естся, не пьется, никак не умрется. А что яблочка нетти у вас?

— Да ты, дед, еще справный, — улыбаясь, запускает Алешка свои крепкие зубы в лепешку. — Еще поживешь, потянешь. А что это в торбе?

— Деньки потянутся — ноги протянутся. С год назад вся внутренность тверже была, а теперь все дрожит... А в торбе-то книжка. Во! «Песня о Гайавате». Слыхал? «Дай коры мне, о береза! Дай мне, ель, смолы тягучей, дай смолы своей и соку»... А что, яблочка нетти?

— Эх, жисть! — жуя, вздыхает Чубаров и косит в сторону, откуда должен показаться автобус. — Молодой боится, что остареет, а старый — околеет.

Перекати Коля прячет книгу обратно. Сидит молча, глядя прямо перед собой.

— Везу вот Алешку и свои документы, возвращусь обыденкой... Нá, жевни, — подает старику Семен Семеныч лепешку. — Отрываю мальца от титьки. Нехай там учится телевизоры исправлять. Копейка сейчас, и какая!

— Эка куда! — оживает Перекати Коля.

— Десятилетку Алешка закончил. Хочу, чтобы стал человеком. Вернется внук мой в деревню — наденет серкальные очки, сядет в пузово личной машины...

— А как же, — посмеивается Алешка. — Сейчас материальная заинтересованность... Только я тебе уж сказал! — твердеет голос Алешки. — Пойду на художника. Кистью пойду свое брать.

— Ишь ты, Александр Македонский, — усмехается Перекати Коля. — Кистью города завоевывать! А скажи мне, чем знаменито здешнее Полозово? Молчишь? То-то...

И я когда-то тоже был — во! Усы аж за ухо закидывал. А теперь гляди, на губе три хворостинки и спину колом поставило.

— Все гнулся небось, — буркнул Алешка под нос себе, но Перекати Коля услышал.

— Молодой человек! — Старик, когда начинал закипать, всегда говорил неспешно, отделяя каждое слово. — Ты, скажу тебе, еще что картошка июльская: молода рубашка-то, р-раз и нетти. Губа толста, душа проста.

— Надо гнуться, не то поломает, — встревает в разговор Чубаров. — Да-а. Жизнь всякого производит восклицательным знаком. А получит человек бойла — глядишь, загибается, ходит уже вопросительным. Вопрошает в общем: что почем, для чего? Так-то легче. А восклицательных, как гвоздей, вземь по самую шляпку...

— Каждого не загонишь, — тряхнул головою Алешка. — Новые народятся... Стране нужны не загибшие, а здоровые, сильные!

Муравьи уж заделали вершок и по стариковой палке, прислоненной другим концом к липе, потекли жидкой струйкой к стволу, поползли в шелестящую высь.

Призатихли путники, наблюдая за муравьиною братией, упорно лезущей к солнцу и листьям, туда, где крупнела широкая купа. Иногда полевой ветровей, налетая, задирал ее — и сверху донизу начинали ходить полосатые волны, солнце вникало в матерые теми, где и лучилось в бисеринках еще не просохших утренних рос. Перебивая суету воробьиной компании, ссорящейся на самой макушке, шелестит липа, шумит, ходит над головой — липа, липушка вековая. Лето — осень, осень — лето пройдут, но все будет здесь, на скрещенье дорог, как и сейчас: муравьи струиться, купа шептаться над путником — но то будут иные люди и времена...

— Интересно узнать, чем все это кончится? — нарушил молчание Перекати Коля. — Жилось и не думалось, а пришел час — жалко, что и ног на койку скоро не заведу. До погоста вот доберусь и лягу с отцом-матерью рядом. И с бугра все видать будет, и буду с полями я говорить-разговаривать, коли в жизни не наговорился, и ветра принесут дух мне полынный, ромашковый... Хорошо, Алешка, по белу свету побродить-поглазеть. Завоевывай город, а от земли своей ни-ни-ни. Да не шибко бери, а то мигом схрястают, скусят головушку.

— Сирота он у меня, — сказал Чубаров раздумчиво, — боюсь, дюже горяч. Весь какой-то зачитанный. Ищет смысел по книжкам, правду жизни, стало быть.

— Что ты знаешь! — вспыхнул Алешка. — Сам зарылся в сады, а меня туда ж — в телемастера!.. Техника будет выращивать сады, убирать урожай, а людям — заниматься искусством, совершенствовать жизнь.

— Говорить ты востер, — не сдавался Чубаров. — А вот когда дело — в кусты. Цельну зиму проучился на механизатора, а как лето — не на трактор, а в город. Художником ему! Не хочешь на этого... на телемастера, сам тянись-учись — на копейках. Последний крест с деда не сымешь. Скотину и ту держат впроголодь, чтобы на зов хозяина шла.

— В бригадиры б тебя, Семен Семеныч, — не унимался Алешка. — А то б управляющим... До пенсии дошел, а что понял? Ну скажи: для чего стоит эта липа с листвой своей, какой прок от нее?

— А для чего на тебе одежа?

— Га, одежа? — очнулся от дум Перекати Коля. — Одежа носится не ношением, а бережением. — И, словно вспомнив что-то, снял затертую шапку, достал из подкладки иголку с ниткой, принялся зашивать дыру на колене. Смахнул муху со лба. — Мухи, гляжу, пошли злые. Осень же. Не так кусаются, как щелокотно полозиют, вроде бы как ногтями тебя.

— Куснет, брат, и до крови, — отозвался равнодушно Чубаров и, задумавшись, долго глядел на дорогу, на сады, темневшие на горизонте.

— Кровь, брат ты мой, кого только не тянет... Повадился, помнится, заяц в сад, глодать саженцы. А я возьми да намажь их бычиной кровью. Для устрашения. Нашлось воронье, добела склевало кору...

Так сидели они, рассуждая про то да про се. Словно цеплялось одно за другое. Речь то вспыхивала, то затухала. А липа прислушивалась да шевелилась каждым листом, каждою веткой — липа давняя, вековая.

Не дождавшись автобуса, Чубаров с внуком засобирались домой, позвали с собой и Перекати Колю («а что, не проживешь нас, не объедишь»). Но тот отказался, остался под липой, начал устраиваться на ночлег. И пошли они, дед с внуком, заторопились, чтоб дойти домой засветло, побрели по дороге на Белый Колодезь. Прохо-

дили поселком Кубанью, деревенькою Шишкино, мимо нового клуба. Поспешали липовым парком. Аллеи подводили к церквушке — крепенькой, из красного кирпича, со снесенным куполом, отчего она казалась приземистой, незавершенной.

Замечательны вокруг были сады, новый цех-красавец по изготовлению соков. Шел Чубаров, отдыхая душой, радуясь, что идет с Алешкой снова садом. Редки были яблоки здесь тогда, в сорок третьем. Полтора года стояла передовая, полтора года убивала сады. Здесь Чубаров высадил первый свой саженец, денно и нощно трудился. Были почетные грамоты, были ордена. И вот уберет урожай, да на пенсию. Это его последняя осень в садах. Сады — вот что оставляет он людям. Разве ж этого мало — сады?..

Подобралась ночь. Луна еще не взошла, оттого в парке было глуховато и жутко. Ноги то падали вниз, то спотыкались. При свете звезд виделась кладка из светившихся слежек-берез. На бугре возник чубаровский дом-пятистенник. А позади, в парке, липы все так же стояли стеной; на одной из них репродуктор сочным, глубоким голосом, с затаенной страстью пел арию Далилы. Голос все закипал, закипал, взлетал ввысь, проходил над деревьями, утекал далеко-далеко, на мужлановский сверток, к одинокой липе на перекрестке, по стволу от макушки спускался вниз к комелю, где приткнулся Перекати Коля. Он лежал на бушлате, уперев голову в торбу — свою «книжную лавку», и, еще не остыв, продолжал вспоминать спор Чубарова с внуком Алешкой.

«Город тебя пережует да и выплюнет», — горячился Семен Семеныч. «А я костистый», — огрызался Алешка. «Придет время — все побежите от камня. Земля есть земля».

Старик лежал, подложив обе руки под затылок, и глядел вверх, и чуял сквозь липу немигающий свет Полярной звезды, и губы в такт шелестению листьев шептали:

Пел мне песнь о Гайавате...
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде...

И представлялось ему, что он, Николай Дмитрич, в родимой Мужлановке, на бригадном дворе: пришел сюда с утречка, пока механизаторы еще не отправились в поле.

Он читает Бунина односельчанам, и люди слушают, внемлют ему, как пророку. А облака все текут и текут, восходя от земли, проникая сквозь него, как сквозь эту вот липу — липу давнюю, вековую. Был когда-то Иван Алексеевич Бунин — не стало. Не станет и его, старика, и тело его исчезнет, сольется с землей, но влага душевная, перейдя в такие вот облака, будет плыть над людьми, над полями, над временем, пока не прольется где-нибудь благодатным потоком.

с. Белый Колодезь



РАССКАЗ

В полдень с ней случилась беда. Снег, обильно выпавший ночью, завалил крышу, крыша прогнулась, прогнившая балка наконец хрястнула, и не успела Аксинья метнуться в сторону из-под коровы, как что-то тяжелое, мощное лупануло ей в спину. Когда подбежали подружки-доярки, она уже была на себя не похожа: враз посерела лицом. Она жадно хватала ртом воздух, приподнималась и падала, упираясь руками в навоз, и не могла раздышаться. Рядом, в беломолочной луже, валялся подойник.

Сколько раз говорила она бригадиру про эту проклятую балку: «Подведет она когда-нибудь под монастырь. Ишь, нависла над симменталками». — «Ни черта ей, — отсмеивался бригадир, с утра изрядно хвативший, — перестоит и тебя». А выходит, не перестояла...

Прискочил из Пантелеевки председатель, помогал грузить в свой «козел» пострадавшую. Аксинья уже пришла в себя, смотрела на председателя укоряющим взглядом, но не говорила ничего, лежала, словно колода, даже пальцем не двигала.

Прибежали из школы перепуганные ребятишки Аксиньины — Ваня и Олечка, упали перед ней на солому. Аксинья смотрела на них, и крупная светлая капля, сорвавшись с ресницы, тихо ползла по щеке...

В больнице Аксинья лежала в двухместной палате. Лежала, провалившись во тьму, три недели. Очнувшись, увидела белые стены, услышала запахи, которые слышала только единожды, когда болел горлом ее меньшой — Ванечка, и потому не сразу-то поняла, где она и что с ней. Потом Аксинья почувствовала неудобство позы, в которой она пребывала: лицом вниз, руки и ноги на привязи, почти вся на весу, на каких-то распорках... Она напрягла свою память и вспомнила тот злополучный полдень на ферме.

Соседка ее была давней жительницей этой палаты. Она уже полегонечку двигалась на костылях, иногда, подсев к Аксинье, принималась рассказывать про свою жизнь, про работу. Боль в спине вроде бы притишалась, когда Аксинья вслушивалась в ее неторопливую речь. Лет сорок уж — да сколько помнит себя — Мария Степановна проработала на механическом заводе в Подрудном. И специальность слесаря здесь получила, и в партию вместе с мужем вступила. А с полгода тому, в буран, вышла из цеха, видит, кран сорвало с колодок — прет по рельсам прямо на цех, на людей. Закричала, бросилась с подвернувшейся чушкой на рельсы. Кран-то приостановила, да и самой вот перепало.

— Сюда, милая, на короткое время не попадают, — говорила Мария Степановна, — так что лежи, терпи. Привезли врачи — значит, надеются. Была тут до тебя одна — Любочка... с контузией... все плакала... сгорела совсем... А вот Вера Ивановна до нее... с переломом спинного хребта... сильная женщина... на поправку увезли, на курорт...

Иной раз слова соседки проходили как-то мимо сознания Аксиньи, не трогали ее, не задевали. Она лежала и думала о своих ребятах, Ване и Олечке («кому они теперь, горемычные?»), о своем муже Василии («и вовсе теперь отобьется от дому!»). И мысли ее переходили на родное, привычное: на двор свой, на хозяйство, на ферму... Вспоминались симменталки, которые достались ей от тетки Фиёны, с позором изгнанной за безделье с фермы. Каких трудов стоило Аксинье наладить, настроить симменталок на молоко...

Проходил месяц, другой. Дело не улучшалось. Кол, однажды вступивший в спину, так и держался, не проходил. Иногда Аксинья, удивляясь, наблюдала, как Мария Степановна делает какие-то непонятные движения руками, ногами: узнала потом — физзарядку; как массирует усохшие ноги энергичными, сильными пальцами, тяжело дышит, утирая обильный пот полотенцем.

Через полгода Марию Степановну отправили на курорт. Аксинья умолила врачей, чтоб ее отвезли домой, к детям.

Ее провезли на машине в крестах через Синь-Колодезь, весь в вишневых садах, пронесли на носилках через двор, на котором с детства она топтала подорожник босыми ногами, положили на постель, в клетушке за печкой, где в студеные зимние дни содержался, бывало, теленок. Явились Ваня и Олечка. Семилетний Ваня сейчас же стал показывать матери палку, из которой он сделал себе автомат, а двенадцатилетняя Олечка мигом слетала в сад и принесла решето, полное чернеющей вишни. Аксинья улыбнулась детям уголками губ, глянула на потолок, знакомый до каждого потека-разводинки, и облегченно вздохнула. И начала ждать Василия.

Василий приехал домой уже ночью. Замерев, Аксинья видела, как он осторожно прошел к столу, присел, оперся на локти и просидел так часа полтора, глядя прямо перед собой в одну точку. А утром, чуть свет, подошел к ней (она притворилась спящей), постоял, сняв картуз, и снова на дворе загудел Васильев «газон», покатил по колхозным делам.

Аксинья попросила, чтобы ее постель подняли выше и придвинули ближе к оконцу, выходящему во двор. Отсюда виде́лась ей и часть улицы. Вот Олечка («моя дорогая помощница») вышла покормить кур, а потом прошла с тяпкой на огород. Вот Ваня погнался за бабочкой и

плюхнулся голяком на крапиву. А во-он подальше сосед Чепель спешит с сумкой куда-то. Чепелиха, наверно, послала в лавку за хлебом... Все проходит перед глазами Аксиньи, вся деревенская жизнь, будто бы и не отлучалась Аксинья в больницу, вечно жила здесь, глядела на все, как вон та старая ракита, которую тоже ведь с места не сдвинешь. Как воткнул ее прутом вземь возле хаты Аксиньин дед родной по отцу, прозванный в Синь-Колодезе Берендеичем, так и стоит...

Наведывались подружки-доярочки, приносили всякие новости. Говорили, что Аксиньину группу отдали вчерашней десятикласснице Алене Ручьевой — дочке старой доярки Матрены Кондратьевны. «У этой твои коровки не пропадут, — тараторили Аксинье подружки. — Уже сейчас выходит девка по колхозу на третье место». Иногда девчата приносили Аксинье гостинцев и книжек, Аксинья слушала и молчала, и нельзя было понять ее, радуется ли она приходу подружек, желанны ль для нее эти книжки, гостинцы.

Девчата передавали ей все, что носило по деревне досужее «бабье радио»: кто на кого взглядывает томно, в какой хате намечается свадьба, кого выдвинули на орден, а кто на зерноскладе проворовался... Но однажды Аксинья почувствовала в девчатах что-то неладное. Постояли они, потолковали про то про се, затеяли было о зяби, но лишь только Василий, вернувшийся вторым рейсом со станции, шагнул на порог и завозился в загнетке, покосились на него и одна за другой потихоньку исчезли.

До ночи Аксинья пребывала в смутном волнении. Не спалось, да и только. А ночь была серебристая, лунная. Видно было до самого Чепеля — каждая ветка, каждая былка под пепельным светом. Аксинья смотрела во двор, и беспокойство не покидало ее.

Вдруг Аксинья уловила вдали движение. Пригляделась: двое... Что-то ухнуло и остановилось в груди. Неужели Василий? Но с кем, кто она? Прижались к раките, к той самой, под которой когда-то встречалась она, Аксинья, с Василием...

Жизнь для нее с той ночи стала невыносимой. Дни казались похожими друг на друга — грузными, вязкими. «Для чего я живу, — думала она, — ну для чего? Лежу пластом, словно каменюка. Да ведь и каменюка лежит до поры, пока не пойдет в работу, например под фундамент. Сколько хлопот другим с нею, о господи! Вот уж обра-

зовались и пролежни, и Василию с Олечкой приходится теперь перестилать простыни каждый день, не наготовиться мануфактуры...»

Она ловила себя на мысли, что как-то по-особому, с дрожью и страхом смотрит на свой столик с едой и питьем, на ножик у хлебной коврижки, которым Василий, помнится, к покрову резал подсвинков, и каждый раз, задохнувшись, прогоняла дурные мысли. Да ведь это ж последнее дело! И люди тебя не простят. Все чаще, когда становилось невыносимо, она вызывала в воображении картины тех мест, того времени, когда была юной и могла часами, лежа в траве, смотреть в бездонное небо, наблюдать за белокисельными облаками, представляя в них всякие чуда, всякие байки-побаски, слышанные-переслышанные ею от Берендеича. А как приятно было плыть, словно кречет, по воздушным потокам, не чувствуя тела, и махать, махать руками, забираясь все выше... Страшный зуд на спине возвращал ее в хату обратно, и виденья кончались.

Аксинья теперь почти ничего не пила и не ела. И таяла, таяла...

Как-то пришел председатель. Еще с порога уловил тяжкий дух в хате, сунул оторопевшим у двери Ване и Олечке огромный кулек с апельсинами, купленными по оказии в городе, молча прошел за печку к Аксинье.

Всю жизнь переворошил Егор Тимофеевич с Аксиньей, вспоминал ее молодой и красивой, когда в школе он, ее однокашник, воздыхал по ней тайно. А женился на Аксинье балагур и красавец Василий, пока он, матрос Егор Петрованов, охранял берега Отечества на эсминце.

— А пошла б за меня, если б не Василий? — улыбаясь, допытывался председатель. — Такую б свадьбу с тобой закатили!

— Седой уже ты, — молодея душой, шевелила сухими губами Аксинья. — Моя-то жизнь конченая, детей только б...

— Не смей так. Не должна так говорить, прав не имеешь. Жизнь дается только один раз... И детей на ноги ставить... Так вот, на правлении решили пенсию тебе, Аксинья Сергеевна. И с Чепелихой уже столковался, заплатим ей, пусть ходит за тобой, помогает по дому... А по весне выхлопочем на курорт.

— Спасибо вам, — замлелась Аксинья. — Спасибо...

А вечером Василий едва притащился домой.

— Не твое дело, почему пьян я, — сказал он, еле ворочая языком, хотя она и не пыталась ему говорить что-либо. — Я пью, вот и все.

Наутро он не смотрел ей в глаза. Молча гремел ухватом в загнетке, грел воду теленку, замешивал корм курам и поросенку. Проводил ребятишек в школу. Так и не взглянув на нее, ушел в мастерские, на ремонт «газона».

Как-то однажды Василий привел в хату женщину.

— Наш завгар, — кивнул он на нее Аксинье. — Переехала в колхоз из «Дружбы», просится на квартиру.

Олечка стояла, потупившись, изредка взглядывая то на отца, то на незнакомую женщину с ярко накрашенными губами, в коротенькой плюшке и новых резиновых сапогах. Ваня стоял, прижавшись к сестренке.

— Что ж, — вздохнула покорно Аксинья, — надо ж где-нибудь притулиться человеку.

Дни стали еще короче, «с воробьиный хвостик», говорила Чепелиха. Теперь в оконце Аксинье был виден двор в маслянистой осенней грязи, кое-когда уж густеющей от морозца. По двору бродили куры. И небо, набухшее снегом, висело над ракитой так низко, как будто смыкалось за нею с дорогой, которой теперь Василий с завгаром ходили утрами к себе в мастерские.

Ночами было ей еще муторней: оконце делалось вовсе черным, в передней на конике ровно дышала Кланя — Клавдия Анатольевна, их квартирантка. Аксинья вслушивалась в каждый ее вдох и выдох, и силы, заснувшие в ней, оживали, трепетали в каждой кровинке ее, во всем ее теле. «Нет, ты еще не пропащая, не изошла еще вся, Аксинья Сергеевна, — истово говорила она сама себе. — Рано себя хоронить-то. Ведь выдюжают, встают на ноги и такие... Вон хоть соседка по палате Мария Степановна. Уехала на курорт... И меня колхоз не обойдет... А то дети, гляди, стали пуганые. Смотрит Оля на отца и на квартирантку, ровно зверек, исподлобья. Ну кем она вырастет с ненавистью?.. А Кланька-то вчера штопала рубаху Василию. Наготовишься ему на такие плечищи...»

Наутро Василий проснулся от легкого скрипа, идущего от постели Аксиньи. Заглянул за печь: Аксинья поднимала

и опускала голову на подушку. Отдохнув, снова поднимала и опускала голову.

Потом придумала себе упражнения для пальцев. Месяца за два научилась двигать и пальцами. Потребовала рубашки Василия, стала их штопать сама.

Когда колхозный главбух принес ей первую пенсию, она подозвала Василия, наказала, кому что купить, не забыла и Клавдию. В доме все опять привыкалось к подчинению Аксинье. Первыми прежнюю силу ее почуяли дети. Ваня бежал к ней с обидой на соседского здоровилу Николку, который отнял у него на горке ледянку да еще и наткал носом в снег. Олечка приходила из школы и отчитывалась, что получила, что задали, Аксинья напрягла свою когда-то сильную память, вспоминая, как решались задачи по алгебре, которые в школе ей давались легко, но с которыми дочери теперь приходилось сражаться. Василий и тот являлся к ней на совет и, глядя не на нее, а в угол куда-то, на стенку, испрашивал ее мыслей насчет того, купить на базаре одного или двух поросят, заводить на лето кур или, может, гусей.

Все постепенно возвращалось к Аксинье: и речь, и память, и прежняя ясность ума. Все могла она рассудить толково и основательно. И только немыми по-прежнему были тело, ее ссохшиеся, недвижные ноги. Правда, благодаря упражнениям Аксинья теперь отрывала от подушки грудь, могла понемногу держать на весу тело.

Она попросила Олечку положить на столик зеркальце и губную помаду, извлечь из сундука расписной ларец, где лежали всякие бусы-мониста. Надев одно из них, то, что нравилось когда-то Василию, она лежала в новой блузке, молодая и праздничная, ожидая с работы мужа...

Началась весна. В оконце были уже видны черные пятна подтаин. Унавоженная дорога горбатилась и днем веселела ручьями, а ночами взвизгивала под кованым полозом «козырей». «Егор Тимофеевич куда-то мечется по бездорожью. К севу дело», — вздыхала Аксинья и думала о детях, о жизни. Жить надо, а как же? Ведь это если каждый на себя в трудностях руки наложит, что с жизнью-то станется? Изучали, помнится, в школе книгу про Павку Корчагина. «Павка, конечно, герой, — рассуждала Аксинья. — Как портрет, как икона — каждому человеку со школы. Только жизнь мудреватее всяких икон: у одного так случилось, у другого иначе. Но у каждого должно быть одно: это сила твоя, вера, дух твой неукро-

тимый. Иначе и портрет не в портрет человеку, а икона — картонка... Жизнь приходит из веков и уходит в века: и мы должны оставлять ее детям лучшей, чем было. Вон хотя б возле речки все пустился кочкарник, а Егор Тимофеевич включил его в дело. Прошлым годом вспахали...»

В день, когда во двор с поля хлынули полые воды, ушел из дому с квартиранткой Василий. Скоро у порога смыло ручьем их след. Аксинья выдержала все спокойно, не дала себе ни закатиться, ни закаменеть. Приподнялась над подушкой и наблюдала, как складывал в фанерный чемоданишко свои вещи Василий. Напомнила даже про новые брюки, лежащие в сенечном сундуке. Под конец сказала, чтоб захватил ларец, подаренный в день их свадьбы Берендеичем, да не забыл бы ключ от ларца.

— На что мне теперь, — выговорила глухо она, — возьми своей Кланьке-то.

Василий упал перед ней на колени. Глаза его помутнели, губы прыгали, он силился что-то сказать.

— Не надо, — откинулась она на подушку.

В окно било яркое солнце. Оно теперь вставало за этой ракитой, грело выболевшие Аксиньины щеки, золотилось в раскиданных ее волосах.

По двору, по стеклянистым лужам, ходил патриархом петух, горланили слетевшиеся на бузину воробьи. Ваня с соседским Николкой пускали газетный кораблик. А на взгорье, по черной горбатой дороге уходил в соседнее Сдобье Василий.

Когда Олечка прибежала из школы и по привычке крикнула еще с порога: «Мама! Сегодня мы на экскурсию ходили на твою ферму», — ей ничего не ответили. Аксинья лежала лицом к оконцу, и солнце стояло во влажных глазах. Сжавшись вся, Аксинья слушала, как где-то над головой возникает движение. Она чувствовала, что оно все круче, все властнее входит в нее, отчего крепнут пальцы и бегут по спине мурашки. А движение нарастало, озвончалось, грузнело — по железной крыше наконец-то сползал слежавшийся снег.

— Ступай, дочка, в правление, — твердо выговорила она. — Скажи, что Аксинья, мол, просит работы. Сюда, домой. Ну хотя бы счетоводкой. Скажи председателю, Егору Тимофеевичу, что, мол, — помните? — у Аксиньи по математике были только пятерки.

д. Знаменка Орловская



Перепелиное поле

РАССКАЗ

Сегодня дядька Михей не миновал бригадного дома, где после наряда обычно политиковали на крыльце мужики. Боком-боком прошел он к валявшейся на земле кабине от дизеля, присел и, отмечая свое появление, проговорил несмело, как-то вполголоса:

— А солнце-то... к ветру, гляди-ко, а?

Никто не заметил дядьки Михея, никто и не ответил ему.

— А солнце-то... к ветру, должно, — безнадежно вздохнул дядька Михей и вновь замолк. Не любитель он лишних слов, все молчит меж людьми, молчит и дома, когда «секет» его жена — тетка Наталья. А все за одно:

— Экий детина, а нраву-то птичьего. Другой такой, верстовой да с медалями, кладовщиком ай учетчиком был бы...

А дядька Михей на «по́ртфель» не зарится. Есть работа — ходит зимой по наряду, нету — сидит себе под окном, вырезает из липовых плашек всякие винограды да птахи, ночами просиживает, бьется, чтоб выходили у него как живые. А после возьмет и раздаст на потеху мальчишкам. Кличут его на деревне Блаженным, потому как идет, бывало, по улице, поднимет кленовый листок и стоит с ним хоть полчаса, все вертит, глядит да разглядывает, пока не загремит сзади телега или машина, тогда положит в карман тот самый лист и пойдет себе куда вздумается. А летом, вот уже третий сезон, дядька Михей ездит лафетчиком с Волвенкиным Минькой, косит с Минькой хлеба...

Дядька Михей встает с кабины от дизеля.

— Ты, гляди, завтра пораньше, — шумит ему в спину Минька. — Завтра, бригадир сказал, на Перепелиное поле. Пашаничку будем на свал.

— Да уж само собой, — оборачивается дядька Михей, и вскоре его рубаха теряется в густеющих сумерках.

Он идет прямиком по просторному лугу, к речке. Веснами вода из Непрядвы затопляет округу и держится почти что до троицы, оттого Жирный луг так и дышит под каждым шагом, вычвиркивает стоялой водой. Но сегодня лето сухое до лютости: солнце выпило влагу, в проволоку выдубило траву, и дядька Михей унюхивает едкую пыль, поднимаемую ботинками, догадывается, что даже у речки не выпала ныне роса. Он глядит на тот берег — там Перепелиное поле.

Здесь, у речки, к перщистому запаху пыли добавляется прелая горечь ивы, тины и ослизлых голышей, слабо слышится пресноватый запах пшеницы с Перепелиного поля. А может, и не пшеницы? Какой уж и дух от нее, коль еще не дозрела? А завтра на свал. Известно: в валках скорее дойдет. А помнишь, Михей, там, где теперь это поле, шумел укосистый луг? Помнишь, Михей, когда поспевала трава, с косами на луг высыпала деревня, и батя брал с собою тебя, малолетку, и шел ты следом с граблями, захлебываясь в восторге оттого, что так ходко, в свободном замахе ходила отцова коса и за сверкающей пяткой ложилась с подхрустом сизо-голубая трава? Главная трава, луговая трава! Такую траву, говаривал батя, корова жует — глаза жмурит, с мечтой, значит, ест. А кругом по лугу бабьи платки, а из-под ног перепела порх-перепорх, один за другим — молодые, неоперенные. А коли встречалось гнездо, так батя обкашивал, потому как гнездо разорить — значило накликать беду. Пока все скосят, высушат, сгребут да сметают в стога — глядь, а перепелята и окрепли. Лишь в память о них — голый луг в шапках-рябах. Шелестят те ряби переспелой травой аж до снега...

Урожайный был луг. Да и поле на нем не хуже. Года два росла кукуруза, а сегодня пшеничка. Где заморыш, а на Перепелином — стена, на круг центнеров этак под двадцать. «Ну, да утро вечера мудренее, — зевает дядька Михей. — Завтра увидим поближе». И возвращается успокоенный к своей хате у студеных ключей.

А на рассвете что-то словно толкнуло в сердце дядьку Михея, он приподнялся и снова услышал в себе глуховатую боль, как тогда, после госпиталя, в сорок четвертом.

— Фу, леший, — мотнул он пудовой ото сна головой.

— Чего тебе? — встрепенулась Наталья.

— Да так, что-то тяжко... Ты спи...

— Повременил бы, Михеюшко, на поле-то. Поостерегся б с сердечком. Гляди, какой ты... пергаментный.

— У нас, Натальюшка, у Гриневых, все гонкие. Пойду я. На людях полегше, и от работы само собой пупок не развяжется.

Он вышел во двор. Гриневка еще спала. Петухи и те не орали. Не шелестела листва. Где-то, наверно на тракторном стане, били о железо железом, и одиночные звоны текли по деревне, висели над гулким шифером, тонули в соломенных крышах.

На полевом стане было уже людно. Волвенкин охаживал дизель, гладил ладонью свежие вмятины — видно, ночью опять ездил к Дуньке в соседнюю Выпренку.

— А ну, давай сюда краску, — хмуро бросил он дядьке Михею.

Согнувшись, дядька Михей потащился в кладовку к Ермилычу. Вернулся с банкой.

— Чего принес-то?! — озлился вдруг Минька. — Не зеленка, гляди, а... а...

— Бери, какую дают, — вышел из кладовки Ермилыч, степенный бородатый старик. — Распоясался! Андрияныч тебе, сопляку, аж два раза батька, а все утро, гляжу, матерщины от тебя не прохлебывает.

Обида застлала глаза дядьке Михею. Присел он на камень, вытер пот со лба рукавом. «Вот стервец, этот Минька — Дашки Криковой сын, вот стервец! Ну не сладил со своей кралей выпренской, так зачем же бока ломать дизелю и его, Андрияныча, так вот?..»

Наконец выехали. Вот и Перепелиное поле. «Эх, поле, поле, хлебушко ты наш пашаничный! Поднялся б с погоста батька да глянул, как идет сюда Михей Андриянов, не с сохой да косой — с железною техникой. Ишь жеребчина, Минькин-то дизель, черта своротит. Как бы мне такую бумагу, как Миньке! Эх, кабы скинуть с тебя, Михей Андрияныч, годков тридцать пять, да здоровьечка б!.. А сел бы за дизель, так разве стал драть землю, как Минька? Самую глину, паразит, вывернул весной на Жженом юру...»

Прет и прет впереди Минькин трактор, скачет за ним стрекотливая жатка, а вбок так и валит яровое со слабою

просинью. Ничего, полежит на припеке, пожарится, тогда и запахнет хлебом.

«Ловко это выходит у Миньки, — мелькает у дядьки Михея, — здоров, идол, работать. Не валки ложит, а струны. Ишь затылком вертит — закурить, должно, хочет. А некогда».

Солнце светит словно бы сквозь молоко. Дрожит в мареве кромка леса. Качает дядьку Михея на шатком лафете; от жары в глазах синие, желтые, зеленые кольца, и щекотно в носу, тянет в тяжкую дрему. Дядька Михей вскидывает голову и замечает, как в гущу, в нетронутый край, увернувшись от стальных челюстей, шмыгнул рябоватый комок. И еще комок. Потом третий. Зубья сбросили вбок перевитый пучок соломы. А под ним — углубление. Никак гнездо перепелкино? Ну конечно, ее, перепелкино!

— Стой, — задергал сигнальный провод дядька Михей. — Стой, говорю!

— Ты чего? — высунулся из кабины распаренный Минька.

— Гляди, чего делаем. Гнезда давим.

— Тьфу, ты! — плюнул с досады Минька. — Нынче, кость на́ кость, итоги за пятидневку. Премию и флажок соответственно. А ты мозги тут коптишь. А ну, живее на жатку!

И снова прет Минькин дизель, прыгает на шатком лафете дядька Михей.

А на другом конце, через свежий овраг, надвое разрезавший Перепелиное поле, ходит агафоновский трактор, тоже с лафетом, тоже валит пшеницу. Минька весь извертелся: то и дело взглядывает на Агафонова — верно, прикидывает его и свои гектары.

Круг за кругом, Минька все ближе к середке. Вот уж всего гребешок недострижен — камнем перешвырнуть. Взмыкались куцые перепела, так и снуют по пшенице. Взлетел один, прошумел крыльями, плюхнулся в жнивье, прижался к земле. Прошли жаткой еще раз. И тут в кромке дядька Михей увидел что-то живое: под татарник сбились светло-бурые маковки. Никак перепелята? Вытянулись, водят головами, осматриваются. А жатка еще одну ходку. И нет уже и в помине татарника, перепелята ушли под колосья, а сзади глазеет пустое поле. А дизель все ближе....

— Стой! — дергает что есть духу сигнальный провод дядька Михей. А дизель все прет. Сейчас хрясь, и конец. Дядька Михей скатывается с лафета и, припадая на замлевшую ногу, бросается вперед, настигает трактор. Только б успеть! Вон уж рябые маковки.

Обежав агрегат, дядька Михей кулем валится в хлеб. В какой-то миг успевает почуять горькую сухость земли и впершиеся в затылок черные бусинки глаз.

Лязгнув, гусеница замирает перед самой коленкой. Из кабины высовывается Минька, побелевший от злости:

— Ах ты, стервь хромоногая!

Поднимается дядька Михей, страшный — выхватывает рукоятку, идет на трактор, надвигается, словно на танк:

— Уходи, гад, убью!

— Да ты что, ты что? — пугается Минька. — Ай сдурел? — И щурит в притворной улыбке свои монгольские глаза. — Да ты тихо-мирно, да мы разве нéлюди. — И помогает дядьке Михею собирать в картуз застывших от страха, слабо встряхивающихся птенцов.

Потом дядька Михей несет их километра за два, аж до леска, чудом выжившего в войну, выпускает перепелят под старой березой, иссеченной осколками.

— Кш, кш, — словно кур, отгоняет их дядька Михей. — Тут-то вам поспокойнее, тут вольготнее. Живите покудова.

Он вытирает изнанкою картуза отсыревший лоб, с незагорелой молочной полоской у самых волос, и стоит так с минуту. Вдруг что-то острее, чем шилом, вновь пронзает дядькину грудь. Он лезет рукой под рубаху: там под ладонью, словно испуганный перепел, мечется дядькино сердце. Он в бессилии опускается под березу. Сидит и гладит потрескавшуюся бересту, тоскливо думает, что зря не послушался женки, надо было бы хоть денек отлежаться. И жаль себя становится дядьке Михею за все: за то, что второй уже год не едет домой на побывку младший сын-офицер, за то, что от старшего третью неделю ни слуху ни духу; улетели перепелята, забыли их с Натальюшкой. Оно, конечно, у каждого своих забот выше горла: жизнь-то какая нынче пошла колготная...

Дядька Михей достает из пистона пузырек с валидолом, вытряхивает на ладонь оттуда таблетку и швыряет ее под язык. Боль по капельке затихает, но стесненность в груди остается.

Выйдя из лесу, дядька Михей видит поодаль Перепелиное поле, а в поле замерший Минькин трактор. Еще дальше, за свежим оврагом, агафоновский. «Ить тоже с лафетом, тоже косит на свал».

Он поспешает. Ноги так и несут, а сердце что треснутый колокол: бухает с перебоями. Когда вовсе невмочь, дядька Михей останавливается, пережидает: воздух горячий, хватанул бы, да что там... А за Каменкой уже синие молнии, так и рвут блеклое небо.

Когда дядька Михей подбежал к агафоновскому агрегату, все было кончено: в последних валках солома-колосья перемешались с кровью и перьями. Дядька Михей бессильно опустился на землю.

— Что ж ты, Иван Тимофеевич? Ай не видал, что ли, перепелов?

— Перепелов-то? — переспросил Иван Тимофеевич, продолжая копаться в моторе. — Ах, чертушка! — сбил он отверткою палец. — У меня так: коси, люба-голуба, покудова косится.

— Перепелов, говорю, зачем порубил, душегуб!

— Ну, порубил! — повернулся к нему Агафон. — Не играться, люба-голуба, приехал. — И замахал кому-то рукой.

Дядька Михей обернулся: из кукурузы выкатывались белые шарики — весь агафоновский выводок.

— Вон их, Михей Андриянович, — подобрев, сказал Агафонов, — как понимаешь, кормить и поить нужно. Некогда прохлаждаться.

Гуськом подошли агафоновцы — мал мала меньше, все чернявые, в Марью. Притащили обед. Агафонов расстелил свежую тряпицу, степенно нарезал хлеба и сала, поставил чашку с малосольными огурцами. Ребятишки зорко следили за батькиными руками.

— А ну садись, братва, да живей! — скомандовал Агафонов. — Все пятеро разом потянулись за салом. — Садись и ты, Андрияныч.

— Да, ну-у. Я чего-то так... устал, Тимофеич.

— Садись, садись. За такою работой не измотаешься.

Дядька Михей и впрямь чувствовал себя очень усталым. Хотел было изложить Тимофеичу все по порядку, рассказать, как отец выходил с косою на жито обычно попозже — к тем дням перепел успевал опериться, от косы мог уйти. Хотел пожаловаться, что теперь вот нету перепелам никакого спасения, особо когда стали валить

на свал недозрелое жито, что перепел не агрономовы карты, не приспособился, за то и пропадает, скоро от Перепелиного поля останется только название! Многое хотел сказать Агафонову дядька Михей, да, пораздумав, махнул рукою: Тимофеич, гляди, не молоденький, и без того разумеет.

К вечеру в доме бригады подводили итоги. В комнате столбилось от курева, пахло соляркой и хлебом. Приезжий корреспондент крутился вокруг Агафонова, снимал его у окна и у печки, даже ставил на стул, заставлял вертеть головой и так и этак. Всегда чинный, спокойный, Агафонов непривычно таращился, лицо сделалось чужим, костенелым; корреспондент отдувался, вытирался платком, опять начинал вертеть Агафонова.

— Да ты его кверху ногами, — пересмеивались механизаторы.

— Я попрошу тишину, — встал за столом бригадир Ампилогов, — попрошу тишину. Тихо! — и застучал тяжелым, словно чугунным, ногтем по пустому графину.

— Сперва налей, — брякнул было Минька Волвенкин, но его тут же одернули. Сделалось тихо.

— Товарищи! — резанул рукой Ампилогов табачный воздух. — Лучше всех в пятидневке поработал механизатор Иван Тимофеевич Агафонов. Ему, значит, по решению правления, — агроном, сидящий рядом, закивал головой, — ему, значит, это... премия и флажок. Пущай, товарищи, сам тут расскажет, как он дошел до такой замечательной жизни.

— Валяй, даем согласие, — задвигались механизаторы.

— А что я... конечно, — поднявшись к деревянной трибуне, смущенно начал Иван Тимофеевич. — А ничего я, конечно, такого. Вон Минька Волвенкин... у него трактор новый, и сам молодой. Он может — а что? — и на орден. Верно, да?

— Крой, крой, — поддержали в первом ряду. — Верно. Минька все может.

— Четыре дня шел он... значит, стало быть, первым. — Иван Тимофеевич обрадовался, напав на нужную жилу. — А нынче, скажу, полдня простоял. А почему? Рази он виноват? Пока, значит, Андрияныч, напарник его, по полю перепелов собирал.

— Как?! — задвигались сзади. — В горячую пору? Перепелов? Ну и блаженный.

Михей встал, одернул рубаху под поясом, прошел по-

военному прямо к столу. Вывернул перед Агафоновым картуз: на кумач посыпались перепелиные головы, крылья и перья, перемазанные ржавой кровью.

— Вот она, премия твоя, Иван Тимофеич! — выдохнул из нутра дядька Михей. — Уложил, говорите, пашаничку? — И заговорил быстро, горячечно: — А как же ж с хлебушком... с етим, какой пахнет кровью? Да где же, скажите, такой закон, чтоб живую птаху давить, перепелов порешать? Нету у нас такого закона!

— Полегше, Михей Андрияныч, — застучал бригадир по пустому стакану, — полегше.

— Да что перепела! — не обращая внимания на него, говорил дядька Михей. — Гляжу на тебя, комплексный бригадир...

— Не разрешаю! Не по повестке, — колотил бригадир по пустому графину.

— Дай человеку сказать! — зашумело собрание. — В первый раз человек...

— Гляжу на тебя и в толк не возьму, — продолжал дядька Михей, — хозяин ты, Ампилогов, а? На словах — за колхоз, а на деле? Свел дубки в Косой леваде — говоришь, на слеги для фермы? А теперича полыми водами высадило на леваде овраги! Приказал сгрузить прямо в поле селитру — говоришь, ближе к свекле? А селитру ту дождями — в соседний ставок. Вся вода и протухла...

— Не марай, не марай тут синьфонию, — наконец прервал его бригадир. — Можешь поставить вопрос специально... на общем бригадном собрании.

— И поставим! — сказал, как отрезал, дядька Михей. — И на бригадном, и на колхозном поставим.

Не глядя ни на кого, мимо Миньки, мимо множества глаз, мимо стола под кумач он прошел к открытой двери. И, чуя, как падает сердце, как на лбу выбивает испарину, чтоб не упасть, прислонился к раките. А ветки уже секло сырым теплым воздухом. «Я ж говорил, к ветру, — думал дядька Михей. — Ничего, мы еще поглядим. Поставим и на обчем собрании».

Упали первые капли, шлепнулись на рыжие сапоги, остались темными пятаками.

с. Задушное



Вадим **КУЗНЕЦОВ**

В МУЗЕЕ ТЕХНИКИ

В Чикагском музее экспонируются технические достижения за всю историю человечества.

(Из путеводителя)

Среди собратьев фирмы «Тон»
всех статей и пород —
облезлый черный телефон,
как одичавший кот.
За остроту его боков,
за старость не корю.
Снимаю трубку с рычагов
и с прошлым говорю.
Алло! Века?
Алло! Года?
Но прошлое — молчок.
Стекает время, как вода,
меж пальцами в песок!
Летит Земля —
быстрей, быстрей!
Летит, не зная снов,
держа в ладонях площадей
прославленных сынов,
одетых в бронзу и гранит,
величье и успех!
Но пусть история хранит
в своих томах и тех,
кто сквозь века,
за шагом шаг

прошел неверный путь,
кто был готов —
лишь дай рычаг! —
весь мир перевернуть;
кто верил в камень-абсолют,
в библейское кольцо,
кто в неизвестности приют
нашел в конце концов!
Вперед, Прогресс!
Твой путь пролег
кладбищами могил,
но от безумств не уберег,
гордынь не усмирил.
Как прежде, мысль по свету мчит
и верится легко,
что вечный двигатель стучит
совсем недалеко...

г. Чикаго

ПАСТОР

Господи, наконец-то я свободен...

(Из надписи на могиле
Мартина Лютера Кинга)

Взывая к мщенью души паствы,
огонь меж плитами горит,
где знаменитый черный пастор
под белым мрамором лежит.

Как две судьбы,
как два примера,
над ним два дерева сплелись.
Одно —
зеленое, как вера,
другое —
черное, как жизнь!

По белым плитам негры бродят,
звеня цепочками кадил,
и молят бога о свободе,
которой пастор не добыл.

Грохочет бешеный транзистор,
клокочет красное вино,

хохочут белые туристы,
стрекочут камеры кино.

А рядом, в церкви,
черной пастве,
что настороженно молчит,
другой,
еще безусый пастор
«Мы — люди!»
яростно кричит...

г. Атланта

●

Устав по озерам скитаться
в глухом вологодском краю,
я вечером —
обночеваться —
вернусь в деревеньку свою.

И в душу —
не то чтобы счастье,
но что-то сравнимое с ним
войдет,
когда пегая Настя
приветит мычаньем своим.

В том много,
быть может, смешного,
но мне хорошо оттого,
что грустная эта корова
во мне признает своего.

Еще хорошо мне, наверно,
что, радуясь и браня,
заботливая Тимофевна,
как сына,
обнимет меня.

Увенчан сияньем диплома,
объехав полсвета и Русь,
я в этом пустующем доме
чему-то большому учусь.

Учусь, чему плохо учили,
откладывая на потом.
А после совсем отучили
и помнить
и думать о том...

Но тает в груди постепенно
скопившийся лед бытия.

И кажется, будто из плена
вернулся на Родину я.

...Усну на глухом сеновале,
где праздно,
развешаны в ряд,
полосками сточенной стали
литовки под крышей висят...

●

В этом доме с тесовой оградою,
частью сломанной на дрова,
нас с тобой
и волнуют и радуют
позабытые в детстве слова.

В этом доме
не гостья ты — гостенька,
я не милый — залеточка твой.
— Где ты, Аннушка?
— В горнице, Костенька! —
раздается с утра за стеной.

Шаркнут ноги галошей усталою,
улыбнешься насмешливо ты:
нам сдается слегка запоздалою
эта нежность хозяйской четы.

Мы беспечны с тобою.
Мы молоды.
Потому-то, наверно, порой
жизнь
нас хлещет немыслимым холодом,
обдает небывалой жарой.

А у них
и спокойно
и ведрено,
нет ни облачка, ни ветерка.
Ходят стрелки на ходиках медленно,
за окном отдыхает река.

Да еще —
без вины виноватые —
улыбаются нам со стены

удалые,
в отца конопатые,
укатившие в город
сыны.

Посидим ли с тобою на камушке,
поведем ли к заливу баркас,
это тихое:
— Костенька!
— Аннушка! —
неотступно преследует нас.

●

Н. Кузнецовой

Я лечу!
Мои крылья — веселые весла —
рубят зябкую воду
туманных излук.
Я плыву,
разгребая последние звезды,
разгоняя по ямам
проснувшихся щук.

Вешним соком зари
наливается небо.
Дремлют серые чайки
у края косы.
Верю:
гадкий утенок
превращается в лебедя
вот в такие минуты,
в такие часы.

Все,
что было со мной,
до смешного нелепо,
все,
что будет со мною,
случится не зря.

Знаю:
гадкий утенок
превращается в лебедя
не в апреле,
не в мае —
в канун сентября!

Только кто же заметит
его превращенье

в непролазной осоке
прибрежных болот?
Только кто же увидит
его отраженье
в светло-розовом зеркале
утренних вод?

Даже ты,
в волшебство превращенья поверя,
даже ты,
все сумев оценить и понять,
будешь гладить мои
лебединые перья
и о гадком утенке
печально вздыхать...



Виталий ТРЕТЬЯКОВ

В Отечественной не участвовал...

Четыре недели из биографии штатского человека *

5

Они пробивались сквозь заросли мелколесья, кустарников. Колючки цеплялись за одежонку, ветки хлестали по лицам.

Дорога, плотно укрытая темнотой, осталась слева, внизу. Они шли по лесистому взгорью назад, к фронту, навстречу своему боевому будущему.

Их переполняло захватывающее ощущение азарта, не ограниченной никем и ничем свободы. Хочешь — иди. Хочешь — вались под дерево, задавай храпака. На целую ночь и еще на день в придачу. Никто не поднимет, не скомандует: «Шагом марш!»

На пятачковой полянке Витюк плюхнулся в траву животом.

---

* Окончание. Начало в № 1.

— Малость передохнем, сориентируемся.

Костя лег рядом, плечом к плечу и нога к ноге: все-таки ночной лес.

В стороне беспокойно заливалась труба, то удаляясь, то приближаясь. Это звал их Мирон Семенович.

— Дуй, дуй. Может, лопнешь, — ухмыльнулся Витюк.

— Нас дезертирами не сочтут? По законам военного времени? — заколебался Костров. — Все-таки из боевого мы драпанули.

— Лопух! — Женька даже привстал. — Какое еще боевое? Где он, бой? Ты его видел?

— Нет, — вздохнул Костя. — Только когда бомбили... Наверное, не считается.

— А я видел. Настоящий, кровопролитный! В Керчи. — Женька вдруг распалился. — Я, если хочешь знать, участвовал в нем. Лопни мои глаза! В Новый год, когда наши на плацдарме высаживались... Выхожу на улицу — бой. Один лейтенант меня подзывает. «Помоги, — говорит, — нужен, — говорит, — человек, который хорошо город знает». И протягивает мне автомат... Потом фрицы наперли. Мы с тем лейтенантом встали спиной к спине. Из автоматов строчим. Он меня защищает, я — его. Положили их... Человек, наверное, сто... Меня, если хочешь знать, к медали «За боевые заслуги» представили.

— Где же она, медаль?

— Не успел получить. Не беспокойся, не пропадет. У Михаила Ивановича — полные сведения.

— У какого Михаила Ивановича?

— Который в Кремле боевые награды вручает. У Калинина.

Костя завидовал Женьке, и очень ему хотелось выказать перед другом и свою храбрость.

— Давай сразу махнем через фронт, — предложил он. — Сделаем разведку, а потом уж к своим. Чтобы не с пустыми руками. Какую-нибудь немецкую комендатуру разведаем...

Витюк усмехнулся:

— Кому комендатура нужна? В Керчи каждая собака знает, где она помещается.

— Тогда орудия, зенитные батареи... Разведаем — и на карту!

— А карту на толкучке за пятак купишь?

— Выкрасть можно. У немца.

— Ну да, — сплюнул сквозь зубы Витюк, — выкрадешь. Он тебе выкрадет: своих не узнаешь.

Вот и покалякай по душам с Витюком — все не так да не этак. Фома неверующий.

Мальчишек обступал глухой лес. Труба Шелкина стихла.

— Айда, что ли, — Костя встал и пошел. Пусть-ка Витюк за ним поспевает.

— Ты куда? — окликнул Витюк.

— На дорогу. Куда же?

— Топай. Там тебя сцапают в две минуты. — Косте показалось, что и в темноте разглядел он ехидную улыбочку Витюка. — Я лесом пойду.

Опять вышло по-женькиному.

Ну и крепок на ноги Женька! Прет и прет, как паровоз. Только сучья трещат. И глаза у него рысьи: в темноте видят.

— Направление не потеряем? — беспокоится Костя.

— Как-нибудь...

Тропинка петляла прерывистой ниточкой меж деревьев, по взгорьям. Тропинка... Значит, кто-то тут проходил. Костя вообразил человека, проторившего эту тропинку. Высокий, в папахе, ремни крест-накрест на широкой груди, карабин за плечами. Партизан... Батюшки, это же он сам, Константин Костров, славный народный мститель.

— Черт! Коряги всякие под ногами, — проворчал Женька, споткнувшись.

— Партизанская тропка! — закричал Костя. — Партизаны по ней пробираются на боевые задания! Здесь, в лесу, партизанский лагерь!

— Чего плетешь? Какие здесь партизаны?

Костя прекрасно знал, что партизаны далеко. Но разве трудно Женьке поверить, хоть на минуту поверить, что они в партизанском краю и это настоящая партизанская тропка! До того стало обидно — изволтузил бы Витюка. Если бы был маленечко посмелее.

Он шагнул с тропинки, как с берега в воду, и пошел — по колени в травяной темно-зеленой реке. Своей дорогой пошел. А Женька пусть как хочет. Пусть над кем-нибудь другим потешается.

Лес нашептывал что-то невнятное. То ли пугал, то ли подбадривал.

— Э-ге-ге! — прокатилось невдалеке.

Костя вздрогнул. Но тут же сообразил: Женька зовет. Костя остановился. Перед ним расстилалась поляна.

Здесь было светлей, чем в чащобе. Высились кряжистые дубы с растопыренными лапами крепких веток и густыми темными кронами.

Хрустнула за спиной ветка — Витюк подошел.

— Куда ты шарахнулся? Кричу, кричу...

Костя смотрел на дубы.

Из-за облака выкатилась сияющая луна — и словно расплавленным серебром окатило деревья. Каждый листочек высветился. Поляна заструилась дымчатыми голубоватыми тенями. Это легкие облака, проплывавшие в лунном свете, отражались на травяном ковре.

— Смотри, — прошептал Костя, — серебряная поляна. Красиво...

— Ух ты! — закричал с деланным восторгом Витюк. — Самоварное серебро! Лудить горшки-чайники. — И добавил: — Погоди, я за кустики отбегу.

Костя оглядел еще раз серебряную поляну и не увидел поразившей его минуту назад красоты. Самая обыкновенная поляна. Тусклые тени деревьев на сероватой траве, сумрачные кустарники, и в белесом свете холодной луны — дубы как дубы, сучкастые, толстые.

Он вздохнул и поплелся было за Витюком. Но в это самое время в кустах кто-то тоже глубоко и протяжно вздохнул.

Костя остановился и снова услышал протяжный вздох. Женька, вынырнув из темноты, прошептал:

— Кто это?

— Не знаю. Прячется... Там...

Он приготовился дать стрекача, но Витюк надавил ему на плечо: ложись.

Вдруг совсем близко зашуршало, задвигалось. Костя ждал страшного — ослепляющей автоматной очереди, разрыва гранаты, гроз-

ного окрика... А прозвучало жалобное мычание, и на поляну вышла корова.

Это было так неожиданно, что ребята с минуту оторопело таращились на нее. Хотя знали: в округе бродит немало скота, разогнанного бомбежками.

— Здоровенная! — Витюк вскочил на ноги. — Копченой бы колбасы из нее — сорок пудов!

Корова сказала «му-у» и побрела на человеческий голос.

Костя побаивался коров: угадай, что у нее на уме. Бочком, бочком — и за дерево. А Витюк ничего. Почесал корове промеж рогов, под брюхо ей заглянул.

— Вымя — лохань! Подоим?

Доить, кроме как в пригоршню, не во что. Витюк придумал: сначала он будет дергать соски, Костя рот подставлять. А потом Костя дергать, а он подставлять.

— Меня с парного всегда тошнит, — подал из-за дерева голос Костров.

— Тогда подои: меня не тошнит.

— Лучше не пей. Мало ли что... Может, она больная. Заворот кишок наживешь.

— Заворот — с голодухи. — Витюк полез под корову.

Вылез — все мурло в молоке. Отерся полою рубахи, выпятил голый живот.

— Щупай! Во накачался!

А у Кости под ложечкой ноет. Что поделаешь, если страх пуще лютого голода?

Ребята пошли. Но и буренка не отстает, ломится сквозь чащобу. Шум, треск. Если Александр Федорович поиск организовал, влопаются как миленькие.

Витюк схватил сухую жердину, шуганул корову. Затрусила буренка в сторонку, помычала, отстала.

— Беда, — заметил рассудительно Витюк. — И людям война не в радость. И скотине — погибель.

Неприметно рассветает в лесу. Будто сливается по капельке с потухающих звезд белесое молоко, и сумерки постепенно в нем растворяются, тают.

Ночь ушла. Птички-невелички поют-чирикают. Много ли от них радости, если кругом крутогоры да лес, крутогоры да лес — и никакого просвета?

Мальчишек покачивало. Ноги — как деревяшки у инвалидов, не повинуются.

— Ты дорогу-то знаешь? — снова спросил Костров.

Женька облизал пересохшие губы.

— Что я, ходил по ней? На северо-восток держимся...

— А где он, северо-восток?

— Там, — махнул рукой Женька. А откуда это ему известно, не объяснил.

Карабкались с кручи на кручу в надежде, что, словно по волшебству, откроется чистое поле, перерезанное четкими линиями окопов и блиндажей, — фронт. Но за каждым взгорьем, преодоленным с трудом, горбилось новое взгорье, с той же дремучей чащобой.

Тени укоротились — солнце доползло до зенита.

Потом тени снова стали расти.

Косте хотелось лечь и уснуть. Пусть хоть во сне приснится, что все по-старому и не было у них с Витюком непоправимого разговора перед выходом в охранение. Началось-то все с пустяка, с рваных шнурков. Он, Костя, сращивая узелками измочаленные веревочки на ботинках, сказал Витюку, что завидует тем мальчишкам, которые щеголяют в гимнастерочках да в яловых сапожках. «Я бы и от обмоток не отказался, — расхвастался тогда Костя. — Сто километров прошел бы до фронта!»

Витюк парень дошлый. Сразу уразумел, что к чему. Прищурился, процедил сквозь зубы: «Согласен. Мне — умри, отца разыскать надо... А здешние некоторые начальники, которые уважают недорезанных фрицев, пусть с ними и остаются. Сговорено?» Так обернулось, что и отступать Косте некуда было...

Крутогоры да лес, крутогоры да лес. Нет им конца.

— Смотри! — вскрикнул Витюк.

Громадная простыня покачивалась вверху, зацепившись за ветви зеленого дуба. Веревочные лямки свисали обрезанными концами.

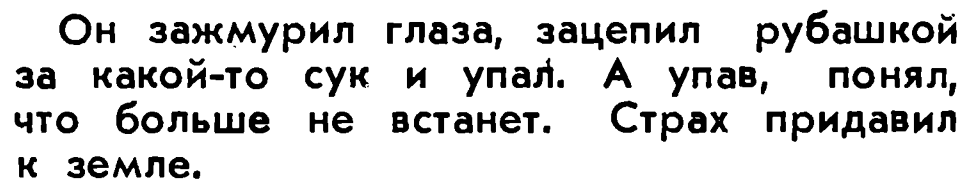
— Фрицевский парашют. Фрицевский, точно...

Костя не сразу сообразил, что это значит. Постепенно дошло до него, что если стропы обрезаны, значит резал их парашютист. Где-то он здесь хоронится. Может, за ближайшим кустом взводит курок пистолета.

Когда Костя это все осознал, внутри у него будто что-то оборвалось и ноги обмякли. Сел на землю, спрятался, как куропатка в высокой траве. Но Женька схватил его за руку, дернул и повлек за собой.

Они бежали, цепляясь на кручах за колючий кустарник и жесткую, режущую ладони траву, скатываясь со склонов кубарем. Бежали долго, не ощущая ушибов, царапин. А когда сил не стало, пошли, не разбирая дороги. Впереди Витюк, за ним Костя.

Костя ловил воздух ртом и ждал: вот сейчас вырастет перед ними немецкий парашютист и разрядит в упор обойму. Даже чувствовал место на животе, куда пули вонзятся.



Он зажмурил глаза, зацепил рубашкой за какой-то сук и упал. А упав, понял, что больше не встанет. Страх придавил к земле.



— Надо наших искать! Фриц уйдет, если не предупредим. Вставай! — умолял его Женька.

— Передохнем чуток, — только и смог выговорить Костров.

А потом стало его тошнить. И он не заметил, когда исчез Женька.

Отдышался, смотрит: один. Как о постороннем, подумал о себе: «Теперь ему верная гибель». И ни страха, ни жалости. Одно безразличие.

Он дремал в полузабытьи, когда появился Женька:

— Дорогу искал. Нету... Горы кругом.

— Где северо-восток? — спросил Костя.

— Не знаю. Запутался.

В лесу шорохи, треск ветвей. Человек? Зверь? Теперь все равно: не защитишься, не встанешь, не убежишь.

— Я тебе врал, — заговорил вдруг Витюк. — Про бой, про награду — все врал. Не участвовал я в бою...

— Ладно. Молчи...

Костя подумал: неспроста признается Витюк в обмане. Тоже не рассчитывает выбраться из лесу...



6

Мария осматривала свои обутки, скептически поджав губы, как мастер модельной обуви, которому дали в починку шваль. Каблуки сносились — можно смириться. А что поделать с подметками?

Она знала цену вещам: лет с пятнадцати сама себя содержала. Пока одолевала рабфак, а после него институт, и посудомойкой поработала, и уборщицей, и грузчицей. В те не очень сытые годы научилась беречь и ценить приобретенное на трудовые рубли.

И вот в дороге разбились единственные туфли.

Все же она не швырнула, а аккуратно поставила их под куст, будто намеревалась когда-нибудь, в лучшие времена, вернуться за ними. Отошла шагов пять и присела — с непривычки покалывало ступни.

У куста лежал Шелкин. Он встал, выдернул пучок рослой травы, свернул жгутиком и, подобрав туфли, связал их одна к одной.

— Любая спекулянтка с руками оторвет. Починит, перепродаст. Ей выгода, мне барыш. А ты и босая не пропадешь.

— Не продешеви, — огрызнулась Мария.

Шелкин поскреб затылок.

— В кого ты такая зубастая, Зубач? В мать? В отца?

— В прохожего молодца.

— То-то молодцы побаиваются тебя. Бравые молодцы, а перед Марией Зубач... — И изобразил по-актерски, какими мокрыми курицами выглядят молодцы перед Зубач.

— Неинтересно, — сказала Мария и отвернулась.

Мирон намекал на ее недавнюю стычку с Переходом. И как обычно, преувеличивал.

Час назад Шелкин собственной персоной стоял перед Александром Федоровичем — руки по швам, как ефрейтор перед грозным полковником.

— Виноват, секи голову.

Переход смотрел мимо Шелкина в темноту, будто ждал, не замаячат ли в темноте два мальчишеских силуэта. Спросил угрюмо:

— Ты обещал с них глаз не спускать? Ты?

— Виноват, — повторил Мирон, — секи голову.

— На кой черт мне твоя голова?! Ну, что теперь делать?

Шелкин развел руками:

— Я вдоль и поперек лес обегал. Нет их.

Все стояли подавленные. Каждый о том же думал: что делать?

— Саша, — распорядился Александр Федорович, — поведешь колонну... Я останусь: обшарю с добровольцами лес.

Повернулся и зашагал к группе ребят.

— Погоди! Стой! — закричала вдруг Зубач. Подлетела к нему и выпалила, словно мальчишке-детдомовцу: — В лес не пойдешь! Ясно?

— Это почему же? — взметнул он брови.

— Потому что Костров и Витюк — из моего отряда. Я пойду!

— Ты? — Едва заметная улыбка скользнула по губам Перехода. — А потом и тебя разыскивай...

Если бы не эта улыбочка, внезапный порыв Марии, натолкнувшись на его непреклонность, вероятно, тут же бы и потух. Но, заметив, что он улыбается — только чуть-чуть, только краешком губ, — Зубач вспыхнула. И выдала представителю крайоно, как в в институте на комсомольских собраниях выдавала всем, кого считала неправыми.

Смысл ее тирады сводился к нелестной характеристике руководителей, которые, не доверяя другим, самочинно за все хватаются. Перебарщивала: Федорович не заслужил таких обвинений.

Он слушал, наклонив лобастую голову, изредка сквозь зубы цедя:

— Так... Что еще?

Утихомирила ее Маркова:

— Машенька! Некогда изъясняться так длинно. Александр Федорович все понял.

— Мои они, Костров и Витюк. Я пойду...

Переход поиграл желваками.

— Ладно, иди. С Мироном. Возьмите в помощь десяток ребят. Но имей в виду: не разыщешь...

— Не разыщу — сама останусь в лесу! — выпалила Мария.

Колонна ушла. На обочине остались Зубач с Шелкиным да десять детдомовцев. Сгоряча Мария сразу повела ребят в лес и, как в стену, уперлась во тьму.

Не шли, а переступали, выставив вперед руки. Ребята притихли, жались друг к другу.

— Заблудимся сами, и только, — сказал Мирон.

Пришлось вернуться, ждать рассвета. Вот тут-то на взгорье, что над дорогой, и забраковала Мария свои обутки. И отвернулась от Шелкина, когда начал он изображать, какими мокрыми курицами выглядят молодцы перед Зубач.

За спиной — лес. Перед глазами — запруженная народом дорога: шевелится в темноте многокилометровая гусеница, переступая десятками тысяч усталых ног.

Вот раздался в проходящей толпе бабий надрывный вой. Ребята внимания не обращают, привыкли.

Мария вслушивается в негромкий неторопливый их разговор.

— Теперь в братских могилах хоронят, — это басит Илья Крох. — Без гробов. Без сапог даже.

— Босых?

— А ты как думал? Напасешься на убитых сапог? У тебя, например, крепкие сапоги, у меня — рвань. Тебя угробило. Я, понятно, возьму твои сапоги. Тебе все равно, а мне воевать.

— Тебе? Воевать?

— Не мне. Это я к примеру...

— Предателей перед расстрелом — мороз, не мороз — до нижнего белья раздевают, — сурово сказала Храпова.

— И откуда они берутся, предатели? — вздохнул кто-то.

— Фашисты и засылают. Под разными псевдонимами, — объяснил Крох. — Ты его по виду не отличишь от советского... Этот, как его, с нами шел, который угнал лошадей, Платон Тимофеевич, — засланный.

— Скажешь! — не поверила Храпова.

— И скажу: засланный! А если нет, зачем угнал лошадей?

В детском доме, где Илья жил с трех лет, существовал неписаный, но соблюдаемый свято закон: старший и сильный всегда в ответе за младшего, слабого — всегда и во всем ему помогает. Так поступали его друзья, и Илья, став сильным, действовал так же. Это стало его натурой. В голове Ильи не укладывалось, чтобы здоровый дядя по трусости бросил в беде своих; тем более пацанов. Нет, угнать лошадей способен был только враг.

— Засланный! — упрямо повторил Крох. — Улучил момент навредить.

Шелкин уже похрапывал. И ребята постепенно угомонились. Всех сморил сон.

Одна Мария глаз не сомкнула. Все думала. Мальчишек надо найти. Иначе хоть из лесу не возвращайся. И верилось, что найдет, потому что не возвращаться к своим ей тоже никак нельзя.

Белесая каемка пробилась во мраке над кромкой гор.

— Светает. Слышишь, Мирон?

Шелкин — будто вовсе не засыпал — поднялся поеживаясь.

— Рановато идти — в лесу темно.

— Беспокойно мне что-то, — призналась она. — Вы спите, а я...

Он сел, касаясь плечом ее теплого крутого плеча. Сцепил пальцы рук, стиснув до хруста:

— Слушай, ты на Житомирщине бывала?
— Какая разница: бывала иль не бывала...
— Сдается, где-то видел тебя. До похода.
Она глянула на него искоса, быстрым взглядом. И не ответила. А Мирону подумалось, что похожая привычка была у жены. Не веря кому-нибудь, та так же, бывало, взглянет и отвернется. Он вообще находил, что Зубач и жена чем-то схожи. Не лицом, не фигурой, а чем-то едва уловимым.
— Золотая ты баба, Мария, честное слово! — воскликнул Шелкин и стиснул ей плечи. Она спокойно отстранила его руки.
— Сначала скажи хоть: «война все спишет».
— Ничего я тебе не скажу, ты не глупенькая.
Поднялся и пошагал к дороге. Постоял на обочине, посмотрел направо, налево. Вернулся. Мария сидела все в той же позе, покусывая вырванную травинку.
— Сколько же народищу война с мест согнала, — сказал он. — Текут и текут.
— Текут, — повторила Мария.
— Ну ладно. Буди ребят.
Ему хотелось обнять ее, приласкать. Не посмел.

7

Оказалось, прочесать дикий лес, намертво вцепившийся корневищами в горные склоны, опутанный вьюном, заросший кустарником, — безнадежное дело. Даже при свете дня.
Продирались сквозь заросли. Аукались, кричали до хрипоты. Только приглушенное эхо им откликалось.
К полудню, когда солнечные лучи заиграли рябью в траве, Шелкин объявил короткий привал. Ребята припали к земле. Один Илья Крох бродил в отдалении, выискивая дикие ягоды.
— Вот так, — вздохнул Шелкин.
Мария поняла, что он хочет сказать: «Дрянь дело» — вот что. Да, дрянь, хуже некуда. Если ночью Костров с Витюком прилегли отдохнуть и уснули, то теперь, вероятно, выбрались на дорогу. Значит, здесь их искать бессмысленно. Если заплутались и бродят неподалеку, должны бы были откликнуться. А вдруг нет их в живых? В ночном лесу, рядом с фронтом могло стрястись всякое.
— Возвращаться надо, — сказал Мирон.
Мария головой покачала. Не из-за упрямства — в надежде на чудо.
— На ноги свои погляди! — не отступал Мирон. — Сколько ты так протянешь?
Ноги она до крови иссаднила. Босиком по лесу — пытка из пыток. Только это не уважительная причина, чтобы ни с чем возвращаться.
Ее начала смаривать дрема, когда оглашенно, будто в самое ухо, прокричал Илья Крох:
— Сюда! Скорее сюда!
Все повскакали, кинулись в чащу на голос.

— Вон, глядите! — Илья указывал вверх. Там, наверху, в кроне дуба, белело полотнище парашюта.

— Высоко, не достать, — огорчился Мирон. — Вот бы накроили портянок.

Крох скинул ботинки, поплевал на ладони и, обняв толстый ствол, вскарабкался по нему. Ухватившись за крепкий сук, подтянулся, повис, болтая ногами.

— Слазь немедленно! — закричала Мария.

— А чего? — спросил добродушно Крох, все еще вися на суку.

— Не бойся: падать будет не вверх, а вниз, — сказал Шелкин.

— Вверх, вниз... Может, Женя и Костя гибнут сейчас, помощи ждут! А мы время тратим, на портянки позарились! — Она презирала в эту минуту Илью за то, что полез на дерево, и Мирона — за то, что оправдывает его. И себя презирала за то, что не умеет заставить их думать только о Кострове и Витюке.

Все притихли, будто и впрямь были виноваты. Крох спустился, исцарапав о жесткую кору грудь, руки.

— Рассредоточиться цепью. Вперед! — скомандовал Шелкин.

Цепи не получалось. Как магнитом, стягивало ребят. Плелись друг за дружкой и аукаться перестали. Истомились, проголодались и, видно, тоже почувствовали: искать бесполезно.

— Еще шагов пятьсот! — просила Мария. — Ну, еще триста шагов!

Безмолвно считала шаги. А солнце давно с зенита сползло, его лучи пробивались слева почти что горизонтально.

— Константин! Женя! — прокричала Мария. — Где вы?

— Где вы, где вы, — откликнулось в чаще.

8

Они выбрались из чащобы и, нарушая строгий запрет начальника ВАДа, брели при свете дня прилесками вдоль дороги, по которой в противоположную сторону, на северо-восток, двигала теперь армия.

Если бы военные регулировщики их остановили, они покорно легли бы на каменистую землю и проспали бы до вечера.

Но регулировщикам хватало работы и на дороге. Никто не обращал внимания на мужчину и женщину, идущих с горсткой ребят в неурочное время — до темноты. А может, регулировщиков вводила в заблуждение солдатская гимнастерка Мирона.

Солнце катилось к закату, и длинные тени теперь волочились за ними справа наискосок. «Это сколько же мы плутаем?.. Сутки почти. Без нескольких часов сутки», — подсчитала Мария. Она еле передвигала ноги — распухли ступни.

— Терпишь? — спросил Мирон.

— Терплю.

— А то остановимся, передохнем.

— Помолчи.

Разбухший оранжевый шар зацепился за лесистую гору, побалансировал на вершине и покатился по противоположному склону

в пропасть. Неплотный сумрак стушевал очертания гор, дорогу и нестройные колонны бойцов на ней.

— Проклятая куриная слепота, — Шелкин потер глаза. — Вечереет, хоть поводыря нанимай.

— Авитаминоз, — сказала Мария. — У ребят тоже.

— Проживем и с авитаминозом, не смертельно, — приободрился Мирон. — Вот тебе-то босиком тяжко... Хватит! За первым поворотом — привал.

— Нет, — Мария покачала головой, — будем идти...

Лагерь открылся им за извилкой дороги. Босоногое воинство спало. Кто — свернувшись калачиком. Кто — в рост растянувшись, раскинув худые руки.

— У солдата — шинель: и постелить, и укрыться, и под голову подложить, — подумал вслух Шелкин. — У наших ребят — ни шиша... Пойдем, что ли, доложимся командарму.

У Марии сердце захолонуло. «Обещала не возвращаться без Кострова и Витюка? — спросит сейчас ее Федорович. — Зачем же вернулась?» И не представляла, что сможет ответить...

Федорович похрапывал, развалясь на спине. Под головой — портфель. Рядом спала Тамара, уткнувшись носом в плечо отца.

Он открыл вдруг глаза, глянул на босые, в ссадинах ноги Марии.

— Пришли?

— Пришли, — разом сказали Мария и Шелкин.

Переход помолчал, ожидая, не добавят ли они еще что-нибудь. Они ничего не добавили.

— Отставших нет?

— Нету.

Он бережно отстранил спящую Тамару, достал из портфеля тетрадку, огрызок карандаша. Послюнявил его, оставив на губе чернильное пятнышко. Отыскал в списках Кострова, зачеркнул, нацарапал рядышком: «Пропал без вести». Те же три слова — против фамилии Витюка.

— Рано хоронишь! — выдавила сквозь зубы Мария.

— Не хороню, — выждав паузу, тихо сказал Переход. — Констатирую факт. Для себя. Чтобы не казалось, что все у нас благодать. — Засовывая тетрадку в портфель, добавил: — Разыщите Сашу. У него ужин на всю вашу команду: отоварились у военных сухим пайком... Накормите ребят — отдыхайте; скоро подъем.

Ужин — пяток тоненьких серых галет — Мария машинально проглотила, запила приторно теплой водой из фляги. И повалилась ничком в траву.

Не шло из ума: «Пропал без вести». О мальчишках как о солдатах. Без вести... И невозможно ничего изменить.

Марии показалось, что она вовсе не засыпала, что с того мгновения, когда повалилась ничком в траву, до сигнала подъема прошли считанные минуты. А открыла глаза — черно. Канул в невозвратное еще один день. Пора в дорогу.

Пылали не успевшие отдохнуть ноги, ныла спина. И тяжело, тревожно было на сердце от ощущения беды.

Поднялась, превозмогая боль и нездоровый пробирающий до костей озноб. Не заболела ли? Заболела не заболела — надо

построить отряд и опять ночь напролет брести, пересиливая желание лечь на дорогу, пусть протопают по тебе тысячи ног... И все-таки должна она не позволить ни себе, ни другим лечь на дорогу. Должна.

Это сознание личной ответственности, необходимости действовать постепенно приободрило ее.

В темноте она едва не споткнулась о мальчика, который, сидя на корточках, сдирал черепком кору с суковатой дубинки. Узнала Родю Моторина.

— Что мастеришь?

— Палицу.

— Клюку? Не заживает нога?

— Зажила... Палицу. Если фашисты настигнут, в плен не пойду. Буду биться, пока не застрелят.

— Чего сочиняешь? — удивилась Мария. — Разве Красная Армия их пропустит?

Он поднял на нее доверчивые глаза:

— Костя с Женей нашлись?

— Нет еще.

— Жалко, — сказал он по-взрослому. — Ни за грош пропадут.

— Почему пропадут? Отстали. Нагонят...

— На том свете нагонят.

Это была явно где-то услышанная им фраза. И проговорил ее Родя с бесстрастным, вялым спокойствием. Мария вспомнила, как донимал Женька Витюк Моторина. Может, он радуется теперь? Но мальчишка снова принялся плести паутину из слов, холодных, чужих, вряд ли им самим осознанных:

— Война никого не щадит. Завтра и обо мне могут сказать: «Ни за грош...» А убиваться о каждом — не хватит слез.

Марии почудилось, что перед ней старый и мудрый гномик. Ссутулившись, стругает свою палку и цедит сквозь зубы смиренненькие, мудренькие слова.

— Где ты это слыхал?

Родя пожал плечами:

— Тетенька-беженка на привале так говорила.

Тетенька-беженка... Лжет эта тетенька! Боже мой, да разве сами они — мальчишки, девчонки — каждодневно не опровергают своим мужеством смиренные эти бредни? Почему же прислушался он к липким, жалким словам? Почему их запомнил?

— А ну, бросай свою палку! — сурово приказала Мария. — Живо в строй! Придумывают всякую ерунду...

Резкий голос Перехода стеганул ее, как кнутом:

— Почему отряд не построен?

Мария пересчитала ребят. Из темноты вышел Мирон.

— На-ка, надень.

Сунул ей в руки туфли, давеча им подобранные, и поспешил назад в темноту.

Поди ж ты, подошвы плотно прикреплены аккуратными узелками из проволоки. Как умудрился он починить туфли без инструмента? Когда? Похоже, вовсе не отдыхал...

Этот неожиданный подарок ее обрадовал: теперь идти будет легче. На душе потеплело. За эту трудную дорогу она уже не раз убеждалась, что каждый, с кем она шла, думал не столько о себе, сколько о других.

9

Стиснутая меж круч дорога — подъем и спуск, спуск и подъем. Километр вверх, километр вниз.

В гору легче. Беженцев поприбавилось, и неизвестно, откуда появились в толпе подводы. Лошади, подпираемые на спусках стремительно скатывающимися телегами, разгоняются до галопа. Зазеваешься — прибьет насмерть.

Сдерживать лошадь вожжами бессмысленно: приседая, она выскакивает из упряжи. Единственное спасение — затормозить подводу. Для этого надо сунуть меж спицами колеса палку и крепко ее держать, уперев концом в землю. По-местному это называется гальмовать.

Шелкин, Переход, Саша и полдюжины детдомовских парней, которые покрепче, гальмуют. Неизвестно, откуда у них, голодных, измученных дорогой, силы берутся. Ладони в кровавых мозолях, круги в глазах. Того гляди, рухнет парень, и поволочет его, расшибет...

Вот уже несколько часов колонна движется молча. Только слышится скрип подвод, сгрудившихся в три ряда на дороге.

Ночь скрыла горы, и лес, и дорогу — под ногами земли не видно. И тишина в этой кромешной мгле невыносима. Шелкину тишина — острый нож.

— Хоть бы запел! — просит он Сашу.

А Саша — какие там песни! — никак не отдышится после только что преодоленного спуска. Прохрипел:

— Настроение не певческое.

— Настроение... А ты, командарм, что молчишь?

— Голосу бог не дал.

— Ты, Федорович, что в школе преподавал?

— Химию.

— Купрум эс о четыре, — оживляется Шелкин, — медный купорос. Правильно?

— Точно.

— Я эту формулу по гроб не забуду! В седьмом классе, кажется... Точно, в седьмом! Принес наш химик на урок этот купрум. Пустил по рядам. «Не вздумайте, — говорит, — пробовать». Если бы он не сказал, я бы не вздумал... И всего-то кончиком языка я лизнул. Ох, братцы! Представляете, братцы, что со мной было?

Все молчат, не до Мироновой трескотни.

Откуда-то сбоку, из темноты, вышла Маркова. В руке ременная постромка. Привязала ее к подводе, за которой шел Переход. Натянула, примериваясь.

— Случайно не о вас сказано: коня на скаку остановит, в горящую избу войдет? — интересуется Шелкин.

— Случайно не обо мне, — и пошагала за колесом, сосредоточенная.

Все это без толку: не удержать постромкой подводу, когда покатится под уклон. И Лариса Владимировна знает: не удержать. А встала за колесом — для ободрения мужчин; любая работа легче, если добровольные помощники объявляются.

Тишина на дороге...

— Сегодня ровно две недели, как мы в пути, — вспоминает вслух Переход.

— Сегодня? Чего ж ты молчал?! — Мирон вздернул к губам трубу.

Медный голос прозвучал над притихшей дорогой. Горы и лес ответили ему отзвуком.

— Зачем ребят будоражишь? — Переход схватил локоть Мирона.

— Две недели! Хоть сигналом отметить! — с ожесточенностью прокричал Шелкин и, опять вздернув трубу, прогремел во всю мощь: «Красная Армия всех сильней...»

— Ну, ты, Мирон, и даешь! — сказал Саша.

— Даю! Что мы — траурная процессия? Мне эта молчаливая скорбь печенки проела. Если и дальше так, знаешь, что будет? Знаешь?

Он не успел объяснить, что же будет, — дорога снова ринулась под уклон. Лошади понесли, убыстряя бег. Шелкин упустил момент загальмовать колесо — спицы замелькали, образовав сплошной круг. К счастью, он заметил веревку, привязанную к телеге. Обеими руками вцепился в нее, весь напрягся, потянул, чувствуя, как застилает и жжет глаза едкий пот. В ушах зазвенело от напряжения.

— Братцы, держи! — прокричал Шелкин сквозь этот звон.

В следующее мгновение его опрокинуло вниз лицом и поволокло за подводой. Успел подумать: беда...

Кто-то, как ему показалось, большой и плотный, кинулся к колесу и сумел-таки всадить гальмо в сплошной вертящийся круг.

Мирону этого было достаточно, чтобы подняться, не выпустив веревки из рук. Он встал и только теперь признал в человеке, удержавшем подводу, Ларису Владимировну.

Кто-то подал ему трубу.

— И на старуху бывает проруха, — невпопад сказал Шелкин, оправдывая свою оплошность.

Так миновали очередной спуск. Который по счету! Вот лента шоссе вверх поползла. Можно онемевшие ладони разжать, оторвать взгляд от осточертевшего колеса.

Перед повозкой, замыкая детдомовскую колонну, идут знакомая Переходу невысокая женщина с солдатским мешком за плечами и рыжая дочка ее Зина. У Зины тоже мешочек на лямках, а в руке — странные в такой обстановке — книжки, обернутые синей бумагой.

Менялись в толпах беженцев люди: кто-то отставал, кто-то отрывался, вперед уходил. А эти двое будто притерлись к детдомовцам. Привал — снимали свои мешки. Трубил Шелкин сбор — поднимались.

— Угадай, что за книжки у девочки? — спросил Сашу Александр Федорович.

— Учебники.

— Откуда знаешь?

— Давно их приметил. Славная женщина. Ириной зовут. И девочка славная.

Саша действительно приметил их еще под Майкопом, когда, в беспокойстве расхаживая по берегу Белой, ждал из города Александра Федоровича.

Вброд через речку, неся над стремительным потоком девочку, осторожно шла женщина.

Вдруг она оступилась, отчаянно забарахталась. Саша, как был в ботинках и брюках, кинулся в воду... Но зря искупался — она под-

нялась, выбралась на берег, стянула с девочки мокрое платьице, выжала.

— Не найдется у вас закурить?

Он пошарил в карманах, хотя знал, что они пусты. Виновато посмотрел ей в глаза, удивился совершенно особенной, чистой их синеве.

Оглядевшись по сторонам, женщина спросила:

— Откуда такая тьма ребятишек?

Саша обьяснил и посоветовал ей держаться в пути поближе к колонне — все же среди людей.

Потом, встречаясь во время ночных переходов, они здоровались. Иногда разговаривали. О несущественном: «Как себя чувствуете?» — «Спасибо. А вы?»

Но однажды разоткровенничалась, и Саша узнал, что ее Ириной зовут, что она минчанка, жена погибшего военного летчика. А родители ее в оккупации. Живы иль нет — неизвестно.

Он подивился тогда спокойной сдержанности, с которой она о невеселом рассказывала. И свою маму вспомнил, Наталью Ивановну, медсестру детской больницы. Такая же сдержанная. Жива ли мама?..

— Вообще-то и я одинок, — сказал Саша и покраснел.

Вскоре ему стало казаться, что, если Ирина рядом, дорога легче...

— Давно их приметил, — повторил Саша. — Душевная женщина. И девочка славная. Надо бы, Федорович, что-нибудь для них сделать.

— Будем считать своими, — решил Федорович. — Зачислим по военным правилам на полное довольствие.

— С нашего довольствия ноги протянешь, — мрачновато констатировал Саша.

...Маячат перед мордами лошадей два заплечных мешка. Саша с них глаз не сводит.

НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ

«В районе южнее Краснодара наши части вели оборонительные бои с крупными силами противника...»

(Из вечернего сообщения Совинформбюро 20 августа 1942 года)

«В районе южнее Краснодара соединение под командованием тов. Аршинцева в трехдневных боях уничтожило свыше 2500 немецких солдат и офицеров, 14 танков, 7 бронемашин, 103 автомашины, много орудий и пулеметов. Советские бойцы самоотверженно борются против численно превосходящих сил врага. Пулеметчики тт. Дзилунов и Пирущак уничтожили 90 немецких автоматчиков. Командир батальона капитан Бедашвили огнем из станкового пулемета уничтожил шесть немецких мотоциклов и свыше 40 гитлеровцев. Бронебойщик старший сержант Катаев метко брошенной противотанковой гранатой подбил немецкий танк и машину с пехотой».

(Из утреннего сообщения Совинформбюро 21 августа 1942 года)

1

В военных сводках вот уже несколько дней перестало упоминаться Туапсинское направление. Зато замелькало в сводках другое: «В районе южнее Краснодара...»

Эта, казалось бы, не очень существенная деталь имела, однако, глубокий смысл и обуславливалась изменениями, происшедшими к середине августа на Северо-Кавказском фронте.

Всю первую половину месяца немцы отчаянно рвались к Туапсе, рассчитывая отрезать и окружить Краснодарско-Новороссийскую группировку советских войск, чтобы затем пробиться по береговой линии в Закавказье. Наши армии вынуждены были отойти к северным предгорьям западной части Главного Кавказского хребта. И именно здесь 17 августа они остановили противника. Немецкий план выхода к Туапсе провалился.

Но генералы фюрера полагали, что советские войска обескровлены и не выдержат очередного удара. Вот почему в середине августа немцы приступили к перегруппировке своих соединений, нацеливая их на выполнение нового стратегического плана, который, по замыслам его авторов, должен был решить судьбу Кавказа. Смысл плана состоял в одновременном мощном броске к Баку и Батуми.

К Батуми немцы надеялись выйти двумя колоннами. Их 17-я армия получила приказ наступать из района Краснодара на Новороссийск, овладеть им и далее двигаться вдоль Черноморского побережья. 49-й горнострелковый корпус предназначался для нанесения удара из Черкесска на юго-запад, на Сухуми, через перевалы Главного Кавказского хребта. Наши войска, охраняющие Черноморское побережье и подступы к Туапсе, охватывались, таким образом, гигантскими сжимающимися клещами.

19 августа перешла в наступление 17-я немецкая армия, нацелившая главный удар на Крымскую. А 49-й горнострелковый корпус ринулся на перевалы.

Вот что означало сдержанное: «В районе южнее Краснодара». Вот почему перестало упоминаться в сводках Туапсинское направление.

Конечно, ни Переход, ни те, кто шел с ним, не могли знать этих подробностей, хотя все, что происходило на фронте, имело решающее влияние на судьбы детей. Их будущее теперь зависело от того, удастся ли немцам осуществить свои планы, пунктуально расчерченные на крупномасштабных полевых картах. Если полмесяца фашистские полчища шли по пятам за колонной и все помыслы Перехода сводились к тому, чтобы оторваться от преследующей лавины фронта, то теперь могло так сложиться, что отрываться-то будет некуда: немцы окажутся на побережье раньше, чем доберутся туда дети.

Но это могло случиться лишь при условии, что предположение фашистского генералитета, будто советские войска утратили боеспособность, верно. Немцам еще предстояло доказать непогрешимость своих расчетов и способность реализовать то, что так заманчиво выглядело в утвержденных фюрером стратегических директивах и планах. А советские войска, заслонившие дорогу на

Туапсе, уже доказали свою непоколебимую стойкость, не позволив врагу прорваться здесь к морю.

Головорезы на бронемашинах и танках не сумели настигнуть пешей колонны детей, потому что стояли насмерть не только Катаев, Дзилунов, Пирущак и Бедашвили, о мужестве которых сообщала сводка 21 августа, но и десятки тысяч других бойцов, о которых не упоминалось в военных сводках.

2

Ранним белесым утром линейные надсмотрщики Егор Кондоуров и Алий Галимов возвращались в свой блиндаж. Еще на исходе ночи прервалась связь с батареей. В темноте они отыскали обрыв, срастили кабель. И теперь, возвращаясь, не очень спешили.

Меж серых стволов и колючих кустарников стлалась, как туман, негустая пелена дыма. Пахло гарью. Где-то, видать неблизко, горел лес. От бомбежек.

— Егор, смотри-ка!

Шагах в десяти от тропы лежали вверх затылками двое мальчишек в ситцевых рубашонках. Один из них поднял голову, ошалело со сна стал таращить глаза на бойцов, пихнул локтем товарища:

— Коська! Наши!

Коська не шелохнулся.

— Мы-то наши, — сказал Кондоуров, — да вы-то чьи?

Женька вскочил и затараторил, что пулемет:

— Товарищ ефрейтор, в лесу диверсант, мы парашют видели, стропы срезаны...

— Не части, — остановил его Кондоуров. — На дубу парашют? Хватился! Тот фриц навоз носом пашет. — И, придав лицу суровое выражение, переспросил: — Чьи вы? Откуда?

— Зачем допрашиваешь? Зачем? — вдруг запетушился маленький рыжий Галимов. — Не видишь: с голоду еле дышат! — Он склонился над парнем, которого звали Коськой, протиснул ладони ему под мышки. — Встать можешь?

Костя поднялся, какой-то ватный и безразличный, точно с угара. Галимов обхватил его поперек спины и повел. Он покорно волочил ноги. Правая рука вихлялась, как переломанная, глаза то и дело зажмуривались. Все плыло, и мешалось, и мельтешилось, и тотчас забывалось.

Только когда спускались по ступенькам в блиндаж, стал отчетливее воспринимать звуки, предметы. Приметил, что ступеньки земляные.

В полутемном блиндаже перед желтым ящичком сидел красноармеец, он прижимал к уху телефонную трубку. Обернулся на шум шагов:

— Ух! Откуда такие бравые?

Кондоуров взял из его рук трубку, подул в нее, отрывисто прокричал:

— Мне «пятнадцатого»... Товарищ «пятнадцатый», докладывает девятый пост. Трофеи, товарищ «пятнадцатый»... Нет, два пацана...

Человек на том конце провода говорил так громко и четко, что Костя расслышал: «Гоните в шею».

— Они доходяги, самостоятельно передвигаются с затруднением, — отрапортовал в трубку ефрейтор. — Есть. Слушаюсь, товарищ «пятнадцатый». Ясно. У меня все.

Галимов достал из вещевого мешка ломоть хлеба и банку консервов. Вскрыл ее заржавленным тесаком, опрокинул содержимое в котелок.

— Слушай сюда, — скомандовал Кондоуров. — Приказано вам «загорать». «Пятнадцатый» сам приедет... От блиндажа дальше ста метров не отходить. Отойдете — считаю в самовольной отлучке. Ясно?

3

«Пятнадцатый» явился к полудню.

Мальчишки отлеживались на вольном воздухе, от блиндажа в трех шагах. Ефрейтор зря опасался, что они уйдут дальше, чем на сто метров. Никуда идти не хотелось. Одолевала слабость.

Витюк старался не поддаваться этой постыдной слабости. Приметил горку телефонных катушек — встал, подошел. Попробовал одну приподнять: да! Такие таскать — пупок развяжется... Тут и увидел приближающуюся двуколку.

С нее сошел командир. Немолодой, полный, в кирзовых сапогах и хлопчатобумажной гимнастерке без портупеи.

— Лесин, напоишь лошадь, — бросил он на ходу повозочному, из-за спины которого торчал приклад автомата.

Из блиндажа выскочил Кондоуров. Чеканя шаг, он приблизился к командиру.

— Товарищ старший лейтенант! Наряд линейных надсмотрщиков несет службу согласно боевому приказу. За время вашего отсутствия никаких происшествий не произошло. — Кондоуров набрал в легкие воздуха и рявкнул: — За исключением: в восьмистах метрах от линии связи задержаны двое несовершеннолетних. — Он скосил глаза на Кострова и Витюка.

— Вольно! — сказал старший лейтенант.

Женька плечи расправил, грудь выпятил: надо же показаться командиру здоровяком. Но тот и внимания на это не обратил. Сразу — к телефонным катушкам.

— Почему не накрыты? Где брезент?

— Позабыли накрыть, товарищ старший лейтенант. Отдыхали на нем, на брезенте.

— Так... Отдыхали? — Лицо командира посуровело.

Кондоуров кинулся опрометью в блиндаж и через четверть минуты вместе с Галимовым укутывал катушки брезентом, чтобы нигде ни щелочки.

— Абсолютно другой коленкор! — Старший лейтенант даже причмокнул от удовлетворения. Но, спускаясь в блиндаж, вдруг застыл

на ступеньке, уставился на брошенный у входа невымытый котелок, из которого Костя и Женька давеча уплетали консервы.

— Чей? — линялые его усики затопорщились.

— Мой, — печально признался Галимов.

— Два наряда вне очереди. — И скрылся за плащ-палаткой, занавешивающей вход в жилище линейных надсмотрщиков.

Нет, не понравился Женьке товарищ «пятнадцатый». Какой же он боевой командир: не накрыты катушки, не вымыты котелки? Завхоз... Сразу видать: не кадровый, из запаса.

Все же Женька ревностно прислушивался к тому, что происходило в блиндаже. Должен же старший лейтенант наконец поинтересоваться, расспросить у бойцов, где и как нашли его с Коськой.

Не поинтересовался. С ходу — за телефон.

— Я «пятнадцатый». Проверка связи, — доносился из блиндажа размеренный его говорок. — Первый пост, слушаешь? У меня с тобой все... Третий пост! Уснул, что ли, третий? Надо постоянно трубку возле уха держать!

Потом он долго объяснял Кондоурову, как надежнее замаскировать провод и по какой причине, вероятнее всего, произошел минувшей ночью обрыв.

Вышел из блиндажа и, только залезая в двуколку, глянул на Кострова и Витюка.

— Со мной, хлопцы, поедете.

На сиденье двуколки лежал автомат точно такой же, как у повозочного Лесина, с черной круглой коробочкой.

— Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант? — не выдержал Женька.

— Обращайтесь.

— У меня батя на фронте. Витюк — фамилия. Не встречали случайно?

— Нет, не встречал.

— Жалко, — Женька вздохнул. — Мы сейчас прямо на фронт?

— Прямо.

— Может, разыщу где отца? Как думаете?

Старший лейтенант процедил что-то неразборчивое из-под усов.

Резвая кобылка выстукивала подковами четкую дробь. Лесистые предгорья громоздились со всех сторон. Двуколка петляла меж ними, покачиваясь, как на волнах.

Ехали с час, пока не выплыла из-за поворота широкая лощина, перерезанная зигзагообразной цепочкой окопов.

Фронт? Костя и Женька искали глазами вражеские позиции. Но за окопами — кустики, рослые травы, огоньки полевых цветов. А по нашу сторону окопов — погребки блиндажей, пушки... Бойцы ломами, лопатами долбили неподатливый грунт.

— Лесин, покличь Шиндакова, — распорядился старший лейтенант, когда двуколка остановилась у погребка с накатом из толстых бревен.

— Политрук Шиндаков! К старшему лейтенанту Неелову! — заорал ездовой.

Из окопа, опершись на бруствер, выпрыгнул смуглый широкоплечий парень. Ворот гимнастерки распахнут, козырек фуражки нацелился в небо.

— Пополнение привез. Добровольное. — Старший лейтенант кивнул на мальчишек. — Давай-ка с ними поговорим.

Политрук присел на подножку двуколки.

— Как, ребята, калякать будем? Официально иль по душам?

— По душам, — сказал Женька.

— Тогда давайте знакомиться. Командира нашего вы уже знаете. А я политрук роты связи. Фамилия Шиндаков. Зовусь Юрий. По батюшке Ильич — Юрий Ильич. Что еще?

— Женатый? — спросил Женька.

— Нет, не женат, — политрук улыбнулся, и Костя приметил, что у него среди белых и ровных зубов один золотой. — Что еще спросишь? Как попал в армию? По призыву в тысяча девятьсот сороковом... А теперь моя очередь спрашивать. Откуда вы, ребятки, притопали? По какой надобности? Отвечать, как условились, по душам.

Костя открыл было рот, но Женька ткнул его локтем и пошел складно и жалобно заливать про станицу, где жили они изба к избе, про то, как разбомбили дотла станицу и уцелели только они вдвоем, Костров да Витюк. Потому что во время налета запускали в поле бумажного змея. И теперь, если в Красной Армии не оставят, — им неминуемая гибель.

— Будем выполнять все, что понадобится! — клялся Витюк. — Хоть в разведку, хоть связными, хоть ординарцами. Только не писарями.

— Сейчас надобится траншеи рыть, — пробасил мрачновато Неелов.

— Поможем! Пара лишних лопат найдется?

Женька спросил про лопаты с такой суровой серьезностью, словно судьба фронта в самом деле зависела от того, найдется ли пара лопат для Кострова и Витюка. Неелов усмехнулся. А Шиндаков безобидно захохотал.

— Нет, ребята, так не пойдет. Бомбежку и змея оставьте до лучших времен, — сказал Шиндаков, как-то сразу уняв свой смех. — Если суждено нам воевать вместе, надо знать друг о друге чистую правду. И никаких сказок... Я вас не обманываю, не покупаю, ничего пока что не обещаю. Но уж если пришли...

И Витюк, поколебавшись минуту, выложил чистую правду. Как в Керчи разгребал обессилевшими руками груду штукатурки и кирпича, под которой остались мать, братья, сестра, как плыл на баркасе через пролив и как хотелось ему тогда утонуть, чтобы забылось, не повторялось в памяти то, что увидел, когда раскидал кирпичи... И про отца рассказал, который воюет и ничего об этом не знает. Надо его найти! Должен же отец знать, как все было в Керчи.

А Костров — свою чистую правду. Про детдом, про поход, про «место в жизни».

И выходило, что нету, не может быть ни у того, ни у другого иной судьбы, кроме военной.

— Доложим о них Кругляку, — сказал Неелов.

Женька догадался, что Кругляк — самый главный здесь командир, наверное, генерал, и только в его власти оставить их или прогнать.

— Товарищ старший лейтенант, «третий» на проводе! — крикнул выбежавший из блиндажа боец.

Неелов и Шиндаков ушли. А Женька подумал, что, может, на проводе сам Кругляк и сейчас, в эту минуту, судьба их решится. Хотя нет: Кругляк, должно быть, не «третий», а «первый».

4

Костя сидел на траве сонный, а Женьке не терпелось поговорить. Не мог Женька молчать, когда наступает решающий перелом в его жизни.

С коновязи вернулся Лесин, принялся обкладывать дерном блиндаж.

— До настоящего фронта сколько километров? — спросил Женька Лесина.

— А ты где?

— На фронте — бой, — сказал Женька. — Вы ж не воюете.

— Нет, — сощурился Лесин, — не воюем. Гуляем у тещи на именинах.

— Катушки таскаете. Если б в атаки ходили...

— Молокосос ты! — обиделся Лесин и потерял всякий интерес к разговору.

Шагах в десяти от них бойцы выкидывали лопатами грунт со дна узкой и длинной щели. В другом месте, правее, пробивали ломами верхний каменистый покров земли. Над голыми белыми спинами кружились слепни и мухи.

— Бог в помощь, — подойдя к одному бойцу, сказал Женька.

Тот усмехнулся.

— Религиозный.

— Я не религиозный, — Женька заулыбался. — Хотя и крещеный. По материнскому суеверию... Подсобить? — И, не дожидаясь ответа, позвал: — Константин, топай сюда. Красной Армии требуется подмога.

У Женьки точный расчет. Застанет их старший лейтенант Неелов вкалывающими наравне с бойцами, подумает: «А ребята-то дельные. Надо Кругляку словечко замолвить, чтобы оставил».

Грунт — кремень. Долбанешь ломом — искры. Соскоблишь лопатой горстку каменистых осколков — и снова за лом. Долбанешь — точка на морщинистой тверди, долбанешь — запятая. Так и пишешь ломиком до помутнения в глазах.

У Витюка хоть искорки из-под лома. У Кострова — и их не видать. Смех и горе: промахнулся и угодил себе по ступне. Ногу спас ботинок и то потому, что ударил несильно. Костя охнул, проковылял шага три, повалился на землю. В глазах — оранжевые круги.

— Какой псих додумался рыть в сплошной каменюге! — заворчал Женька. — Мартышкин труд! Если драпать придется...

Мускулистый потный крепыш неторопливо приблизился к Витюку, потянул ломик из его рук.

— Ты, парень, ерунду не городи. Видел нас драпающими? Видел, да?

— Не вас, — заморгал Женька. — Но зачем мучиться, рыть, если...

— Затем, чтобы немец уперся здесь! — Боец швырнул в сторону Женькин лом. — Пойди-ка передохни, вижу, запарился.

Никто слова в защиту Женьки не вымолвил. Вкалывали бойцы, не разгибая спин. И Женька притих. Еще в керченском дворике, где вечно было полно пацанвы, усвоил он истину: если все против тебя — не ершись. Но ретировался все же с достоинством.

— Ладно, передохну — вас сменю. — Для убедительности об-

тер полою рубахи лицо, будто пот его доконал. Прилег рядом с Костей, спросил: — Как думаешь, «третий» — Кругляк?

— Чего?

— «Первый» он или «третий»?

— Откуда я знаю.

На бруствере появился невысокий лейтенант, из-под козырька его фуражки выбивался цыганский чуб.

— Первое отделение! Боевая тревога! — крикнул он.

Десяток бойцов, побросав ломы и лопаты, натягивали на потные тела гимнастерки. А через минуту, обвешанные катушками телефонного кабеля, автоматами, патронными дисками, они громыхали сапожищами по каменистой дороге.

Оставшиеся проводили их взглядами. И снова заскрежетали лопаты, затюкали ломы.

— Что за тревога? — спросил Костров Женьку.

— Попортилась связь — вот и тревога.

— Так они и воюют?

— Так и воюют.

— Чудно, — подумал вслух Костя.

То, что он видел здесь, совершенно не соответствовало его прежним представлениям о фронте и о войне.

Вдруг — словно штукатурка рухнула в гулкой комнате — к небу взметнулся черный столб пыли и щебня.

О том, что он видел столб пыли и щебня, Костя подумал уже в траншее, в которую сполз неведомо как. И Витюк оказался здесь.

— Пристреливаются! — азартно крикнул Витюк. А зубы его выбивали мелкую дробь.

— Что? — переспросил Костя, до него перестал доходить смысл простых слов.

— Дальнобойная щупает. А может, шальной снаряд. — Женька прислушался. — Точно, шальной.

Снова раскатисто громыхнуло. Женька присел, вобрав голову в плечи, как черепаха.

В траншею посыпались сверху бойцы. Без гимнастерок, но с автоматами. Побежали куда-то вправо.

— Нет, не шальной, — тихо сказал Витюк.

И тут началось. Грохотало так, что казалось: вот-вот рухнет небо, расколовшись на части.

Ребята притиснулись к земляной стенке, зажали ладонями уши. Каждый раз, когда очередной гулкий взрыв рвал в клочья воздух, они закрывали глаза.

— Лесин, мальчишек в блиндаж! — прорвался сквозь грохот голос старшего лейтенанта.

Потом они бежали за Лесиным по запутанным ходам, мимо застывших в стрелковых ячейках бойцов, мимо готовых к стрельбе пулеметов и длинных противотанковых ружей, установленных на брустверах. Наверху раскатисто ухало.

Лесин с разлету шарахнулся в тяжелую, из нестроганых досок дверь. Посветив фонариком, нащупал плошку из гильзы, зажег ее. И стало видно, что блиндаж — это невысокий тесный погреб с бревенчатым потолком. В углу — ящик, рядом с ним, на земляном полу, несколько свернутых в скатку шинелей.

Лесин запалил самокрутку от плошки, с жадностью затянулся и убежал, захлопнув дверь.

Гильза светила скупо. Язычок пламени вздрагивал при каждом залпе.

За дверью прогромыхали сапоги, много сапог. И вдруг в размеренное уханье канонады ворвались совсем близкие лающие разрывы. Фитилек, вздрогнув, погас. Наступил полный мрак.

Еще долго грохотало, рвалось и ухало. Казалось, неминуемо обрушатся бревенчатые накаты, задавят, втиснут в холодный земляной пол. Стихло все неожиданно.

— Женя, — прошептал Костров, — слышишь?

— Чего? Ничего я не слышу.

— Может, наши ушли? Отступили?

— Сказали бы...

— А вдруг забыли?

Витюк ответил не сразу:

— Могли и забыть: бой.

Дернулась дверь. Мальчишки прижались друг к дружке. Сейчас вырастет на пороге немецкий солдат и — вздохнуть не успеешь — ошпарит свинцовой очередью.

В светлом проеме встал Лесин. Он стоял и покачивался, как сонный, пялил в темноту невидящие глаза. Потом перешагнул порог и, не засветив огня, стал, приседая, шарить по углам растопыренными руками.

— Мы здесь, — подал голос Женька.

Лесин не ответил, а может, и не услышал. Нащупал скатку. Опустившись на колени, развернул ее и несколько мгновений не поднимался с коленей, будто силился вспомнить, зачем ему в такую жару шинель.

— Нам выходить? — осмелев, спросил Женька.

Лесин посмотрел на него, полизал пересохшие губы.

— Политрука Шиндакова осколком... в живот, — произнес он глухо и двинулся к выходу, сжимая в кулаке опущенной левой руки ворот шинели, полы которой волочились за ним по земле.

Вскоре, теснясь в узкой траншее, бойцы пронесли на этой шинели неподвижного Шиндакова. За спинами не было видно его лица. Волочившиеся по земле ноги в кирзовых сапогах оставляли за собой две бороздки. Глядя на эти борозды, Костя вспомнил, как политрук, сверкнув золотым зубом, воскликнул: «Нет, не женат».

— Пойдем, — сказал Женька.

Они выбрались наверх.

Светило солнце. Походная кухня дымила неподалеку в лесочке. Бойцы с холодным упорством долбили землю. Другие суетились у пушек, маскируя стволы зелеными ветвями.

А у Кости голова ломилась от гуда. Все еще слышал он грохот рушившихся небес.

Тоска и слабость одолевали Костю. Опустился на траву и снова, как в первую ночь похода, почувствовал, будто тонул и его только что откачали.

К кухне проследовала шеренга бойцов. Котелки покачивались в руках и позвякивали.

— Уходить надо, — подумал вслух Костя. — Совсем уходить.

— Куда?

— Не нужны мы здесь.

— Нет, — мотнул головой Витюк. — Дождусь, что прикажет Кругляк.

«Он уже приказал, — равнодушно подумал Костя. — Нам только не говорят. Руки не доходят до нас». А что приказал Кругляк: оставить их или прогнать — его уже не тревожило.

5

— Братцы! Держи-ы!

Александр Федорович вздрогнул, тряхнул головой. Увидел перед глазами катящееся колесо. Уцепил обод железным прутом, просунул гальмо. Не разживись он этим крюком, проворонил бы спуск. Черт побери, спал на ходу.

Привиделся ему освещенный последним отблеском закатного солнца пустырь за Акчоринским интернатом в родном Крыму. Мечутся по пустырю Витюк и Костров. С финками. Готовы перерезать друг другу глотки.

Ухватил того и другого за шиворот — на кулаках вены набухли. Привел не в учительскую — к себе домой.

— Лена, чем бы бойцовский пыл охладить?

Жена поставила на стол миску кислой капусты.

Проследил, чтобы до донышка ее опорожнили. Уложил спать. На собственной кровати. Валетом.

Похожее было на самом деле. Только при чем здесь Костров и Витюк? Одного из парней звали Роландом Валькманом. Точно помнит. Другого Иваном Саенко, кажется.

Саенко и Валькмана он утром после короткой словесной взбучки отправил в класс, приказав: «О вчерашнем никому ни гугу». Укрыл, выходит, головорезов директорским авторитетом. Что было, то было. И все-таки при чем здесь Костров и Витюк? Вещий сон?

Но сон на этом не кончился.

Видел тот же пустырь и бешеным галопом мчавшуюся упряжку — пена на мордах коней. На подводе, будто припаянный подметками к днищу, научный сотрудник Платон Тимофеевич. В руках два солнечных полукружья. «Тикай со мной!» — зовет Платон Тимофеевич...

Вот тут-то и раздался отчаянный возглас:

— Братцы! Держи-ы!

Местами дорога — тоннель: справа стена, слева стена, сверху черное небо. Что ни километр — пробка, затор. Дети валятся на дорогу и засыпают. Одного поднимешь — десятеро ложатся. А сзади вереницы упряжек. Может, сто. Может, двести. Подпирают и подпирают. «Когда-нибудь, — думает Переход, через силу удерживая палку между спицами колеса, — все эти арбы, телеги, брички разом сорвутся — и...»

Он будто наяву видит, как это начнется: одна не удержится — покатятся все. И чем кончится, тоже видит. Малыши мясорубку минуют. Не зря он, и Саша, и Шелкин, и Маркова, и двужильная Зубач, и несколько старших воспитанников во главе с Ильей Крохом несут у чужих подвод бессонную вахту. На этих подводах среди скарба беженцев рассованы дошколята-детдомовцы. Хозяева, сердобольные бабы, не возражали. «Да боже ты мой! Что мы — ироды проклятущие? Сидайте, сидайте», — напевно говорила худая —

нос да глазищи — казачка, у которой на возу сидело трое своих ребятишек.

Теперь она семенит по левую руку от Перехода, едва поспевая за сползающей по склону арбой. Палкой удерживает левое колесо.

Скрипят ступицы, скрежещут по гравию ободья. И кажется, над всем Кавказом только этот скрежет. Он заглушает все звуки и голоса, отпугивает мысли, кроме одной: не выпустить гальма, не оступиться, не рухнуть.

Наконец арба скатывается к короткой ложбинке, за которой подъем. Женщина кладет свою палку на бортик арбы. На бортик же опускает затекшие руки, будто и они тяжесть.

— Вы, стало быть, над детдомовскими главный начальник? — спрашивает она, когда притупляется клокотанье в груди.

— Не совсем, — Переход не знает, как точнее ей объяснить. — Я представитель крайоно, прикомандированный, что ли...

Она понимает по-своему:

— Вроде попутчика?

— Вроде...

Она глядит на него с наивным недоумением. Какая корысть попутчику от беспомощной детворы? Одни тяжкие хлопоты. Другой бы попутчик мысы навострил — только б его и видели.

— И что же, за это деньги какие дадены?

— Нет, — терпеливо объясняет Переход. — Какие деньги? За что? Зарплату получить не успели — поспешно эвакуировались. Рассчитывали по железной дороге, а вышло...

И опять они молча плетутся за надрывающимися в скрипе колесами. Александр Федорович размышляет: с каждой ночью труднее дорога — слабеют ребята, одежонка поистрепалась, обувь поизносилась. Главное, обувь. Сам-то он обошелся: променял перочинный шестипредметный ножик, гордость студенческих лет, на стоптанные чувяки. Иметь бы пять сотен таких ножей...

— Надо ребятишек из толчеи вызволить, — словно угадав его мысли, выговаривает казачка.

— Как? Сзади и впереди такая же толчея.

— Надо... Не вызволите — загинут.

В черной выси невидимые заныли «юнкерсы». Вспыхнув, зашарили по небу лучи прожекторов. Где-то тявкнула зенитка. Колонна дернулась, убыстряя неровный бег. Закрутились стремительные колеса.

Но световые щупальца отползли в сторону. Немного затихло.

Наверное, он опять задремал на ходу, потому что кто-то потряс его за ворот рубахи, а кто — сразу не понял.

В темноте — бородатое лицо Саши.

— Ты что?

— Лошадь пришибла... Ирину дочку.

— Чью дочку?

И вдруг вспомнилось полотенце с красными петухами и букварь, обернутый синей бумагой.

Словно свалив с себя тяжесть оглушающего отупения, давившего его с вечера, Переход схватил Сашу за ворот.

— Еще кого? Из наших — кого?

— Никого. Ирину дочку, Зину... Зенитка шарахнула — лошадь метнулась, запуталась в лопнувшей упряжке... Ирина девочку на руках несет. Теперь — до утра.

Что «до утра» — Александр Федорович не понял, но подтвердил:

— До утра.

Обогнав несколько подвод, он оказался в плотной толпе. Он искал женщину с солдатским вещмешком за плечами. Он должен был ее видеть.

Густо, во всю ширину дороги текла толпа. Лица были неразличимы во тьме.

И все-таки он заметил ее, узнал. По серому вещмешку и по ноше, которую ни с чем не спутаешь. Но приблизиться не решился. Пошел следом, не упуская Ирину из виду.

Она брела, покачиваясь, прижимая к груди голову девочки. Ночь отпустила ей несколько часов мучительной материнской надежды. Пока темнота скрывала меловую бледность Зининых щек, мать верила в чудо.

Даже дымчатый туманный рассвет не убил эту веру. Но когда выкатившееся из-за горного кряжа желтое солнце отразилось в остекленевших детских глазах, Ирина как-то сразу остановилась, качнулась и села на землю. Тотчас же возле нее оказалась Маркова, которая шла следом, не спуская с Ирины глаз.

— Остановите отряды! — крикнула Маркова Переходу.

Он вывел колонну на взгорье. Выбрал место на склоне, открытое, с дороги хорошо видное. Сквозь стиснутые зубы выдавил:

— Здесь.

Шелкин принес холодное тельце девочки.

— Головой на запад, — сказал Переход и опять вспомнил учебники в синей обертке. Остались на дороге, затоптанные...

Могилу копать было нечем и некогда. Ребята натаскали булыжников. Какая-то беженка прикрыла Зину холщовым мешком. Из-под него высовывались худые детские ноги. Правая — босая, на левой — сандалия.

Выложили колечком булыжники, стали складывать горку. Молча кидали тяжелые шершавые камни. Молчали хлопчики и девчонки, плотно окружившие холмик. Ни слезинки, ни вздоха.

Поодаль, уронив голову на плечо Ларисы Владимировны, стояла Ирина. Вдруг, отпрянув от Марковой, она пошла к холмику. Ребята перед ней расступились.

— Нельзя без гроба, — непререкаемо сказала Ирина. — Нельзя.

У всех опустились руки.

— Кладите, — устало проронил в тишине Переход.

Женщина заплакала громко, навзрыд и упала перед холмиком на колени.

Илья Крох раздобыл где-то алый лоскутик, прицепил его к прутику, втиснул между камней. С шоссе этот лоскутик казался, наверное, красным живым цветком на мертвых серых камнях.

Постояли недолго над холмиком. Сухие глаза детей, обнаженные головы взрослых... Женщина, припавшая лицом к холодным пыльным камням... А внизу — запруженная людским потоком дорога.

— Воспитатели! Построить отряды! — хрипло прокричал Переход.

Саша склонился над женщиной, коснулся ладонью разметавшихся русых волос. Она не шелохнулась.

Саша обнял ее плечи и оторвал от камней. Шагов пять она прошла с ним, покорная, и, будто очнувшись, спросила:

— Куда вы меня?

— Надо идти. Все уходят.

— Все? — переспросила она и с неожиданной силой оттолкнула его.

Саша в растерянности сдернул очки, потер стекла потными пальцами. А она снова рухнула на каменный холмик.

— Направляющие! Шагом марш! — скомандовал Переход.

В густой движущейся толпе его охватило чувство тоскливого одиночества, как в начале войны, в июле сорок первого, когда потерял Тамару и Лену.

Пропуская растянувшиеся отряды, он отыскал глазами Елену, взял дочку из рук и, крепко прижимая ее к себе, легонькую и теплую, заспешил в голову колонны. А чтобы отвлечься от муторных мыслей, стал прикидывать приблизительно, сколько человек обгонял по дороге...

— Она так и будет лежать? — вдруг спросила Тамара.

— Кто «лежать»?

— Зинина мама. На камушках... А если Зина умерла навсегда?

Умерла навсегда! Его поразило невероятное сочетание слов.

— Девочки говорили, что Зина умерла навсегда.

И тогда он сказал ей:

— Люди, Тамара, если умирают, то навсегда... Война когда-нибудь кончится. Живые будут радоваться ясному небу над головой, свету, мирному щебету птиц. У живых будет все, весь мир. У тех, кто погиб, — ничего. Навсегда ничего. Понимаешь?

Он не предполагал, что скоро пожалеет о сказанном и будет готов полжизни отдать, только бы дочка не поняла, не запомнила этих слов.

Но она поняла и запомнила.

6

— Товарищ полковник! — Адъютант Наливайко легонько толкнул спинку кровати. — На Индюк воздушный налет. С контрольно-пропускного сообщили.

— Савчук на месте? — спросил полковник, не открывая глаз, но так четко спросил, будто вовсе не засыпал. — Пусть заводит.

Затихли шаги адъютанта. Полковник поднялся, освежил лицо у жестяного умывальника, прибитого к палаточной стойке, надел гимнастерку с поблескивающим над карманом орденом боевого Красного Знамени, застегнул портупею и, просунув под ремень пальцы обеих рук, расправил складки. Налил из стоящего на табурете термоса полстакана холодной воды, залпом выпил. Все это заняло полторы минуты, не больше. Оправил постель и вышел на волю из просторной палатки, служившей ему и рабочим кабинетом, и спальней, если возможно назвать спальней место отдыха военного человека, урывающего на сон в лучшем случае часа два или три.

Стояла та́ не имеющая названия промежуточная часть суток, когда ночь уже отступила, а утро еще не пришло. Все было серо, нечетко — и неширокая колея, сползающая к шоссе между редких дубков, и укрывшаяся в кустарниках парусиновая палатка, и гро-

моздящиеся за ней лесистые кручи. Даже воздух был серым и непрозрачным.

Савчук вывел из укрытия «газик». Лицо Савчука было серым, под цвет давно не стиранной гимнастерки, как и лицо адъютанта Наливайки, примостившегося на заднем сиденье. На коленях он держал автомат со вставленным в прорезь диском. Рядом, на клеенке сиденья, еще два диска и полевая сумка, пузатая от набитых патронов. Боезапас.

Полковник уселся рядом с водителем.

— К Индюку, — с адъютантской предусмотрительностью опередил его Наливайко.

Ехали, слушали, как, повизгивая, шуршат по гравию шины. Молчали. Савчук целиком отдался дороге — поворотам, спускам, подъемам. Наливайко вообще не имел привычки без крайней надобности заводить разговоры с начальством. Крайняя надобность сейчас явно отсутствовала. К тому же адъютантский наметанный глаз определил, что полковник поднялся не с той ноги.

И в самом деле полковник основательно был встревожен: к Индюку двигалась маршевая дивизия, за график маршрута которой он отвечал головой. А навстречу дивизии, он знал, подступала многотысячная колонна беженцев.

Как разминуть два встречных потока, которые непременно столкнутся на узкой дороге возле станции со странным названием «Индюк»? Собьются на потеху фашистским летчикам, и никуда не денешься от беды.

За очередным поворотом вполнеба повисло алое полотно — отблеск пожара. Наплывал монотонный гул, всплесками выделялись приглушенные расстоянием разрывы.

— Однако там сабантуй, — сказал Савчук.

Сабантуй... Нетрудно было представить, какой в Индюке сабантуйчик.

— Успеем ли раскупорить проклятую пробку? — вслух подумал полковник.

Савчук жал вовсю. На поворотах так заносило — того и гляди выбросит. В потоках ветра мелькали придорожные столбы и деревья.

С разгона «газик» влетел в пристанционный поселок, заковылял по колдобинам. Поселок горел. Стлался вдоль улочек едкий дым. Уши заложил тугой гул — рев пикирующих самолетов, лай зениток, пулеметный захлеб и еще какой-то грохот и треск, словно раскатывались и ломались сухие бревна.

Савчук лег на баранку грудью, удерживаясь от искушения глянуть в сторону или вверх: не сыплются ли бомбы на голову? Все внимание — дороге. Только дороге. Нога, давящая на педаль акселератора, подрагивала. Сейчас накроет — и каюк, блин, пепел будет.

На выезде из поселка он едва не влепил машину в полосатую доску шлагбаума.

Савчук тормознул, сдернул пилотку, обтер ею лицо. Пилотка сделалась сероватой и влажной.

К машине подбежал усатый регулировщик. Из всего, что докладывал он полковнику, Савчук уяснил одну фразу: «Держим, а они напирают». «Это о беженцах», — подумал Савчук. Потом он услышал: «Трогай». Машинально нажал на педаль.

Проехали не больше километра. Дальше на дороге — десятки

сгрудившихся подвод. Хрипели и ржали лошади. Их хозяева, обрушивая на лошадиные спины удары палок, кнутов, вожжей, силились распутать этот живой клубок. А со всех сторон напирала, давила гудящая, спрессованная толпа.

Растянувшийся на километры поток беженцев был не в силах остановиться, тек и тек под неослабным напором задних. Наткнувшись на преграду, он заполнял тесное пространство меж горных круч и, как половодье, поднимался по склонам. А задние все давили.

Военные регулировщики пытались навести хоть какой-то порядок, остановить людской поток, удержать его. Им удавалось неимоверными усилиями отделять от него по ручейку: направлять группы людей в горы по тропкам и кручам.

Глядя, как работают регулировщики, полковник снова подумал о дивизии, движущейся навстречу. Она уже должна была подходить к Индюку.

«Газик», сдавленный плотной толпой, урча, стал карабкаться вверх по неширокой проезжей полоске. Эта полоска вела к зенитной батарее, расположенной среди негустого короткоствольного леса.

Савчук въехал в лес и остановился. Лес кишел детворой, будто ее собрали сюда со всей объятой войной земли. Дети плакали, кричали, звали кого-то. И в этом ужасающем гвалте надрывалась труба. Трубач, беспрестанно повторяя, играл отбой.

Рядом с машиной металась женщина, прижимала к груди бившуюся в истерике девочку:

— Томочка, что ты? Томочка, успокойся...

Близко, метрах в пятидесяти, сотрясая воздух, грохотали зенитки. С каждым залпом девочка закатывалась, голос ее обрывался, и казалось, не хватит у нее силы вздохнуть.

Проскользил по касательной самолет, задев огненным шлейфом верхушки деревьев. И тотчас оглушил близкий взрыв. Когда отгремело его троекратное эхо, поразила внезапная тишина, хотя все так же палили зенитки, кричали дети, надрывалась труба и женщина, как заведенная, повторяла: «Томочка, успокойся...»

Заросший щетиной дядя — в руках желтый школьный портфельчик, — взгромоздясь на поваленный комель, произносил странную в этой адовой обстановке речь — внушал мятущейся толпе ребятишек, что бояться им нечего.

— Слушай мою команду! — Полковник во весь рост поднялся в кабине.

Не имело значения, какую команду подать. Важно было, чтобы подчинились его воле, успокоились. И он раскатисто, властно выкрикнул первое, что пришло в голову:

— Всем лечь!

Потому ли, что он, военный, умел командовать, или, может быть, потому, что команду его повторили, разнесли несколько голосов и труба помогала, но бестолковое метание постепенно утихомирилось. Не все легли, но притихли, ожидая, что скажет им командир. Только девочка, не унимаясь, кричала и билась на руках бледной женщины.

— Старший команды, ко мне!

К машине не бегом, как полагается в армии, а со штатской развалочкой подошел тот обросший щетиной дядя, который убеждал ребят не бояться. Эта развалочка и непривычный во фронтовой

обстановке портфель, болтающийся в его руке, раздражали полковника.

— Кто вы? Откуда? — спросил он резковато и глянул в глаза подошедшему. Глаза карие, молодые. Сбрить буйную щетину, надеть на него гимнастерку, погонять как следует строевой — образуется отличный правофланговый. А портфель ни к чему, портфель вышвырнуть.

Человек с портфелем сдержанно, коротко доложил: семь детских домов — пятьсот детей — эвакуируются по решению крайкома. Пока он говорил, полковник глядел на его стоптанные бабьи чувяки, на концы брюк, заправленные в дырявые коричневые носки. И хотя полковник повидал на дорогах одетых по-всякому, его, привыкшего к безусловной военной строгости и порядку во всем, от такого наряда покоробило.

— Вы директор детдома?

— Нет. Сотрудник Краснодарского крайоно. Переход Александр Федорович.

— Любопытно... Такой переход и фамилия Переход.

— Возможно, и любопытно, — насупился человек. — Мне не до каламбуров теперь.

Полковник пропустил мимо ушей нервный, вызывающий тон.

— Вот что, товарищ Переход, налет кончится — задержитесь здесь часа на полтора, пока не пройдет маршевая колонна. Ясно?

— Неясно. Ждать не могу.

— Почему?

— Потому что задержаться на полтора часа — значит, задержаться до вечера: начальник ВАДа запретил движение днем.

— Будете ждать до вечера, — отрезал полковник, ударяя на каждое слово. Будто не слова выговаривал, а гвозди вбивал. — Начальник ВАДа — я. Я запретил.

Переход метнул на него стремительный взгляд. Полковник стоял перед ним поджарый, пружинистый. Губы стиснуты. Пуговицы гимнастерки надраены до блеска. Белоснежная кромка подворотничка. Такого переубедить невозможно.

— Вы понимаете, что каждая минута для нас...

— Понимаю, — снова отрезал полковник. — Но отменить запрет не могу. Все.

Привычным движением обеих рук он расправил гимнастерку под портупеей, сел на сиденье. Водитель включил мотор.

Переход ухватился за борт машины, словно был в состоянии удержать ее:

— Погодите! Послушайте! С нами шла девочка. Семилетняя, вещмешок за плечами. Как у солдат, только маленький. А в руках — арифметика и букварь. В синей обертке. На первой странице букваря — Ленин... Я смотрел на нее и все думал: «Неистребимо наше, советское! Неистребимо!» — Он говорил быстро, проглатывая окончания слов, он боялся, что полковник, не дослушав, уедет. — Эту девочку ночью в толчее сбила лошадь. Учебники на дороге остались. Их затоптали. Понимаете? А она берегла их для школы. Вы понимаете?.. Нам надо выбраться из потока беженцев. Не выберемся — погибнем, растеряемся. Мы должны идти днем...

Зенитки не переставали палить. Второй самолет, чиркнув дымным шлейфом по синему небу, грохнулся оземь. Подальше, чем

первый, за лесом. И опять ватная тишина закупорила уши. Но, пересиливая ее, метался одинокий умоляющий голос:

— Родненькая! Томочка! Успокойся!

— Мы должны идти днем! — повторил Переход.

— Эта маленькая, — кивком показал полковник, — из ваших? У Перехода дрогнули губы.

— Дочка моя. Болеет. Температуру смерить нет градусника. Про градусник он сказал с беспомощным сожалением, словно про редкостное чудодейственное лекарство: нужно до зарезу, а взять его негде.

Полковник сидел не шелохнувшись, и лицо его было как каменное. Смотрел в даль леса немигающими глазами. Отменить запрет на движение днем, даже для детской колонны, он не мог. Потому что это был вовсе не его запрет, а строжайший, согласованный со Ставкой приказ более высокого командира. Он же, начальник военной дороги, лишь жестко обеспечивал выполнение приказа. Нет, об отмене запрета и думать нечего... И все-таки этот штатский прав: необходимо вырвать детвору из водоворота заторов. Он, начальник дороги, обязан, черт возьми, это сделать. Но как?

— У вас отставшие были? — спросил полковник. — В последние дни?

Вчера ему доложили, что два пацана притопали почти что на передовую. Из части их доставили в комендатуру дороги. Он заговорил о тех пацанах еще и затем, чтобы оттянуть время: надо было решить, как поступить с колонной, а решение не давалось.

— Были. Двое, — подтвердил Переход.

— Фамилии?

— Костров Константин и Евгений Витюк.

— Точно, — полковник снова уставился на стоптанные чувяки. — Точно, Витюк и Костров.

— Что с ними? Живы?

Трубач, беспрерывно трубивший отбой, затих. И зенитки примолкли. Сабантуй на станции Индюк завершился... Как ни в чем не бывало закуковала в чаще кукушка. Неожиданно прозвучало беззаботное это «ку-ку», будто из позапрошлого, довоенного лета.

— Ну вот что, — разомкнул тонкие губы полковник, — напишите мне рапорт. Сейчас. Краткий — кто вы и что вы. Ясно?

В портфеле у Александра Федоровича хранились семь тетрадок со списками. На каждый детдом тетрадка. Он отодрал от одной обложку и, облокотившись на капот «газика», написал коротко: кто они, куда и откуда идут и что условия, сложившиеся в пути, требуют оказания им немедленной помощи.

Начальник военной автомобильной дороги принял серый листок. Поморщился: не по форме составлено. Но переписывать не заставил, начертал на замусоленном уголке: «Разрешается начинать движение за час до установленного срока. Заканчивать — на час позже». Расписался неразборчивой закорючкой, которую, однако, знали на каждом контрольно-пропускном пункте.

— Вот все, что могу. Но, учтите, это риск. С неба глаз не спускать... А за беглецами своими пришлите человека в комендатуру дороги... И выбросьте вы, товарищ Переход, к чертям собачьим портфель! — перегнувшись через спину сиденья, он вытряхнул из

адъютантской полевой сумки патроны. — Держите. Приличнее, чем портфель. А то такой переход — и с рыжим портфелем... Трогай, Савчук!

7

На всю колонну одни часы. «Кировские» ручные, белый циферблат, черные стрелки. Минутная короче, чем часовая: кончик обломан.

Александр Федорович носил их на тыльной стороне запястья: расквасишь стекло — пропали. А часы теперь во как нужны! Вечерами он поднимал с привалов ребят, не промедлив минуты, точно за час до общего срока. Зато по утрам, когда время движения истекло, — на часы не поглядывал, будто их не было. Хитрил: прихватывал лишние минуты, доведя колонну до очередного контрольного пункта.

Теперь — на час раньше и на час позже... С малышней не прибавишь шагу. Но и не прибавляя, оторвались от основного потока беженцев. За счет дополнительных двух часов. И сразу стало вольготнее: не выматывала толчея, ежечасные заторы на узкой дороге, не наседали подводы.

Последние дни жили ожиданием встречи с морем. Только бы выйти к морю! А там-то! Великая надежда была на железную дорогу от Туапсе.

Теперь их отделяла от Туапсе одна непостижимо короткая и непостижимо же долгая ночь пути. Короткая потому, что не верилось, не укладывалось в сознании: столько шли, и вот одна ночь... Долгая потому, что ее еще предстояло пережить.

Никогда не двигались они так стремительно. Будто пробивались сквозь темный и мертвый лес, за которым свет дня, ширь полей, зелень трав. На коротких привалах ребята не забывались, как бывало, в тяжелой, одурманивающей дремоте. Переход был пунктуален и скуп: пятнадцать минут отдыха — и вперед.

Сам он шел с малышовым отрядом Елены. Нес Тамару, мысленно рассказывал ей добрую сказку о необозримом просторе морского берега, усыпанного ракушками, о паровозике — красном, конечно, — который повезет их вдоль этого берега, у самой воды. Они будут лежать в вагоне и смотреть на волны, подползающие к полотну и откатывающиеся, подползающие и откатывающиеся. Вот какая добрая сказка...

Шоссе петля за петлей сползало вниз. И спускался с гор, нагоняя колонну, рассвет. В холодноватой молочной его пустоте растворились песчинки звезд. Только в расщелинах еще таилась дремотная темнота. Потом окрасилась в розовое верхняя кромка глыб: набирала силу заря.

— Придем в Туапсе, — размышляла Елена вслух, — сразу покажем Тамару врачам. Должны же там, в санаториях, быть врачи?

— Должны...

— Главное ей — питание. На побережье, наверное, можно покупать фрукты?

— Можно, наверное.

8

Горы враз расступились, и открылось высоченное, почти вертикальное нёбо, густо-синее, сочное. По небу, как испуганный паучок, карабкался вверх крошечный катер, оставляя за собой серебряную дорожку.

— Море! — Елена схватила за руку мужа. — Море!

И ребятня засуетилась:

— Море! Ура! Море!

— Где?

— Синее. Видишь? Как небо. Только синée.

— Наше море! Ура!

Прибежал Шелкин, ликующе потрубил над ухом у Перехода.

— Все же дошли, командарм! А? Дошли!

Внизу, у кромки берега, белел город. Над крышами висел густой дым.

— Мать честная! — сказал Мирон. — Город-то горит!

Они не остановились, не замедлили шага. Шли и шли. И смотрели не отрываясь на пустынное море, сливающееся на горизонте с небом, на город, укутанный дымом, как серой ватой.

Сначала казалось, что весь он объят пожаром. Но горели только приморская сторона и порт. Ветерок сдвигал дымные облака к горам, воздух сделался горьковатым. Издалека донеслись знакомые глуховатые звуки, будто по фанерному ящику ударили палкой. Зенитки.

— Скорее! Скорее! — Регулировщик, неожиданно выросший за поворотом, нетерпеливо махал флажками. — Шире, ребятки, шаг!

— Бомбят? — спросил его Шелкин. — Куда же ты нас под бомбы?

— Отбомбился. Только что отвалил... Поторапливайтесь, а то под второй заход угодите, — зажав под локтем флажки, регулировщик достал из кармана кисет, а из-за голенища газету, сложенную прямоугольником.





— Сорок, — сказал Мирон.

Какой солдат не знал этого ходового словечка, означающего: оставь докурить. Поменьше, чем полсамокрутки, сорок процентов. Взаимовыручка махрой соблюдалась неукоснительно.

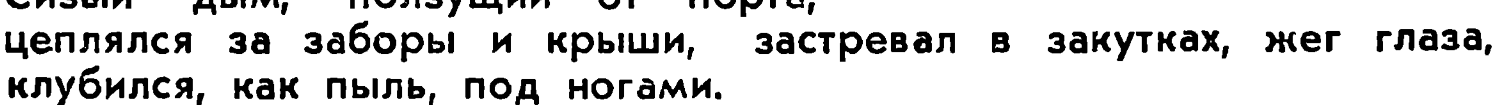
Пропуская колонну, они отступили к обочине.

— Бомбит и бомбит, стерва, — сплюнул регулировщик, — выспаться не дает.

— Не дает, — подтвердил Мирон, принимая сыроватый окурок. — Не разживусь у тебя про запас бумажкой? Бедствую: мох бы курил — закручивать не во что.

Посопев, регулировщик достал газету.

— Адью! — кивнул Шелкин и, довольный, побежал за колонной.

У самого города их встретил другой регулировщик. Он повернул колонну налево, по крайней пустынной улице, с травой на проезжей части, с приземистыми домишками. Сизый дым, ползущий от порта,

цеплялся за заборы и крыши, застревал в закутках, жег глаза, клубился, как пыль, под ногами.

Миновав эту улицу, они снова оказались за городом, на шоссе. Здесь тоже властвовали регулировщики. Поторапливали, нетерпеливо сигналя флажками. Переход понял, что прошедшая ночь была не последней бессонной ночью. Надежда на железную дорогу, на отдых в Туапсе рухнула.

Километра не отошли, когда в подернутом дымном небе пропечатались черные крестики. Еще налет.

Но теперь это было совсем не так, как в памятном перелеске под Индюком. Ни паники, ни истерик, ни ужасающего метания.

Шоссе перешагивало сбегавшую с гор речку. Переход стоял на мосту и, сцепив пальцы до боли, командовал:

— Быстрее, быстрее, быстрее...

Старшие ребята, расхватав малышей, мчались по колышущемуся настилу. Труба Мирона, не затихая, звала: «За мной! За мной!»

Переход последним миновал мост, подхватив на бегу двух девчушек.

— Врешь, — прокричал, — теперь не возьмешь нас за рубль двадцать!

Голос его приглушили резкие раскатистые хлопки. Береговая оборона огнем встречала врага.

Сказка о красном паровозике не сбылась. И все-таки в то утро им улыбнулась нежданная радость.

Когда город исчез за каменистыми кряжами, Переход смахнул рукавом с лица пот и, приставив ладони к губам, прокричал:

— Прива-ал!

Сошел с дороги, лег, зажмурил глаза и погрузился в дремотную глухоту.

Разбудил его Шелкин.

— Читай-ка! Читай! — орал Шелкин, протягивая мятую, замусоленную газету с оторванным краем.

Александр Федорович взял газету. На первой странице — сообщение «В последний час». Войска Западного и Калининского фронтов, перейдя в наступление, прорвали оборону противника на протяжении ста пятидесяти километров. Немецкие войска отброшены на сорок-пятьдесят километров. Освобождено шестьсот десять населенных пунктов, в том числе города Зубцов, Карманово, Погорелое-Городище. Бои идут на окраине Ржева. Далее перечислялись трофеи...

— Дошло? — кричал Шелкин.

Еще как дошло. Вонзилось в сознание это Погорелое-Городище. Название будто специально для военной сводки. Слышится в нем печаль, и будто видишь: солдатские вдовы с детишками на пепелищах.

Печь можно сложить, и избу срубить из смолистых, звенящих бревен, и город отстроить заново можно. Посеять, собрать урожай, назарить ребятишкам каши... Все можно. Только сперва — землю родимую отвоевать, село за селом, город за городом... И вот взяли наши Погорелое-Городище. Взяли!

— Понимаешь? — не унимался Мирон. — Понимаешь? Если там начали, может, и здесь...

По шоссе мчались к фронту ревущие «студебеккеры». Из Ирана. В кузовах, как боровики под плотными шляпками, бойцы в касках, с автоматами, скатками. Молодец к молодцу — на подбор.

Шелкин каждую машину провожал цепким взглядом. В темных, чуть выпученных его глазах заплескалась тоска.

— Что, заскучал? — Александр Федорович положил на плечо ему руку. — Взяли же наши Погорелое-Городище!

— Зависть, понимаешь ли, гложет, — застенчиво улыбнулся Мирон. — Они едут, а я на своих двоих топаю. Не в ту сторону топаю...

— Ты про Житомирщину?

— Какая разница? Житомирщина, Смоленщина, Киевщина... Все отвоевывать надо.

НЕДЕЛЯ ЧЕТВЕРТАЯ

«В районе южнее Краснодара продолжались упорные бои, нередко переходящие в рукопашные схватки. Сосредоточив на одном участке ударную группу, противник стремится прорваться вперед. Наши войска непрерывными контратаками сдерживают наступающего противника. Только в боях около одной железнодорожной станции немцы потеряли 8 танков и до 900 солдат и офицеров».

(Из вечернего сообщения Совинформбюро от 25 августа 1942 г.)

«В районе южнее Краснодара упорные бои происходили у пункта, расположенного вблизи узла горных дорог».

(Из утреннего сообщения 28 августа 1942 года)

«Южнее Краснодара противник под прикрытием сильного артиллерийского и минометного огня продвинулся вперед и занял несколько высот...»

(Из утреннего сообщения 30 августа 1942 года)

1

На школьной географической карте Кавказ накроешь ладошкой. А попробуй его пройти! Вьется нитка шоссе...

Пыль над шоссе днем и ночью — от автомобильных шин, от солдатских сапог, от босых ребячьих ступней. Застилает глаза, липнет к губам. Никуда от нее не деться: слева кручи, ущелья, справа, внизу — Черное море.

У самой воды, вдоль берега, усеянного раскаленной на солнцепеке галькой, — железная дорога. Но не прогудит паровоз, не протарахтит чинная череда вагончиков.

Отряды, не дожидаясь команды, подтягиваются. Смыкаются ряды поплотнее. И каждый норовит в серединку: не так жутко в ночи, если со всех сторон люди.

В хвосте колонны волочит ноги Костя Костров.

Вернулся он в отряд не по собственной воле. Но и не то чтобы против воли вернулся. Просто не осталось у него воли — одно безразличие. Будто все прошедшее случилось не с ним, а с чужим и непонятным мальчишкой из скучной книжки, которую задали прочитать к сроку. Судьба этого мальчишки Костю не трогала.

В тот день, когда погиб политрук Шиндаков, а точнее не в день, а вечером, дошли наконец и до них руки старшего лейтенанта Неелова. Позвал их в землянку, спросил:

— Претензии ко мне имеются?

— Нет претензий, — ответил Женька.

— Тогда собирайтесь, — сказал Неелов.

Собирать было им нечего. Вышли, уселись в ту же двуколку. Неелов с Лесиным на передке, Костя и Женька сзади.

Едва тронулись, Константин задремал. Он дремал всю дорогу, пока лошадь не встала у крылечка с часовым на ступеньке. Темнотища — невозможно понять, то ли поселок здесь, то ли хатенка одинокая у дороги.

Неелов нырнул в ту хатенку, как в нору. Минут через десять сквозь растворенную дверь его голос позвал: «Заходите».

Просторная горница. Окна прихлопнуты ставнями. Керосиновая лампа под потолком. Желтый блин света на бритом затылке толстого лейтенанта, склонившегося над застеленным газетой столом.

— Вот эти, — сказал Неелов.

— Ну что же... Все, — сказал лейтенант.

— Счастливо оставаться, — попрощался Неелов и вышел. За дверью протарахтела двуколка.

— Тучков, — позвал лейтенант, и в темном углу встал с табуретки боец. — Отведи на сеновал пацанов. Пусть отдыхают.

Остаток ночи и почти весь следующий день они прохрапели на сене, как суслики. Боец Тучков приносил им в котелке перлового супу и хлеба по пайке. А еще через ночь прибежал сказать, что их вызывают в штаб.

Лейтенант — не тот, у которого бритая голова, а другой, незнакомый, — чистил над столом пистолет. Рядом, прямая, как свеча, стояла воспитательница Мария Прохоровна.

— Ваши?

Мария Прохоровна ахнула, кинулась к ним, обхватила теплыми руками за шеи сразу обоих, притиснула. И заплакала.

Ее слезы не тронули Костю. И то, что не придется остаться на фронте, не огорчило. Вспомнилось, как давным-давно, когда снарядился он в Африку, мама отыскала его на чердаке, закоченевшего, у печной трубы. Тогда он плакал. А в душе радовался, что не удался побег. Теперь ни радости, ни печали. Фронт ли, детдом ли — какая разница?

В тот же день на воинской попутной машине они догнали колонну. И опять по утрам — отбой, по вечерам — подъем, сорок пять минут марша, пятнадцать минут — привал. Сонная одурь в башке. Все как было. Только сам он, Костя, переменился. Будто за неделю постарел лет на сто. Не волнует его уже та заметка про «место в жизни».

Перед Костиными глазами качается в темноте белобрысый Женькин затылок. Вот с кого все как с гуся вода.

Едва спрыгнув с машины, Витюк принялся заливать пацанам, будто участвовали они в бою: подносили артиллеристам снаряды. И будто один раз ему доверили из пушки стрельнуть. Дернешь такой крючок — и бах! Кажется, он подбил танк. Точно определить нельзя: поле боя в дыму и стреляют сразу из многих пушек. Но танк, в который он целил, раскололся, как грецкий орех. Аж затрещало. «Кость, подтверди».

А после боя генерал Кругляк объявил ему благодарность. Пузатый такой генерал: одно слово — Кругляк. «Определим, — говорит, — тебя в артучилище. Привезешь документы — и прямым ходом». «Кость, подтверди». Константин подтверждал.

Да, Женька остался самим собой. Хотя и для него не прошли бесследно скитания в ночном лесу, когда они заблудились и совсем было поверили, что умрут. Навсегда запомнился ему душный фронтовой день: потные спины бойцов, их истомленные руки, вцепившиеся в края шинели, на которой несли по узкой траншее отяжелевшее тело политрука Шиндакова. И бредущие в медсанбат раненые как бы навечно остались с Женькой. И приведенный разведчиками с передовой пленный немец, жалкий, с заплаканным, бескровным лицом...

Но если Косте в тот день открылось собственное бессилие, если он понял, что непригоден, неприспособлен к тяжкой окопной жизни, то Витюк, несмотря на все неудачи, уверовал, что мог бы быть не хуже других. Нет, не бойцов — с бойцами себя он не сравнивал. Не хуже тех своих одногодков, которым посчастливилось стать сыновьями полков. Надеялся, что когда-нибудь и ему повезет. Не с первой попытки, так со второй, с третьей...

Единственное, что изменил Витюк, вернувшись в отряд, — свое отношение к Роде Моторину. Остро переживая все то, что испытал и увидел в последние дни, он как-то забыл о существовании Рудольфа Маттерна. Не угрожал ему больше, не донимал. Женькина ненависть к фрицам не потухла, не притупилась — к тем высоколобым, щеголеватым, надменным, что топали сапожищами по булыжнику кривых переулков Керчи. Рудольф Маттерн совсем не походил на тех фрицев. И наверное, Женька примирился бы с ним

окончательно. Но неожиданно Моторин сам объявил войну Витюку.

Это случилось утром, на отдыхе. Только что прозвучала команда «отбой». Каждый выискивал поудобней местечко для сна, и у каждого, как всегда, вдруг нашлось какое-то неотложное дело.

Славик Колюхин, подобрав прелую щепку, выковыривал грязь под ногтями. Ковырял-ковырял и засадил под ноготь занозу.

— Ой, — захныкав, он поднял над головой оттопыренный палец.

— Подумаешь, рана! — усмехнулся Витюк. — Я на фронте одного бойца перевязывал. Во была ранища! Не пикнул!

Он сказал это с добрым намерением: ободрить пацана. А братан Славика Сенька обиделся:

— Перевязывал... Санитар объявился.

— Провалиться на этом месте... Боец, раненный в руку. Весь бинт в кровище. Сам меня попросил.

— А под ногтем занозить — знаешь как! Сам бы небось...

И Сенька объявил, что случилось бы с Витюком, если бы он засадил себе занозу под ноготь. Мальчишки загоготали.

Набычившись, Женька двинулся на Колюхина... И вдруг между ними встал Родя Моторин. Кулаки сжаты, лицо бледное.

— Людям житья не даешь! — задыхался от крика Родя. — Как фашист! Как настоящий фашист!

Женька хотел двинуть Роде разок. Краем глаза заметил Илюшку, решительно шагнувшего к ним.

— Связываться с заморышами... — презрительно вымолвил Женька и, повернувшись, пошел прочь, не торопясь, но и не разжимая заложенных за спину кулаков.

Он спустился к шоссе, облюбовал придорожный кустик, улегся в тени вверх пузом, под затылок — ладони. Зажмурил глаза и принялся воображать, как расквитается с Сенькой и Родькой. Ночью они отойдут за нуждой, а он в темноте подкрадется... Или нет. Налетят «юнкерсы», Колюхина и Моторина поранит осколками. «Кто умеет перевязывать раны? — заволнуется Федорович.— Ты, Витюк?» — «Нет, Александр Федорович, этих свистунов перевязывать я отказываюсь!» Федорович станет упрашивать-умолять: прости, дескать, их, недоумков. Но он, Женька, будет тверд и неумолим.

Перевернулся со спины на живот, собираясь вздремнуть, и тут приметил в траве плотного коричневого жучка. Выдернув стебелек, преградил ему путь. Жучок пошевелил усами и стал переваливать через возведенный Женькой шлагбаум.

— Упрямое насекомое, — Женька поддернул стебель, но жучок юркнул в траву. — Спас все же шкуру, коричневая каналья.

Из-за поворота выехала колонна мотопехоты. Машины мчались на полной скорости, обдавая Женьку горячей пылью. Первая, вторая, третья...

Пятая, взвизгнув тормозами, вильнула к обочине. Водитель вылез из кабины, откинул крышку капота.

В кузове на лавочках-перекладинах сидели бойцы — новенькие гимнастерки, фронтовые невыгоревшие пилотки.

— Перегрев, — подал голос Женька. — Треба воды залить в радиатор.

В кузове засмеялись.

— Знаешь ли, где у нее радиатор? — выкрикнул щуплый красноармеец.

Женька поднялся, подошел. Без спешки, солидненько, руки в карманах.

— А как же? — и улыбнулся. — Радиатор у нее завсегда впереди.

Взрыв хохота.

— Ты, часом, не цыганенок? Может, спляшешь, пока стоим!

— Цыганы блондинами не бывают, — сказал Женька, подумав. — А во-вторых, ноги с голодухи подрагивают.

Смех прекратился. Сержант, сидящий у борта, протянул ему пачку галет. Женька засунул ее в карман.

— Взяли бы сыном полка — я бы уж вам плясал! Зверски!

— А за чем дело встало? — не унимался красноармеец, который спрашивал, «где у нее радиатор?». — Полезай в кузов.

— Не врешь? — Женька подтянулся, перекинул через борт ногу.

— Погоди, парень, — сержант придержал его за плечо. — Ты же босой.

— Ну и что?

— Как это что? Сын полка — босиком.

— Сапоги-то выдадите небось.

Сержант руками развел:

— Сначала полагается тебя командиру полка представить. Босого — нельзя. Прогонит.

Женька засопел, спрыгнул с борта. Помолчав, все же осведомился:

— А в ботинках, каких-никаких, взяли бы?

— В ботинках бы взяли.

— Честное красноармейское?

— Вот настырный! — улыбнулся сержант. — Присягнуть тебе?

Водитель хлопнул крышкой капота, потом дверцей кабины, выжал газ. «Из-за леса, леса темного...» — задорно начал кто-то в кузове. Другой присвистнул. «Калинка-малинка моя, в саду ягода-малинка моя», — подхватил взвод с гиканьем, с посвистом. Чьи-то ноги, не утерпев, забарабанили по настилу.

Покатили солдаты на фронт. Весело покатили.

Женька стоял на шоссе, жевал сухие галеты и улыбался.

Эту самую «Калинку», бывало, отец на кухне отплясывал — аж посуда позвякивала. Колобродил, покуда мать, сдернув полотенце с гвоздя, не загоняла его, словно проказливого мальчишку, в комнату, не заставляла раздеться и лечь в кровать.

«Налил бесстыжие зенки!» — ругалась она и стегала полотенцем по голым его плечам. Батя накрывался с головой одеялом и, дразня ее, смешливо выкрикивал: «Анютка! Ку-ку!»

А бывало, подвыпив, отец являлся во двор, где хлопцы гоняли в одни ворота тряпичный мячик. Встревал в игру, путался под ногами, смешил весь двор.

Мать, толкая его в спину, спешила увести. Он упирался. Больше для куража, «для концерта». Выдавал на крылечке «Калинку-малинку» и с возгласом «Анютка! Ку-ку!» нырял за дверь. «Ах, ирод!» — кипятилась она. А он из-за двери: «Ку-ку!»

Теперь отцовские выходки представлялись Женьке милыми. Хорошо, весело с тятькой жилось. Снова бы так пожить...

Вспомнилось, как уходил отец на войну. Спокойный, трезвый, как стеклышко, чисто выбритый. Приложился Женька к его щеке — она гладкая, мягкая.

Всем семейством собрались проводить. Запретил: «Лишние сле-

зы, Анюта... Заварушка эта — месяца на три. Крайний срок — на полгода. Оглянуться не успеешь — вернусь...»

Вот тебе и полгода.

Растревоженный воспоминаниями, пришел Витюк в расположение отряда. Ребята спали. Дневальный Илья Крох глянул на него косо.

— Ну что ты все ходишь и ходишь?

— Уж и ходить нельзя?

— Не выспишься — свалишься на дороге.

— Сам не свались.

— Будешь пререкаться с дневальным, — нахмурился Крох, — Александру Федоровичу доложу.

— Беги доложи. А то опоздаешь.

— Разгильдяй ты, — сказал Илья.

— Ку-ку, — пропел Женька.

Он еще немножечко послонялся среди спящих ребят, приметил Костю, бухнулся на траву рядом с ним.

Костя оторвал голову от земли, потер кулаками глаза.

— Я с проезжающими бойцами калякал, — зашептал Женька, — такой, понимаешь, откровенный был разговор. Сержант там один...

— Спать хочется, — Костя зевнул.

— Спи... Геройские бойцы. В новеньких гимнастерках. Песни фартово поют...

Женька зажмурил глаза и увидел как наяву: мчится по широкой дороге машина. В машине среди бойцов — родной его батя с сержантскими треугольничками в петлицах. И собственной персоной — он, Женька. В полном боевом, в сапожках яловых. «Калинка-малинка, малинка моя», — залихватски заводит батя-сержант.

2

Приближение черной полосы неудач Александр Федорович почувствовал в Сочи.

Лишились сразу четырех воспитательниц. Двоих свалил брюшной тиф. А двое самовольно ушли: устроились в какой-то госпиталь санитарками.

Федорович не мог ни себе, ни другим объяснить, как могли эти женщины оставить колонну, детей, с которыми столько пережили, претерпели. Они казались не слабее других. И если чем-то отличались, например, от Марковой или Зубач, то, пожалуй, безропотностью, пассивностью. На быстротечных педсоветах, которые он иногда собирал на ходу, слова, бывало, не вымолвят. И вдруг...

Сначала он распалился: разыскать и вернуть! Откажутся вернуться — под суд! Но запал его быстро потух. Суд... А если доконала несчастных женщин дорога?..

Он не был ни робким, ни суеверным. И все-таки тревожное предчувствие его беспокоило. А может, никакого предчувствия не было? Просто видел: слабеют ребята, а конца пути нет и нет.

В Сочи в отличие от некоторых селений, через которые они проходили, городские власти были на месте. И было здесь много военных и кое-кто из краевого начальства. Все озабоченные, суровые. Ему прямо сказали, что обстановка на фронте нерадостная. Тесня на горных перевалах наши войска, немцы движутся к по-

бережью в обход города. Надо спешить, пока, не дай бог, единственная дорога не перерезана.

Снова спешить... На всю колонну теперь шестеро взрослых: он, Лариса Владимировна, Саша, Мария Зубач, Шелкин, Елена. Есть еще Аля, воспитательница, — неполных семнадцать лет. Этой весной окончила девять классов.

Знакомясь с Алей в Ново-Кубанской, он усомнился: «А справитесь? Будет трудно». Аля потупилась: «Мама не хочет, чтобы я оставалась... если немцы придут».

Распределяя отряды, оставшиеся без воспитательниц, он добавил на Алино попечение вместо сорока двадцать ребят. По лишнему десятку взяли Мария Зубач с Еленой.

Так покинули они Сочи, захламленный и душный город, с госпиталями в бывших санаториях, с нерасчищенными от запыленной листвы аллеями, с пустынными пляжами. Тот самый «солнечный рай», о котором с восторгом рассказывали счастливчики, побывавшие здесь до войны по профсоюзным путевкам.

До Гагры километров шестьдесят — три утомительных ночи.

Налетов не было. А шли тяжело. Тяжелее, чем по дороге от Майкопа через Индюк, стиснутой каменистыми кручами. Ребята не воспринимали команд, безо времени останавливались, валились и спали. Одного растолкаешь — десяток ляжет. Зубач плакала от бессилия. Злые, с почерневшими лицами Шелкин и Саша метались от отряда к отряду, помогая измученным воспитательницам.

Федорович не спускал с рук Тамару. Сквозь свою загрубевшую, как кирза, рубаху он чувствовал ее жар. Размыкая бескровные губы, девочка вяло просила: «Попить». Потом забывалась. Исхудавшие ее руки бессильно падали. Припадала к плечу отца горячая невесомая голова.

До сих пор в нем жила инстинктивная вера: беда минует, Тамара поправится. Иначе не может быть!

А на последнем перед Гагрой привале нежданное происшествие выбило Перехода из колеи.

У Роди Моторина украли ботинки. Ложась спать, он разулся, поставил их носок к носку в головах. Проснулся — нету ботинок.

Такого еще не случалось. Тем более у Зубач, в старшем отряде. Александр Федорович распорядился построить отряд.

Вместе с Моториным двинулись они вдоль шеренги.

— Смотри, где твои.

На ногах у ребят — рванье. Многие босиком — ссадины, синяки. Родя плелся, словно отбывал тяжелое наказание. Вздыхал, покачивал головой:

— Нет, не мои...

Дошли до конца шеренги. Крайним стоял Витюк. Переминался с одной босой ноги на другую.

Александр Федорович глянул на него хмурыми, в темных кругах глазами. Ухмылочка промелькнула по Женькиному лицу, будто знал Женька что-то, чего не знал он, Переход; показалось, что мальчишка в душе потешался над озабоченностью взрослого человека, над заварившейся кутерьмой.

— Вытряхнуть вещмешки! — Александр Федорович почувствовал, что не отступится, пока не отыщет проклятых этих ботинок. Он был раздражен, резок — с вечера снова мучила боль в желудке.

Ребята сдергивали мешки. Женька не шелохнулся.

— Тебя не касается? Я сказал: вытряхнуть!..

Ухмылочка снова тронула бесцветные мальчишечьи губы.

— А зачем?

— Ступай за мной, — сказал Переход.

Взбирались по лесистому склону наверх. Александр Федорович впереди, наклонив голову и ссутулившись. За ним, учащенно дыша, Витюк.

Переход опустился на пенек, потер грудь. Женька стоял шагах в четырех, смотрел поверх его головы на кроны дубов, где невидимые вольные птицы перекликались самозабвенным щебетом.

— Развяжи, — сказал Переход.

— Сами развязывайте, — Женька швырнул мешок ему под ноги.

Александр Федорович поднял его, сдернул петлю, запустил руку внутрь. Вынул книжку. Потрепанную, без обложки. «Путешествие капитана Гаттераса». На уголке штамп детдомовской библиотеки. Потом вынул наполовину обглоданный кукурузный початок. Потом — зубную щетку, старую, выщербленную — одна костяшка. Больше ничего в мешке не было.

— Извини меня, — не поднимаясь, он глядел на Витюка снизу вверх карими глазами и потирал грудь ладонью. — Ошибся... Почему же в строю ты... упрямился?

— Потому что... я ботинки украл, — ясно выговорил Витюк.

— Да ну?! — казалось, Александр Федорович испугался. Потом спросил тихо: — Как же ты это? Зачем?

— Мне без обувок нельзя.

— А другим, значит, можно... Наплевать на других.

Помолчали. Лес оглашался гомоном птиц и весь, до последней травинки, просвечивался солнцем. Эх, лечь бы на мягкую эту траву, заснуть, чтобы, когда проснешься, история с Родиными ботинками оказалась муторным сном.

— Это не мародерство, — сказал Витюк неуверенно. — Если б на поле боя...

— Какое, к чертям, мародерство! Дурость!

— Я и признался, чтоб не подумали: мародер. Настоящий-то мародер отпирался бы...

— Куда же ты их девал?

— Под кустиком...

— Принеси.

Женька принес. Одно название — ботинки.

— Видишь, — Федорович потянул отвисающую подошву. — А ты из-за этой рвани...

Он уже решил: надо вместе с Витюком перепрятать ботинки, а своим объявить, что Женька не виноват — в вещмешке у него книжка, да кукурузный початок, да щетка зубная. Пусть ищут, каждый кустик обшарят — найдут. «Может, ты сам их тут по забывчивости оставил?» — спросит он Родиона. «Может, — заморгает Моторин, — только спал я вон там». И покажет, где спал. За полкилометра...

— А что? — лицо Витюка стало отчужденным, холодным. — Все равно я для вас отрезанный ломоть. Уйду я от вас.

— Как так уйдешь? Кто же тебе позволит?

— Сам себе и позволю. Спрашиваться не стану.

— Ну, побратим! — Александр Федорович в сердцах швырнул оземь ботинки. — Надоели мне твои выкрутасы. Приведу за шкирку в отряд. Кроха к тебе приставлю. Как шелковый будешь.

— Не буду как шелковый! — закричал Женька и побледнел. — Уйду я! На фронт. Батьку искать. Мне не жизнь без него!

Переход на секунду опешил.

— Погоди, — он выискивал довод, способный убедить Витюка. — Подумай... На фронт? Там нужны крепкие люди. Фронтовой подвиг — это прежде всего дисциплина. Самодисциплина. Сознание долга. Ответь себе честно, самокритично, способен ли ты на подвиг...

— Не хуже других небось, — выдавил Женька.

— Конечно, не хуже. Не в этом дело... Понимаешь, не с того конца ты взялся, не по-мужски. Спишись сначала с отцом. Пусть он и решает, как тебе поступить. Может, выхлопочет тебя к себе в часть...

— Я полевую почту забыл.

— Не беда. Можно навести справки, запросить Наркомат обороны. Хочешь, я напишу? При первой возможности... А про ботинки мы никому. — Он смотрел на бледное лицо Витюка: вот затеплится оно улыбкой, вздрогнут ресницы...

Женька понурился:

— Все равно я уйду.

Александра Федоровича вдруг одолела слабость, как после долгой болезни. Бессильны слова: уйти мальчишке проще простого, силком его не удержишь.

— Как знаешь... — Он вытер рукавом вспотевший лоб. — Из списков тебя не вычеркиваю. Передумаешь — возвращайся.

И пошел, ссутулившись, заложив за спину сцепленные руки. Выходит, опять не решил не бог весть какую педагогическую задачку. Отдал экзаменаторам чистый лист и расписался: «А. Переход».

Эх, Женька Витюк, Женька Витюк, что-то с тобою станется?

3

На рассвете приползла с моря серо-лиловая туча, пришвартовалась к горному кряжу и стала пухнуть, обволакивая пространство между горами и морем.

Потянул сырой ветер. Вздыбились волны. Собирался проливной дождь. Какой-то малости силенок ему не хватило, чтобы взаправду собраться и стегануть напропалую — по выщербленной колдобинами дороге, по глянцевитой листве каштанов, по худущим ребячьим спинам. И то благо, что не собрался.

Колонна распалась, рассыпалась. Замыкающие Саша и Шелкин всю прошедшую ночь поднимали упавших, то уговором, то окриком принуждая идти. Но разве в кромешной тьме уследишь за каждым?

Едва рассвело и завиднелись крайние домики Гагры, Переход остановил направляющих. Посчитали — во всех отрядах не хватает ребят.

Последней из воспитательниц докладывала Аля:

— Двенадцать человек...

— Двенадцать в наличии? Или отстало двенадцать?

— Отстало. — Она отвернулась, скрывая набухшие слезами глаза.

Саша и Мирон измученные лежали неподалеку.

— Если резиновый шарик накачивать автомобильным насосом... — начал Саша. — Накачивать и накачивать...

— Ты о чем? — не глянув на него, спросил Переход.

— Отдых нужен. Иначе все — в клочья... Как резиновый шарик.

Переход закусил губу. «В клочья» — открытие, называется...

— Вот что, шарики-бобики, — сказал он. — Вы тут командуйте... Пойду ребят собирать. К полудню постараюсь вернуться.

— Двадцать километров туда, двадцать обратно, — напомнил Саша.

— Ты, Федорович, лучше в город ступай, к местным властям, — сказал Шелкин. — Мы пацанов проворонили — нам собирать. Поднимайся, Сашок.

И они побрели назад по шоссе; долговязый Мирон и узкоплечий, щупленький Саша. Даже со стороны чувствовалось, как тяжело им снова идти. Покачивались из стороны в сторону от усталости.

А Федорович отправился в город. Тоже еле ноги волочил. Не шел у него из ума резиновый шарик, который накачивают автомобильным насосом. В клочья не в клочья, а иссякнут ребячьи силенки — и амба... Может, уже иссякли? Может, после сегодняшней ночи в дорогу ребят не поднять? Пожалуй, что не поднять...

Ладный, будто игрушечный, городок взбегал от моря к предгорью. Каменные красивые виллы; ухоженные садики за крашеными заборами; широкая лента набережной, полукружием охватывающая залив.

На набережной красноармеец, задрав голову, что-то высматривал в хмуром небе. Журавля? Или вражеский бомбардировщик?

— Не подскажете, где горком?

— Не тутошний я, — сказал красноармеец.

Подковылял хроменький старикан с вязанкой хвороста за спиной. Побуравил Перехода своими глазками: оборванец интересуется, где горком. Однако объяснил обстоятельно.

Пришлось подниматься вверх по неширокой улочке, обсаженной молодыми, с темными заостренными вершинками пихтами. Подъем не ахти какой крутой, а после походной ночи тяжеловато.

Из-за угла вывернулся бородач в обвислой соломенной шляпе и кургузом, с чужого плеча, пиджаке. Когда разминулись, Александру Федоровичу вдруг показалось, что где-то он встречал эту приземистую фигуру, и эти глаза под густыми бровями, и бычий наклон круглой, с выпуклым лбом головы... Платон Тимофеевич, научный сотрудник ВИРа? Не может быть!

Александр Федорович обернулся: бородач шествовал не спеша, подметая тротуар излохмаченными краями штанин. Окликнуть? Не окликнул: черт его знает, вдруг обознался. Скорее всего обознался.

Он тут же забыл об этой случайной встрече, потому что, повернув за угол, разглядел на двери двухэтажного особнячка вывеску. «Комитет КП(б)» виделось издали.

4

В приемной дежурил худой, высоченный абхазец. Должно, демобилизованный фронтовик: правый рукав светлого чесучового пиджака пуст по локоть.

— Я к секретарю, — сказал ему Переход.

— Нету секретарь, — гортанно прокартавил дежурный. — В командировке.

— А кто его замещает?

— А по какому вопросу?

Александр Федорович объяснил по какому.

— Тебя мне и нужно! — закричал абхазец с неожиданной горячностью. — Распустил ребята. Так? Не успел прийти — по садам лазать. Так? Твои — по садам?

— Не мои, — уверенно сказал Переход. — У моих сил не хватит. Они сейчас спят. Ручаюсь.

— Не ручайся, пока собственным глазом не видел, — пустой рукав заплясал в воздухе. — Пойдем — показать буду.

Он выскочил из-за стола. Миновав приемную и узенький коридор, отпер едва различимую в полутьме дверь.

— Прошу, пожалуйста.

Они очутились в комнате, единственное окошко которой было прикрыто металлической сеткой от мух. Прямо на подоконнике — телефон. У противоположной стены — три стула. На среднем притулился смуглый, с мясистым носом и глубоко посаженными глазами парень в матросской тельняшке. Лет семнадцати. Грузин не грузин, цыган не цыган.

— Вот, — зачастил дежурный, — на места преступления пойман. Сопротивления оказывал, в драка полез.

— У вас, что же, и милиция тут? — удивился Александр Федорович.

— Какой милиция?! Весь милиция на война. Осталась милиция — женщины. А женщина справится?.. Люди на фронт — ничего не жалеть. Фрукта — зачем? Деньги на танковая колонна! Так? А они деревья ломать, на базар торговать! Твой?

— Нет, — покачал головой Переход. — По виду он местный.

— Не местный: из России, — подал голос парень.

— Видишь, — оживился дежурный, — и сначала так говорил: из Россия, пришел с детдом.

— Не с детдомом, а с дедом, — поправил парень. — Надо слушать не брюхом, а ухом.

— С дедушком? А где он, твой дедушка?

— В раю ангелов потрошит... Помер в дороге.

Отвечал он однотонно, бесстрастно, не сводя глаз с прикрытого сеткой окна. Будто на той сетке написано, что следует отвечать.

— Любимый дедушка умирать, а ты... — не унимался абхазец. — Стыд есть?

— Жрать каждому надо.

— Приходил бы горком, откровенно рассказывал, чего-нибудь бы помог.

Парень одернул тельняшку.

— Катитесь вы к чертовой матери. Хотите судить — судите.

— Вот! — воскликнул абхазец. — Что делать?

— Не знаю, — вздохнул Переход.

— Я тоже не знаю...

Парень отвел взгляд от оконной сетки, и Александр Федорович увидел его глаза. А в них — беззащитность, тоска и какое-то наивное детское недоумение: «За что вы меня?» Глупый, обездоленный войною мальчишка...

— Как он к вам попал? — спросил Федорович.

— Уважаемый человек поймал в сад, — дежурный остановился посреди комнаты. — Поймал — привел. А я прокурор? Да? Я что делать? Детский дом в городе нет. Колония нет. Да? А их в город много — банда.

Александр Федорович присел на стул рядом с парнем.

— Послушай, моряк. Есть конкретное предложение. Я веду из России гарных хлопцев. Мы идем в Закавказье. Айда с нами.

— Жратву обеспечиваешь?

— Обеспечиваю. Не от пуза, конечно, но обеспечиваю. И крышу на зиму.

— И стены? С решетками?

— Да нет же! — не удержавшись, Александр Федорович улыбнулся. — С чего ты такой подозрительный? У меня семь детских домов. Беру тебя помощником воспитателя на время пути. А там — как проявишь способности.

— Ладно, — согласился без особого энтузиазма парень. — Мне была бы жратва.

— Твердое слово?

— Не веришь, что ли?

— Верю. Считаю: сговорено... Разрешу с товарищем кое-какие вопросы — пойдем.

— Я на крыльце подожду, — парень прищурился. — Боишься, сбегу?

— А чего мне бояться? Сбежишь — себе навредишь. Сам-то себе ты не враг.

— Не враг, — он поднялся, медленно дошел до двери, распахнул ее, переступил порог, притворил за собой скрипучую дверь.

— Бежать будет! — не удержался абхазец.

— Захочет — и по дороге сбежит.

— Ну, — абхазец опустился на соседний стул. — Теперь просить будешь. Чего просить?

— Транспорт. На пятьсот человек.

— Транспорт?! На пятьсот?! — он саданул себя по коленке. — Соображаешь, чего просить?! Военное время! Где брать? Где? — вскочил и забегал кругами по комнате. — Слушай, от Сухуми железная дорога. Дойди Сухуми — восемьдесят километров.

Печально глянул Александр Федорович на собеседника.

— Ребята выдохлись. Понимаешь это?.. Если детский резиновый шарик накачивать до бесконечности автомобильным насосом, что будет?

— Дырка, — словно обессилев, абхазец плюхнулся на стул, и стул под ним крякнул. — Мои мозги отказывают понять... Жди секретарь.

— Дождусь, — тихо сказал Переход больше себе, чем ему. — День буду ждать, десять дней буду...

— Сумасшедший! — снова вскочил абхазец. — Знаешь обстановка на фронт? Да? Хочешь дети губить?!

— Не хочу я их погубить, — так же тихо сказал Переход. — Но вымотались они. Полягут на дороге, и станет на земле еще одним кладбищем больше. Детским.

Дежурный еще побегал по комнате, тиская пустой рукав в кулаке здоровой руки.

— Одна сутка жди, — разрешил он, — придет секретарь... Чего еще просишь?

— Продукты. Не накормим ребят, тоже примутся по садам шуровать.

— Продовольственный аттестат есть?

— Нету?

— Как нету?

— А так. — Переход вдруг озлился. — Должны были в эшелоне ехать. Продукты получили на восемь дней. А идем месяц.

— Скверный твои дела!

Он долго сидел, шевеля беззвучно губами. Встал, подошел к окну, снял телефонную трубку. С кем-то заговорил по-абхазски. Судя по интонации, и убеждал, и упрашивал, временами срываясь на крик. И пустой рукав его чесучового пиджака плясал в воздухе. В сердцах бросил трубку, побегал по комнате. Снова подлетел к телефону, нетерпеливо постучал рычажками. И опять долго говорил на родном языке уже, наверное, с кем-то другим. И тоже убеждал, упрашивал и кричал.

Положив трубку, достал из кармана пиджака блокнот и тоненький карандаш. Облокотившись на подоконник, написал что-то. Вырвал исписанную страницу, протянул ее Переходу.

— По эта записка получишь гороховый концентрат.

Объяснил, как найти продовольственный склад, и проводил Александра Федоровича до крыльца.

Чернявого парня на крыльце не было. И поблизости не было.

— Бежал! — искренне огорчился абхазец. — Что делать? Мозги отказывают крутиться!

Пожали друг другу руки и разошлись. И только тогда Александр Федорович вспомнил с досадой, что не узнал ни фамилии, ни должности этого человека. По крайней мере, должностью следовало поинтересоваться. Чтобы на складе, если спросят, сказать, от кого записка.

5

Костя Костров и братья Колюхины бродили по длиннющему, изогнутому, как лезвие серпа, пляжу. Искали перламутровые ракушки.

Воспитательница Мария Прохоровна еще утром сказала, что в шторм волны выносят на берег всякую всячину. Ракушки — пустяк; волны могут выбросить, например, потерянное в море весло. Даже обломок мачты.

Сеня тогда же смекнул: весло и мачта ему ни к чему. А было бы здорово раздобыть на потеху Славику перламутровую ракушку величиной с миску, по полукружью коралловые шипы. Такую однажды, еще в третьем классе, им показывала учительница.

Только как ее раздобудешь? То ли дотянешь до берега, то ли свалишься по дороге. Не он один, все ребята в лежку лежат. А если другого такого случая не представится?..

И все-таки тогда, утром, Сеня за ракушками не пошел: не смог. Это уже днем, когда выспались, Костя Костров сказал ему, что хорошо бы на берегу морским воздухом подышать: в шторм морской воздух особенный. Вздохнешь — и силы в тебе прибавляются.

Они и пошли втроем, потихонечку.

На пляже — ни обломков мачт, ни ракушек: сплошная мокрая галька. А про морской воздух Костя правильно говорил: сразу им полегчало.

Накатываясь на берег, ухали, как дальнобойная артиллерия, водяные валы, а отбегая, скрежетали кипящими в белой пене камнями.

— Моряки в такую погоду плавают? — полюбопытствовал Славик.

— Смотря чьи, — сказал Сеня. — Фашистские трусят. Наши, конечно, плавают.

Вслушиваясь в раскатистые удары волн и картавое бормотание переваливающейся в кружевной пене гальки, Костя задумался о своем. О том, что, должно быть, истинное его призвание — морская стихия. Потому и на суше ему не везло, что он прирожденный моряк. И стало казаться: страсть к морю жила в нем с раннего детства. Только была неосознанной. Увидел впервые синюю гладь, когда спускались с гор к Туапсе, — сердце екнуло...

— О-го-го! — вскричал Костя и шагнул навстречу накатывающейся волне. Его шибануло по коленкам и опрокинуло. Соленая горечь ошпарила глотку.

Он встал отплевываясь.

— Теперича портки выжимай, — сказал Сеня.

Он помог Косте выкрутить штаны и рубашку. С трудом натягивая ее на мокрое тело, Костя спросил:

— Когда на самостоятельность перейдешь, по какой определишься специальности?

— По печной.

— А я с детства решил: капитаном дальнего плавания буду! По морям, по волнам...

— Моряк, — хмыкнул Сеня, — с затонувшего корабля...

— А что? Скажешь, не получится из меня капитан?

— Почем я знаю.

На дальнем участке пляжа расположилась ватага незнакомых парней. Они играли в пристеночек возле огромной, пудов в сто, каменной глыбы. Позвякивали монеты.

— Здорово, корова, бык приветик прислал! — С земли поднялся пацан, улыбочка до ушей. Костя с удивлением признал Витюка.

Витюк подошел к ним с рисовочкой. Каждому руку пожал.

— Как житуха? Все топаете?

— Топаем, — подтвердил Сеня.

— В курсе, — сказал Витюк. — Я же шел за колонной. У вас привал, у меня остановка.

— Ты-то как? — поинтересовался Костров.

— А что я? Полный порядок... Еду в отцову часть.

— Ну да?

— Чего «ну да»? Помнишь, я тебе говорил: познакомился на дороге с бойцами? Которые пели «Калинку-малинку». Помнишь? Тогда и условились. Вызов жду.

— Куда же они вызов пришлют?

— Темнота! До востребования пришлют.

Поговорили еще о разном. Женька осведомился, как поживает воспитательница Мария Прохоровна, наказал передать ей привет. И Шелкину велел передать привет, и Саше, и Федоровичу.

Подошли к ребятам, которые дулись в пристеночек. Посмотрели. Выигрывал чернявый в тельняшке. Грузин не грузин, цыган не цыган. Ручища на удивление здоровенная: распластав пальцы, свободно доставал монету, дотянуться до которой, казалось, нет никакой возможности. Он запросто раскошеливал всех, ссыпая в бездонный карман пятиалтынные, гривенники, медяки.

— Сразимся? — бросил он то ли Косте, то ли Женьке, то ли Колюхину. А вернее, всем сразу.

— Дашь взаймы? — спросил Сеня.

— Под залог.

— Не связывайся, — шепнул Сеньке Витюк.

— Какой залог? У меня ни шиша, — сказал Сеня.

Грузин не грузин, цыган не цыган ощупал его прищуренным взглядом.

— Скидай рубаху.

— Не связывайся, — повторил Женька.

Но Сеня судил иначе: подумаешь, ручища здоровая, бить точнее — и все в порядке! Сеня скинул рубаху.

Чернявый ее ощупал, как базарный барышник, хмыкнул. Скомкав, засунул за пазуху, под тельняшку. И выдал Колюхину пару двугривенных.

Пацаны загоготали: потеха! Даже те, что прохлаждались в сторонке, подошли поглазеть на сражение.

Первый двугривенный Сеня проиграл сразу: слишком слабо ударил. Но вторую монету шибанул здорово — отскочила шагов на пять. Чернявый стукнул легко, будто нехотя, не рассчитывая достать Сенин двугривенный.

Азарт охватил Колюхина. Выиграть ему было необходимо. Он давно порешил любыми правдами и неправдами раздобыть хоть немного сахару. У детей, говорят, без сахара память слабеет. А Славик и вкус-то его позабыл. Выиграть и купить на толкучке для Славика кусок сахару! Ради этого и отдал рубаху свою под залог.

Приноровившись, он рассчитал силу удара — монеты легли почти рядом. Но сколько ни тянул пальцы, не хватило какого-нибудь сантиметра.

— Каши мало поел! — длиннорукий швырнул двугривенный свободно, с вывертом и уложил в самую точку. — Ваших нет!

Пацаны засмеялись. А Славик заплакал. Он плакал и тянул на одной скучной ноте:

— Большущий дурак... Отдай рубаху, дурак...

Сеня вдруг осознал безвыходность своего положения. Как вернуться в отряд? Как ночами идти, почти голому?

Пружинистой походкой к парню в тельняшке подошел Женька.

— Она же тебе мала... Отдай.

— Тю, — пожал тот плечами, — на барахолке продам.

— Отдай, — повторил Женька, — а то... по сопатке схлопочешь.

Парень сощурился и отвел было руку, чтобы влепить Витюку зуботычину. Но рядом с Женькой вырос, сжав в кулаке булыжник, Сеня Колюхин. И Костя Костров как-то помимо воли своей тоже схватил булыжник и тоже шагнул вперед.

— Трое на одного! — заблажил парень.

Он вспрыгнул на большой камень, выхватил из кармана что-то зеленое и увесистое.

— Шарахну — и в клочья!

И все увидели в его взметенной над головой руке боевую гранату.

Ребята попятились. Костя стал отступать бочком, не сводя глаз со страшной зеленой груши. Пронзительно закричал Славик, упал на землю, прикрыв затылок растопыренной пятерней.

То, что случилось потом, произошло в считанные мгновения. Костя видел, как кинулся Женька на камень, под ноги парню. Когда Витюк успел перехватить гранату, Костя не видел. В следующую секунду Женька уже мчался к морю, сжимая зеленую грушу в отведенной назад, готовой к броску руке.

Волна только что схлынула. Навстречу ей накатывалась другая. Она сбила, вобрав в себя, первую. И теперь на берег надвигался бурлящий, с завихренным гребнем, водяной вал. Женька мчался под козырек этого гребня, неестественно маленький на фоне изогнутой движущейся водяной темно-зеленой стены.

— Стой! — завопил длиннорукий, хватая булыжник.

Витюк по колени в воде пробежал еще шага три — и отведенная назад, сжимающая гранату рука его описала стремительный полукруг.

Костя зажмурился и зажал ладонями уши. Но взрыва он не услышал. Не было взрыва.

Когда Костя открыл глаза, Женькина голова еще маячила над водой. И в этот момент парень швырнул булыжник.

Он, наверное, не попал, потому что на какую-то долю секунды раньше обрушившийся гребень волны прикрыл Женьку.

А может быть, и попал.

Кипящий вал с грохотом прокатился по берегу и отполз, волоча шуршащую гальку. Там, где три секунды назад маячила Женькина голова, сшибались водяные барашки.

Второй вал прокатился... Третий...

— Под водой плывет, — предположил Славик.

Шуршала картавая галька, сшибались водяные барашки.

— Я не виноват, — зашептал длинный парень. — Я хотел попугать. Попугать я хотел. Граната пустая... Ненастоящая!

Он уже не шептал, а кричал. И дрожащие, перекошенные губы его стали белыми-белыми.

Будто ветром мальчишек сдуло. Только Костя, да братья Колюхины, да парень в тельняшке стояли как оглушенные.

Первым нашелся Сеня:

— На помощь! Человек тонет...

Голос его сорвался.

И тогда, словно повинуясь этому голосу, парень в тельняшке кинулся к морю. Волна сбила его. Он встал, вытянул из-за пазухи Сенину рубаху, швырнул ее подальше на сушу и, шатаясь, снова пошел навстречу волне. И снова упругая и тяжелая волна, навалившись, опрокинула его навзничь.

6

Переход недоуменно развел руками.

Витюк стоял перед ним, лопоухий, живой дьяволенок. И улыбался.

— Лыбишься? — спросил Переход. — Воображаешь: герой! А это не геройство, а безрассудство — глупей не придумаешь. Граната была бутафорская. Все равно что детский пугач.

— Откуда я знал, что она бутафорская, — возразил Витюк. — Гляжу: покалечит хлопцев этот, в тельняшке. Ну и...

— И поплатился жизнью, — сказал Переход. — Ни за понюх табаку.

Сказал и подумал: как же так? Поплатился жизнью, а невредим? Лыбится. Чему он лыбится, сорванец?

Женька потупился, лицом потемнел.

— Я тогда за Славку Колюхина испугался: потешный пацан, рано ему помирать.

— А тебе не рано? Не рано тебе?! — закричал Переход.

— Но я же думал: она боевая! Я вот так ее нес...

Он показал, как нес. И вдруг, выкинув из-за спины правую руку, будто швыряя гранату, саданул Переходу под ложечку.

Боль прожгла грудь. От этой боли он проснулся.

Над горной кромкой едва белела размытая полосочка неба... А спал, показалось, долгонько. Что-то поздно светает... Взглянул на часы — какая-то ерунда: без двадцати двенадцать. Поднес к уху — стоят. Забыл вечером завести. Не мудрено: подсек его несчастливый вчерашний день. Ух, подсек...

А поначалу все складывалось благополучно, хорошо складывалось. Насчет горохового концентрата горкомовский волшебник-абхазец не пустые слова ронял: привезли им того концентрата — фасованных желтых кирпичиков — полных два ящика. Разве не радость — впервые за целый месяц горячий суп!

Столовую оборудовали на взгорье, на пологе рыжеватой, выгоревшей еще в июле травы. Кухня — четыре камня, охапка хвороста между ними.

Мария Зубач прошла по ближайшим дворам. Принесла большущий луженый бачок, черпак с длинной ручкой, десятка два разнокалиберных мисок и табуретку — для посуды, чтобы на земле не пылилась.

И — самое дорогое — разжилась Зубач пригоршней крупных грязноватых кристалликов, набрала со двора по щепотке. Ни одна хозяйка не смогла бы пожертвовать сразу так много соли.

И обязанности поварихи приняла на себя Мария: все-таки когда-то в настоящей столовой работала.

Сварганить из концентрата суп — мудрость не велика. А вот точно разлить, никого не обидеть и не просчитаться... Глянешь в голодные глаза пацана — рука сама тянется пополнее плеснуть.

Ребята выстроились длинной, безмолвной, какой-то очень уж чинной очередью. Каждый, не отходя, выпивал желтоватую жижицу, облизывал губы, ставил пустую миску на табурет. Следующий брал эту миску, подставлял под черпак, выпивал, облизывал губы.

Бережливая аккуратность, с которой делали они это, печалила и раздражала Марию. Хоть бы один озорно швырнул опорожненную посудину. Или опрокинул бы табурет. Или заспорил бы из-за места в очереди. Потеплее бы стало на сердце.

Она старалась на них не глядеть. И не могла не глядеть.

В разгар обеда вернулись Саша и Шелкин, привели всех, кто ночью отстал. И Александр Федорович, успокоившись, впервые за сутки прилег. Уснул мгновенно, спал крепко.

Разбудила его Зубач. Он сразу почувствовал что-то недоброе. За воспитательницей в двух шагах стояли, прижавшись друг к другу, Костя Костров и братья Колюхины. Сеня — в одних штанах, мокрая рубаха в руке.

— Женя Витюк утонул, — глухо сказала Мария.

Он сначала никак не мог взять этого в толк: Витюк остался там, на дороге. Первая мысль была о своей безусловной виновности.



До пляжа они с Марией бежали, будто еще оставалась надежда спасти Витюка.

Пляж был пуст. Волны рушились на берег. Под ними, в глубине, — непроницаемый, мутный мрак.

— Может, он близко от берега,— прошептала Мария.

— Замолчи! — закричал Переход.

Постояли, бессильные что-нибудь изменить. И снова отправился Переход в горком.

Рабочий день кончился. Застал дежурного. Не знакомого абхазца — другого. Дежурный сказал, что искать тело сейчас бессмысленно. Надо погоды ждать. Записал фамилии Перехода и Витюка на оторванной от газеты узкой полоске, пообещал принять меры.

Вернулся Александр Федорович, когда было уже совсем темно. Повалился вниз лицом на траву. Долго не мог заснуть. А когда наконец забылся, увидел живого Женьку, повторяющего как заклинание: «Я думал, она боевая...»

И теперь, сжимая в кулаке остановившиеся часы, он осмысливал заново свой последний разговор с Витюком, в перелеске, в тот день, когда выкинул Женька фортель с ботинками.

— Ответь себе честно, самокритично: способен ли ты на подвиг...

— Не хуже других небось...

Оказалось, не хуже.

Но мальчишкам ничего не грозило. Ничего! Граната — дурацкая бутафория. Значит, все зря: и смелость Витюка, и порыв...

Он, Переход, ведет ребят. Целый месяц. Голодают, изматываются, за каждым — смерть по пятам. И никто не знает, чем это кончится. Неужели все это тоже зря? Не разумнее было бы отойти в какой-нибудь отдаленный степной хуторок, куда заведомо немцы не сунутся? Пересидеть, дожидаясь освобождения? Жили бы тихо. Как-нибудь пропитались бы. Не погиб бы Витюк, не болела, не мучилась бы Тамара... Неужто и я, как Женька Витюк, не подумав, — в бушующую пучину? Если так — чем оправдать мучения детей? Ту же смерть Витюка?

Он приподнялся, опершись руками о землю.

— Что со мной? — прошептал Переход, прижимая похолодевшую руку ко лбу, на котором высыпали росинки. Это же Антонина Васильевна: «Обождать, отсидеться...» Ее слова. Тогда они казались дикостью, бредом. Теперь — сам. Помутился рассудок?

В серой мгле кто-то брел, перешагивая через спящих. Чуть не споткнулся о вытянутые его ноги.

— Саша? Ты?

— Я, — Саша улыбнулся виноватой своей улыбкой, присел рядом. — Не спится? Думаешь много... лишнего. О Витюке?

— И о Витюке. Напрасно я его отпустил.

— Нет, не напрасно. Он должен был сам, понимаешь, на горьком опыте убедиться... Он же шел за колонной! Значит, готов был вернуться. И вернулся бы...

— Он погиб. Не за понюх табаку: граната была пустая, муляж.

— Он не знал этого. И ребята не знали... Но ведь он-то думал о спасении своих товарищей!..

Александр Федорович глянул Саше в глаза.

— Послушай, — и тронул его за плечо. — Откровенно, как думаешь, правильно ли мы поступили, когда повели ребят...

— То есть как — правильно ли? Что же еще оставалось?

— Не знаю. Может, отойти в глубинку, куда фашисты не сунутся, переждать.

— Ерунда! Ты знал такие места, куда фашисты не сунутся? А сунулись бы? Извели бы детей в чертовых душегубках. Что бы тогда сделал? Перегрыз бы горло какому-нибудь паршивенькому ефрейтору? А тебя бы за это в петлю. И что?

Для Саши не существовало проклятущего этого «правильно ли?..». И Александр Федорович попробовал объяснить:

— Я, пойми ты меня, задумался... Дочке все хуже и хуже. Женька погиб... Невеселые, брат, дела...

— Невеселые, — перебил Саша, — но мы солдаты. Военной формы не носим. А во всем остальном — солдаты... И знаешь, с точки зрения педагогики твои рассуждения тоже невероятный бред. Переждать, отсидеться... Мы кого из ребят воспитываем — борцов или рабов? Главное — сердце скрепить, не поддаваться усталости.

Было странно, что это внушал ему именно Саша, человек несильный физически, которому каждый километр дороги давался лютыми муками.

— Вот ты, — продолжал Саша, — мог бы ты там, в Краснодаре, отказаться от эвакуации? Не входит, мол, в обязанности начальника сектора кадров с детскими домами возиться. Мог бы?

Александр Федорович пожал плечами: чудной вопрос. Не мог. То есть формально мог бы. А практически нет. Просто мысли такой не возникало и возникнуть никак не могло. Тысячи людей уходили. Только ли страх их гнал? Нет же. Главное в том, что они сознавали — жить, существовать, дышать в фашистской неволе невозможно. Как же можно было оставить там детей?

— Ты бы не мог, — Саша сам ответил на свой вопрос. — А мне пришлось мать там оставить. Такое вот положение... Это она мне сказала: «Главное — сердце скрепить...»

— Ты у нее один? — спросил Федорович.

— Была еще сестра. Померла в раннем детстве. Так что матери я и опора, и поддержка, и несказанный свет... Печалилась, — он опять улыбнулся виноватой своей улыбкой, — что я неженатый, внуков хотела.

— Чего же ты ее огорчал?

— Да как сказать... Встретилась бы раньше такая, как Ирина, не задумываясь, женился бы. А встретил — и видишь, какое несчастье.

Говорили они шепотом, боялись разбудить спящих. Впервые так откровенно разговорились. Переход подумал о Саше: взрослый ребенок, чистая душа. И может, от этого негромкого, сердечного разговора затихла давешняя тревога. Даже стало немного совестно перед Сашей: стоило ли выплескивать свои мутные бредни? Но откровенность за откровенность. И Александр Федорович рассказал о парне в тельняшке: как уговорил его присоединиться к колонне, а потом упустил. Не упусти — и Витюк бы не утонул.

— Их, бесприютных, в городе поднакопилось, — подтвердил Саша. — Бродяжничают. Я видел.

— Слушай! Не могли бы мы их собрать? И этого, знакомого моего отыскать! А то свихнется.

— Как ты их соберешь...
— Мирон будет на пляже трубить — и из-за любопытства сбегутся.
— На Мирона теперь не рассчитывай. Уходит от нас.
— Куда?
— В армию. Вчера в военкомате он был... Марии удар: любовь у них.
— Марии — удар. А всем нам — нокаут!
Переход был в отчаянье. Уходил Шелкин, без которого как без рук! Кем заменить? Кому отряд передать?
— Илье Кроху, — посоветовал Саша.
— Но ему же пятнадцать лет!
— Что поделаешь... И я был вожатым в пятнадцать. А Илье можно доверить. Вспомни бомбежку у Индюка: из всех ребят только Илья и не растерялся. Когда паника началась, не удержала бы без него Мария отряд. А дорога до Гагры? Как нянька, мальчишек опекал! Девчурку одну километра три на руках пронес. Уверен: Кроху можно доверить отряд.
— Пожалуй, — сказал Переход.
Совсем рассвело. День опять начинался пасмурный, хмурый. По-вчерашнему от моря тянул напоенный солоноватой сыростью ветер, и небо было в сплошном пологе облаков.
— Который же теперь час? — Александр Федорович поглядел на облака. — Встал мой будильник.
— Шесть, наверное. Может, побольше... Утро первого сентября! Начало учебного года.
— Фу ты черт, точно! Из головы вон, завертелся.
— Бывало, натаскают ребята в школу охапки цветов, — мечтательно вспоминал Саша. — На столах, на партах, на подоконниках такие роскошнейшие букеты! Дух захватывает.
— Бывало... Много чего, дорогой мой, бывало... Просьба: никому не распространяйся про эту... ночную мою философию.
Саша дал понять взглядом: просьба излишняя.

7

Записка была написана на листке прошлогоднего перекладного календаря. Почерк острый, ни одной плавной линии!
«Начальнику колонны детдомовцев. Срочно явитесь по касающемуся вас неотложному делу.
Секретарь горкома».
Подпись — три косые линии с перекладинкой сверху.
— Как это попало к тебе?
Илья пожал плечами.
— Тетка какая-то принесла. Лариса Владимировна велела найти вас и отдать.
— Ладно, иди.
— Что там? — высказал любопытство Мирон.
— В горком вызывают.
— Ясненько.
— Думаешь, из-за Витюка?

— А кроме из-за чего?

Они сидели на том самом камне, возле которого Костров и братья Колюхины в последний раз встретились с Женькой. Вокруг камня — беспризорная вольница, парней двадцать разного возраста. А чернявого, в тельняшке, не было. По слухам, еще вчера драпанул он из города.

Мирон в бойкой своей манере растолковывал ребятам, какой им прямой резон присоединиться к колонне. А у Перехода на душе — тоска не тоска, печаль не печаль, а будто обида оттого, что завтра пожмет он шершавую руку Мирона — и словно не знались...

Утром Федорович мастерил из жердинок носилочки — дочка от слабости ходить разучилась. Оторвался на секунду от дела — Мирон в четырех шагах, уставился бездонными своими глазищами.

— Чего молчишь? — не выдержал Переход. — Я все знаю.

— А знаешь — о чем толковать.

— Когда проводы?

— Эх, Федорович, — Шелкин махнул рукой, — зряшный вопрос. Не стоит... Сегодня я в безусловном твоем подчинении. Давай мне последнее боевое задание...

Вот они и явились на пляж. Агитировать. А следом — Илья Крох с запиской: срочно в горком.

— Топай, — сказал Мирон. — Я один управлюсь.

Всю дорогу не шла из ума записка. Тон резковатый: «срочно явитесь», вместо «прошу зайти». И почерк какой-то ершистый, рассерженный. Да...

У двери кабинета он отдышался. Занес было руку, чтоб постучаться, да вдруг решил, что лучше без предупреждения и подготовки, как есть. Толкнул дверь. Она растворилась, грохнув о стенку.

В комнате он увидел троих. Знакомый однорукий абхазец стоял у окна. А за столом — узколицый мужчина в больших роговых очках, секретарь. Третий сидел спиной к двери на венском стуле.

— Подождите в коридоре, — попросил секретарь, — я занят!

— Это тот самый, — сказал абхазец.

— Тогда входите, — секретарь метнул на Перехода цепкий взгляд.

Сидевший спиной обернулся, и Александр Федорович узнал человека, с которым столкнулся вчера по дороге в горком. Точно: Платон Тимофеевич, научный сотрудник ВИРа.

Уж его-то Переход никак не ожидал здесь застать. И то, что Платон Тимофеевич тем не менее был здесь, показалось недобрым и опять-таки как-то связанным с гибелью Витюка. Он только сразу не мог понять, как именно. Показания, что ли, будет давать Платон о взаимоотношениях его, Перехода, с ребятами, о порядках в колонне?

В комнате было душно, как в степи перед грозой. Александр Федорович присел на стул у стены, чтобы не встречаться глазами с Платоном: не дай бог, сорвешься и врежешь с размаху в бородатое мурло. Врезать не грех. Только не здесь, не в чужом кабинете.

И Платон сидел напряженно, будто приклеился лопатками к спинке стула; подергивал шеей, точно ворот душил его.

— Ну, — сказал секретарь, — что у вас нового? Хорошего или плохого?

— Плохое, наверное, знаете.

— Знаю, — он снял очки, потер стекла платком. — Мальчик на ваших глазах утонул?

— Нет.

— А где вы в то время были?

— Спал.

— Да-а, — протянул секретарь, и невозможно было понять, означает это протяжное «да-а» сожаление о безалаберной гибели Витюка или выражает осуждение Переходу за то, что он спал.

Помолчали.

— В дороге — месяц?

— Да, месяц.

— Много ребят потеряли?

— Кроме этого, ни одного.

— Так-таки ни одного? И отставших нет?

— Были. Вчера собрали.

Дробно застучали под окнами капли. Но дождь тут же стих. А ощущение предгрозовой духоты не прошло.

— Дело вот в чем, — сказал секретарь. — От Сухуми железная дорога действует.

— Знаю... Вряд ли мы сможем дотянуть до Сухуми.

— Ночью за вами придут военные катера. В двадцать четыре ноль-ноль приведете ребят к причалу... Погода паршивая — помотает. Но это счастье, что погода паршивая: меньше опасности с воздуха. А вообще предупреждаю: рискованно. Охотятся за каждым суденышком. Топят.

— И на земле убивают, — хрипло сказал Переход.

И сам удивился, что сказал только это, а не вскрикнул, не упал со стула, не лишился рассудка от невероятнейшей радости, которая, казалось, должна была переполнить его. Вместо радости — притупленное, как во сне, чувство удовлетворения и облегчения. Спокойно подумал: неужто сам секретарь выхлопотал для них военные катера? А может, это сделал полковник, начальник ВАДа?

— Спасибо, — сказал он так же хрипло, потому что во рту пересохло.

— Не за что... Познакомьтесь с товарищем, — секретарь кивнул на Платона.

Платон повернулся вместе со стулом, не отрывая лопаток от спинки.

— Мы знакомы, — сказал Переход.

— Тем лучше: не надо объяснять, кто этот товарищ и что с ним случилось.

— А что могло с ним случиться? — Переход смотрел в широко расставленные, беспокойные, под густыми бровями глаза Платона и чувствовал, как злоба вскипает в груди.

— Понимаешь, — до сих пор молчавший абхазец пошел по комнате, размахивая пустым рукавом, — негодяи ограбили в горах человека, отняли лошадь и селекционный материалы. Человек четыре суток без куска хлеба спускался с гора. Надо помочь!

— Надо, — кивнул секретарь. — Прошу взять товарища до Сухуми.

— Его? Не возьму, — очень тихо сказал Переход.

Темная бровь взметнулась над оправой очков.

— Почему? Вам рекомендует горком.

— Он сам объяснит почему.

— Я объясню, — Платон заерзал на стуле, и Переход поймал его растерянный взгляд. — У Александра Федоровича ко мне... претензии. Может быть, с его точки зрения оправданные. Я искренне сожалею, что так случилось... Но поймите, я сберегал научные ценности, доверенные мне Родиной. Безоружный попадет в плен — это одно; с оружием — совсем другое. А при мне были материалы государственной важности. Я обязан был спасти их любой ценой, любыми средствами. И инструкция, данная мне, предписывала: любыми средствами!

— Спасли? — глухо спросил Переход.

— В определенном смысле — да, спас. В том смысле, что они не достались врагу там, под Курганной.

— А если бы там, под Курганной, из-за того, что вы увели лошадей, фашисты захватили ребят?!

— Я полагал, что вы все ценное... на машинах... И зачем смешивать разные вещи?! — Платон взметнул руки над головой.

— Не разные! — закричал Переход. — Детей вы ограбили. И спасали тогда свою шкуру. Только шкуру. А теперь козыряете материалами государственной важности, научными ценностями. Доверием Родины козыряете!

— Позвольте...

— Не позволю! Не знаю, что в ваших ящиках было. Но вряд ли люди уехали, а научные ценности бросили на вас одного.

— Об этом не вам судить, — Платон поворачивал круглую голову то к секретарю горкома, то к Переходу. — Я же отдал вам трактор. Подтверждаете? Отдал? Может, тоже я виноват, что вы его загубили?

— Нет, — сказал Переход, — в этом я виноват.

— Так что давайте относиться друг к другу по-человечески! Детей я не грабил. Растерялся — да, признаю... Меня ограбили. Лечь в канаву и подыхать?.. — Он прикусил губу. Он готов был расплакаться.

— Может, все-таки... — начал секретарь.

Желваки вздулись на скулах у Перехода.

— Труса и шкурника к детям не допущу! Им мужеству, а не подлости надо учиться. — И весь согнулся: там, внутри, снова все будто ошпарило. Подумал: только бы не свалиться до ночи. Посадить ребят на катера — тогда будь что будет.

— Тебе плохо? — наклонился над ним абхазец. — Хочешь вода?

— Пустяки, — он справился с болью. — Я, с вашего разрешения, пойду. Спасибо. В двадцать четыре ноль-ноль?

— Да, — кивнул секретарь. — Точно в двадцать четыре.

Пошатываясь, Федорович выбрался на крыльцо, опустился на сырую каменную ступеньку... Конец походу. В двадцать четыре ноль-ноль — военные катера... Нет, секретарю горкома, одному, не по силам такое: флотом он не командует. Значит, кто-то непрестанно следил за колонной. В нескончаемых потоках армии и беженцев они вовсе не были иголкой, затерявшейся в стоге сена. Начальники контрольно-пропускных пунктов докладывали о них начальнику ВАДа, тот — дальше... И может, в специальные доне-

сения, направляемые в штаб фронта, а то и в Москву, вписывалась строка о пятистах воспитанниках детских домов, эвакуированных из Краснодарского края...

Они об этом не могли знать. Но о них знали.

И ЕЩЕ ОДНА НОЧЬ...

«Враг, не считаясь с потерями, рвется к Баку. Гитлеру хотелось бы завладеть бакинской нефтью, чтобы оживить свои изрядно потрепанные танковые армады.

Но тщетны потуги бесноватого фюрера. Советские воины, не щадя жизни, бьются за каждую пядь родимой земли. И на Кавказе они остановят и разгромят фашистские полчища, как разгромили у стен Москвы».

(Из газет. Сентябрь. 1942 год)

Поздним сентябрьским вечером, изрядно поплутав по затемненным бакинским улицам, Переход отыскал наконец здание Наркомата просвещения Азербайджана. Хоть бы в одном окне светлая щелочка из-за шторы.

Но потянул тяжелую дверь — и отлегло от сердца: в вестибюле, под потолком, тускло горела лампочка. Слева от входа — деревянный барьер. Милиционер сонно глядел на позднего посетителя.

— Вам куда?

Переход извлек из полевой сумки бумаги, все разом. Милиционер поворачивал каждую к свету и, прочитав, складывал одну за одной на полированную доску барьера. Попросил паспорт. И паспорт изучал въедливо, до последней страницы.

— Проходите.

Александр Федорович кивнул ему благодарно: все правильно, все как надо. Вообще, начиная с Гагры, везло. До Сухуми катера дошли за ночь. В море — никаких происшествий, исключая остервенелую качку. Ребята валились с ног. Зато, сойдя на берег, получили продукты — и в эшелон. Отоспались под мерный говор колес. За весь муторный месяц, с лихвой. А в Тбилиси — опять удача: сотню малышей рассовали по местным детским домам...

Он поднимался по темной лестнице на второй этаж, мысленно репетируя предстоящий разговор с азербайджанским наркомом. По всей видимости, недолгий.

«Принимайте, товарищ народный комиссар, босоногое воинство. На довольствие ставьте. Точка». — «Точка, — кивнет нарком, — скитаниям вашим конец».

Иначе не может быть. Как говорится, приехали — дальше некуда: позади Черное море, впереди седой Каспий.

Когда Переход ввалился в приемную, секретарша поглядела на него с изумлением. Чтобы длинно не объясняться, выложил перед ней, как давеча перед милиционером, сразу все документы.

Она перетасовывала их, словно колоду карт.

— Наркома нет. Доложу заместителю. Подождите.

И выпорхнула с бумагами.

В углу приемной поблескивало трюмо. Александр Федорович шагнул к нему. Из зеркала уставился на него худущий лохматый детина, с заросшим, грязно-коричневатым, как мореная чурка, лицом. Когда-то светлая, без единой пуговицы рубаха была темна, будто изъедена молью. Залосненные, мятые брюки заправлены в дырявые носки. Левый чувяк обвязан проволокой, правый — бечевкой. Да... Картиночка — колоритнее не придумаешь. Не удивительно, что секретарша перепугалась.

— Вас просят пройти, — голос секретарши прервал самокритику. — Дверь направо.

Немолодая темноволосая, с проседью женщина встретила его, стоя посреди кабинета. В ее глазах Александр Федорович сперва прочел изумление. И не успел рта раскрыть, она ошеломила его восклицанием:

— Как вы посмели неорганизованно, без предупреждения везти детей?!

Неужели она спрашивает об этом серьезно? Посмел, черт возьми. Этакая легкомысленная фантазия разыгралась: попутешествовать... Ответил сдержанно:

— В Тбилиси обещали, что вам сообщат.

— Ничего не сообщили. Не знаю... Как снег на голову. Несколько сот детей! Куда их устраивать?

Сердито простучав каблуками, она прошла за широкий, под синим сукном письменный стол. Села в кресло. Глянув на разложенные бумаги, записала что-то в блокнот. Может, его фамилию. Сцепила сухие пальцы, подперев ими лоб.

Ее беспокойство можно было понять. Тем более если из Тбилиси действительно не сообщили. Но он-то чем виноват?

— Устроимся как-нибудь, — сказал Переход. — Назад же вы нас не отправите?

Она опустила на синее сукно руки.

— Не знаю... В Баку чрезвычайное положение. Привезти детей, когда враг рвется к городу, — преступление. Я не могу брать на себя ответственность. Обратитесь завтра к наркому.

Он стоял, растерянный, и не верил словам, которые слышал. Или не понимает она...

— Но дети ждут на вокзале. Голодные и больные. Необходимо сегодня, сейчас же что-то сделать. Накормить...

Она смерила его взглядом человека, удивленного крайней наивностью собеседника.

— Вы полагаете, продукты, медикаменты, жилье возникают по мановению волшебной палочки? К сожалению, существуют вызванные войной лимиты... Долго терпели — потерпите еще одну ночь. Завтра обратитесь к наркому. Я все сказала! — И отодвинула на край стола его справки.

— Нет, не все! — Переход кинулся к креслу, что возле стола, плюхнулся на кожаное сиденье. — Я не уйду отсюда, пока... пока...

Лицо женщины побагровело. Но она умела урезонивать посетителей, распускающих нервы.

Она прикоснулась указательным пальцем к пуговке внутреннего звонка. И когда секретарша появилась в дверях, вежливо попросила:

— Пригласите, пожалуйста, милиционера.

Мгновение секретарша смотрела на хозяйку кабинета. Александр

Федорович представил, как сейчас выведут его силой, и он никому ничего не докажет.

— Не утруждайтесь, — захрипел он, — я уйду, но я...

Бешенство душило его. Выскочив из кабинета, он кинулся по темной лестнице вниз, прижимая ладонь к груди. Под ладонью клокотало, вот-вот разорвется, сердце.

Мимо пустого гардероба, мимо барьерчика, за которым кивнула милицейская фуражка. Толкнул дверь на улицу и только тогда осознал: в вестибюле телефон с массивной, покоящейся на рычажках трубкой.

Вернулся.

— Позвонить можно?

— Аппарат для служебного пользования, — вяло воспротивился милиционер.

— Мне по служебному делу.

— Звоните.

Показалось, телефонистка нестерпимо долго молчала. Когда ответила, попросил Центральный Комитет партии Азербайджана.

— Номер в Цека? — спросил женский голос.

— Номера я не знаю. Какого-нибудь ответственного работника.

— Выясните, кого вам нужно, потом звоните.

— Девушка, — он боялся, что она не дослушает. — Это по чрезвычайному делу. О судьбе сотен детей. Помогите, пожалуйста...

В трубке щелкнуло, зашуршало, и несколько долгих секунд слышен был только мягкий, с потрескиваниями шмелиный гуд. Он уже подумал, что телефонистка отключила его, хотел бросить трубку и начать все сначала. Но вдруг сквозь этот монотонный гуд донесся мужской негромкий и очень спокойный голос: «Вас слушают». То ли от спокойствия этого голоса, то ли от сознания, что телефонистка все-таки помогла, к Переходу начало возвращаться душевное равновесие.

Но едва попытался он объяснить, кто звонит и зачем, как человек на том конце провода перебил:

— Понятно. Где вы находитесь?

— Я? Или дети?

— Дети, конечно.

— На вокзале.

— Хорошо. Не отлучайтесь с вокзала, ждите.

На том конце провода повесили трубку.

Чего ждать? Сколько времени ждать? И с кем говорил, неизвестно. Может, с каким-нибудь техническим работником, который сути дела не понял?..

Александр Федорович вышел на улицу. Ночь поглотила город: и коробки домов, и железную вязь оград, и свечи пирамидальных тополей по обе стороны мостовой. Ни звука, ни огонька. Небо как в степи: звездное, широкое, сочное, не засветлённое отблеском фонарей.

Временами казалось, город давно позади, и бредет он то ли через большущий пустырь, то ли через некошеный луг. Маячат во тьме — достанешь рукой — пологие холмики, поросли кустарника и бурьяна, стена карликового леска. Но гулкие звуки собственных одиноких шагов по отполированной мостовой не позволяли поверить в эту ночную галлюцинацию.

Потом он понял, что заплутался. Надо от наркомата налево, а пошел, кажется, вправо. Приедут за ребятами, а его нет. Приедут ли?

Совсем было решил приземлиться где-нибудь у забора, до утра отлежаться, как вдруг вырисовалась во мраке неширокая привокзальная площадь. Будто чудом на нее вынесло.

Ребята спали, заполнив панели от одного до другого края вокзала. Он двинулся вдоль кромки тротуара, выискивая Елену с Тамарой. Темная фигура отделилась от вокзальной стены, шагнула навстречу.

— Лариса Владимировна, вы?

— Я.

Он не видел в темноте, но представил ее глаза, внимательные, спокойные. Такие бывают у очень хороших, добрых людей, много лет проработавших в школе. Он всегда чувствовал себя легче, когда на него смотрели такие глаза.

Присели на ступеньку у главного входа.

— Ну что? — спросила она.

— Сказали: не отлучайтесь, ждите.

— Хорошо! — и, видимо, вспомнив зубоскальство Мирона, добавила: — Конец, дорогой Федорович, вашим командармским обязанностям. Отставка...

Он усмехнулся беззвучно. Рассказать, как приняли в наркомате, точнее не приняли, а выдворили? Зачем портить ей настроение... Сказал только:

— До утра, думаю, вряд ли кто явится.

— Все-таки давайте надеяться.

Так сидели они и надеялись. Молча: все давно переговорено, и все ясно. Не ясно одно: завтрашний день. Под крышей его проведут дети или здесь, на панели?

Он задремал. И пригрезилось: ждет к Тамаре врача. Не на бакинском вокзале — на крылечке родной Акчоринской школы, в Крыму. Сидит, уставился в темноту. А доктора нет и нет. Такая тоска — доктора ждать к больному ребенку...

Уловил вроде бы тарахтение мотоцикла. И удивился, что доктор на мотоцикле.

Мотоцикл потарахтел и умолк. А он опять ждал. И терзался, что долго.

Потом наступило успокоение. Он уже никого не ждал. Но осталось крылечко Акчоринской школы, за которым — светлый, недавно скошенный луг. Тамара, в коротеньких красных трусиках, несмело ступает по колючей траве: «Мама, она щекотная...»

Пробудили его голоса. Маркова разговаривала с военным, который стоял в двух шагах, возле невесть когда появившейся полуторки.

— Вот начальник нашей колонны, — сказала Маркова. — Александр Федорович Переход.

Военный шагнул к нему.

— Вы звонили уполномоченному Государственного комитета обороны?

Поспешно поднялся он со ступеньки. И только тут заметил, что звезды погасли, светает.

— Нет. Звонил в Цека. Не знаю кому...

Военный поднес руку к фуражке.

— Мне приказано доставить вам продовольствие, комплекты одежды и обуви на всю колонну.

Обувь Перехода сразила: никак на нее не рассчитывал. Это же такое богатство — обувь!

— Сандалии? — Ему почему-то казалось, что здесь, в Закавказье, должны дать непременно сандалии.

— Ботинки. Разных размеров.

— Когда можно обуть ребят?

— Когда пожелаете. Баня заказана. Думаю, целесообразно одеть и обуть после бани.

— Да, да, конечно... Лариса Владимировна, — он повернулся к Марковой, — поднимаем отряды! Или нет, сначала соберем воспитателей...

— Минутку, — военный остановил его. — Еще приказано вручить вам посадочные талоны. На баржу.

— Какие талоны? — Мелькнула несуразная догадка, что их поселяют на барже.

— Вы эвакуируетесь в глубокий тыл, в Алтайский край. Через Каспий. О вашем отбытии Барнаул поставят в известность.

Вот оно как... В первую минуту он не мог понять, огорчаться иль радоваться. Конечно, глубокий тыл — для детей чего лучше. Но, значит, поход не кончен...

Маркова глянула на него своими спокойными, внимательными глазами.

— Ошиблась я: командармские обязанности с вас пока еще не снимаются.

ЭПИЛОГ

«25 марта 1944 года.

Удостоверение.

Выдано настоящее начальнику управления кадров Наркомата просвещения Крымской АССР тов. Переходу Александру Федоровичу в том, что он является уполномоченным Наркомпроса Крымской АССР и на него возлагается руководство северной оперативной группой Наркомата просвещения Крымской АССР.

Народный комиссар просвещения Крымской АССР (Гавриленко)».

Тамара скончалась в дороге. На станции Чарджоу вынесли ее из вагона. Елена не видела, как брали и выносили. Лежала Елена на нарах, вниз лицом, отрешенная и немая.

Александр Федорович прошагал за носилками до подводы.

Прикрыли Тамару холстиной, как когда-то рыжеволосую Зину, и повезли.

Он стоял и смотрел. Самому бы захоронить свою девочку. Нет, невозможно: эшелон не оставишь...

До Барнаула ехали почти месяц.

В горе своем утешал он себя тем, что на Алтае будут они, сроднившиеся на тяжелых дорогах, вместе — и воспитатели и ребята. А приехали — пришлось расставаться.

В разные детские дома получили направления Мария Зубач, Маркова, Саша. Александра Федоровича назначили начальником учебной части 8-й специальной артиллерийской школы, эвакуированной из Ленинграда в село Тогул. Здесь — это уже в следующем году — больно ударила его еще одна тяжелая весть: Мирон Шелкин не дошел до родимой Житомирщины, погиб на Курской дуге.

А потом пришла телеграмма заместителя Наркома просвещения РСФСР по кадрам Котлярова, предписывающая откомандировать Перехода А. Ф. в распоряжение Крымского Совнаркома.

За день до его отъезда начальник спецшколы объявил приказ. Пункт третий гласил: «Капитану Фирсову 2/X-1943 г. в 10.00 построить дивизион для проводов т. Перехода».

От села Тогул до железной дороги неблизко. Добираться пришлось на подводе. Дивизион проводил его за околицу. А первая батарея не отставала километров двадцать, шла до следующей деревни.

В апреле сорок четвертого от Ново-Алексеевки, через Сиваш, вплотную за наступающими частями, шел сугубо штатский человек со своей северной оперативной группой Наркомата просвещения Крымской АССР. Правда, на этот раз было у него оружие — пистолет и запасная обойма патронов. И задача была ясная, как боевой приказ: максимум через три дня после освобождения Крыма двери каждой школы должны распахнуться...

Больше четверти века минуло с той поры.

Дома у ректора Крымского пединститута Александра Федоровича Перехода в ящике письменного стола, в красных коробочках, — ордена. За многолетнюю безупречную педагогическую работу. Боевых наград нет. В автобиографиях и анкетах он с неизменным постоянством пишет: «В Отечественной не участвовал...»





Виктор **КОРОТАЕВ**

У ПАМЯТНИКА ЗОЕ

Вот немудреная ограда,
Овал знакомого лица.
И у людей мрачнеют взгляды
И тяжело стучат сердца.
Свободный тон экскурсовода
Сродни кощунству в этот миг.
Но что поделаешь —
работа,
И он к ней попросту
Привык.
Нам не привыкнуть.
Слишком живо
Мы видим руки палача.
И здесь слова звучат фальшиво,
Здесь все скорбящие —
Молчат.

ТРЕВОГА

Солдаты!
Вновь сирена раздается,
К оружию зовет, а не к словам,
И знает мир, что песнями и солнцем

Он прежде всех сейчас обязан
Вам.
Он будет жить, работать безотказно,
Раскалывая ядрышки минут,
Пока ревут ночами ваши МАЗы
И жилы перетянуто ревут.
И пусть несправедливо и нечестно
Вдали от громовых армейских трасс
Забудут вас поэты и невесты,
Зато Россия
Не забудет вас.

●

Снега замели округу,
Ни звездочки на виду.
Я, видимо, снова к другу
Сегодня не попаду.
Синея, плотнеет сумрак,
И целый вечер опять
Средь развитых и разумных
Я вынужден прозябать.
Они не ругнутся с горя,
Не то что рабочий люд.
Они не шумят, не спорят,
Не курят они, не пьют.
В душе их, наверно, тоже
Всегда благодать и тишь.
О темных рубцах на коже
Как с ними заговоришь?
У них никаких отметин,
У них никаких обид,
У них ни за что на свете
Душа не болит!

●

Медведица мертво̀ открыла веки.
Двустволка заиграла на весу.
Звериное начало в человеке
Особо обостряется
В лесу.
Охотнику в азарте не до скорби,
И даже дома руки не дрожат,
Когда он молоком топленым кормит
Троих осиротевших медвежат.
И смотрит он, сопя над полной миской,

В кругу чревоугодливой родни,
Как ползают
По шкуре материнской
Растерянно скулящие они.
Как тычутся, на все предметы пялясь,
И, голову склоняя набочок,
Доверчиво сосут хозяйский палец,
Что нажимал
На спусковой крючок.
По крашеному полу каждой лапкой
Скользя и оседая на живот,
Они не знают,
чьей так с кухни сладко
Вареной медвежатиной несет.
Потосковав,
Затихнут мишки вскоре,
Улягутся в корзине потесней.
Всю глубину случившегося горя
Им предстоит почувствовать поздней,
Когда, для них покрепче выбрав стену,
Создав цивилизованный уют,
Как на собак,
Ошейники наденут
И новыми цепями прикуют.
Но и охотник стал не так уверен...
Виновник их сиротского житья,
Как баба, стал пуглив и суеверен
И в лес давно не ходит без ружья.
Он знает, не однажды мятый с детства,
Как мстительно лесное бытие.
Пришедшие в тайгу с недобрым сердцем
Уже не ждут добра и от нее.

●

Николаю Рубцову

Всех мучили какие-то вопросы,
У всех чего-то было на уме.
А рядом
Подгулявшие матросы
Плясали после вахты
На корме.

Дымили запрокинутые трубы,
Горел как полагается огонь,
Девчонкам заговаривала зубы
Бывалая матросская гармонь.

И так светились тающие шпили,
И так вода кипела у винта,
Что волны полногрудые ходили,
Как пьяные,
У самого борта.

Не находя душе горящей места,
На плясунов смотря со стороны,
Мы радовались тихо,
Что хоть здесь-то
Вопросы все
Пока разрешены.



Владимир ЦЫБИН

●

Понятен мир вполне,
покамест — все из бега,
мгновение во мне
живет комочком снега.
Летит за мигом миг
по громкому столетью —
улавливаю их
душою, словно сетью.
В подробностях простых
подробный мир пойму ли,
чтобы летящий миг
принять в себя, как пулю?

И вновь бело снежит,
летит с деревьев ветошь,
и снова мне спешить
сквозь зыбкую мгновенность.
Из нынешнего дня,
как пыль звезды с зенита,
отпала часть меня,
отпала — и забыта.

И все ж
вхожу я в явь,
не чувствуя урона,
сверкает мир, как язь
у тихого затона.

Промчусь, пройду, как весть,
и принят, и отвержен,
ведь знаю —
в нем я весь,
как зеркалом, затвержен.

И всем добром, и злом,
и тишиной, и звоном
войду в его излом —
и отражусь изломом...

●

Не от холода дрожу —
просто в тихую погоду
белый день перехожу
медленно, не зная броду.

Сыплется текучий свет
на меня как будто осыпь.
Шаг ступлю — и тут же след,
тут же в прошлое относит.

Через шелест, через звень,
через зыбкое свеченье
на меня отбросит тень
промелькнувшее мгновенье.

Словно в поезде, в окне:
рощи — мимо, версты — мимо,
в этой жизни, в этом дне
промелькнут комочком дыма...

Новый день встает, звеня,
чтобы вновь я верил диву,
из оставленного дня
взяв с собой лишь душу живу.

Гаснет белый, белый свет,
гаснет,
как воспоминанья,
и шепчу я тихо вслед:
— День минувший, до свиданья!..

ТЯЖЕСТЬ

Все золотей, все стремительней, все тяжелей,
все неслышней росы по травам пошли —
и лошади
кончиками зябких ушей
осторожно прикасаются к зыбкой тиши.

Нахоложенное, хрусткое — сплошь осеннее
падает,
опалившись о самый зенит, листьё.
И я предчувствую, как землетрясенье,
каждый твой жест и слово твое.

Из тишины моей, из самого дна,
так вдруг качнет —
что увидится, как на льду,
губы твои, где теплится дрожливинка сна,
и руки твои уставшие у меня на лбу.

И станет мир огромным, громким и зрячим,
что я, отклоненный тяжестью сердца вниз,
твоим сквозным притяженьем захвачен,
через жизнь твою упаду,
как сентябрьский лист.

И, отданный в это броженье, круженье, скольженье,
к тебе приду, к прохладе твоей прильну.
Так из земли,
из тяжести притяженья,
из тепла вырываются зеленя в вышину,
так, укрытая вся белой дневьною тенью,
вдоль светофоров, вдоль железнодорожного полотна,
вживаясь медленно
в протяженность мгновенья,
долго-долго слушает себя тишина.

ЗВЕНЬ

Разбуженная звень
на ветках не стихает,
капельный дым весь день
с сосулек вниз стекает.

Весь день снегов капель
в просушке на опушке,
где в березе капель
оставила веснушки.

Из влажного шитья
апрель насыпал клену
за пазуху, шутя,
серебряного звону...

Свисая с веток вниз,
остужен свет, как иней.
Бессмертный мир, творись
из этой влажной сини,
из громких зимних гнезд,
из снежного цветенья,
из падающих звезд
сквозь зыбкое мгновенье.

Творись ты —
из тиши
для славы, для успеха
и из моей души,
прозрачной, словно эхо...





Юрий АЛЕКСЕЕВ

БЕГА

РОМАН

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КОМПЛЕКС КЫТИНА

— Где Белявский? Вы не видели Белявского?

Автор фельетона про «Аль-Капонэ из Сыромятного переулка» Виктор Кытин, большелицый и приземистый, шел по редакции, заложив руки за спину и сгорбатившись, будто передвигался на беговых коньках. Это означало, что дела у него плохи и Белявский нужен ему позарез. Кытина всегда одолевали либо звонкая, фонтанирующая радость, либо мировая скорбь. Если его командировали куда-нибудь в Куеду, он носился по комнатам и намекал, что поездка — знак особого к нему, Кытину, расположения редактора и признания его, кытинских, заслуг перед газетой. Но стоило ему прослышать, что где-то в журнале «Антрацит» сокращают штаты, как он сразу становился на коньки и, мешая работать, нудел:

Окончание. Начало в № 1.

— Что же это, братцы, делается, а? Ведь все, что у меня есть, — это Омар Хайям, любимая работа и комплекс неполноценности...

Голос Кытина слабел и падал до шепота. О комплексе он вызнал из медицинского ежегодника «Менталидад бруталь» и теперь крепко за него держался. Комплексом Кытина в «Художественных промыслах», как это бывает, не злоупотребляли; Виктора даже жалели, но жалели ущербно, как разведенную женщину или исключенного из рядов за пьянство. Такое жестокое сочувствие только тяжелило неполноценное сердце, и Кытин готовил в душе реванш. Автор сорока семи непринятых и тридцати отвергнутых рассказов, Кытин метил в писатели.

— Ничего, Виктор, Бальзака не печатали до пенсии, — мягко успокаивали в газете.

Кытин слушал и мрачнел. До пенсии было далеко.

Скорописью он быстро превзошел Дюма и опостылел в редакции своими сочинениями. В конце концов его начали избегать. Тогда он стал зачитывать рассказы активистам, рабкорам и пойманным врасплох жалобщикам. Жалобщикам рассказы нравились. Кытин где-то их понимал. И все равно радовался.

— Приветик! — сказал он Бурчалкину, появившись в отделе культуры и быта. — Ты, старик, не видел случайно Белявского?

— Да где-то тут болтался, — отозвался Роман. — Загорел, бродяга, как лодочник, и врет еще больше прежнего. Просто уши вянут.

— Зачем ты так говоришь? Он не врет, — заволновался о чем-то своем Кытин. — Просто у него не все сразу получается. А ты с ходу — «врет»! Ты, Бурчалкин, стал такой въедливый, что тебе пора просто «Бур» подписываться. Честное слово! Кстати, оно эффектней, короче и ко времени... Слышал, как Сипун разделал твоего однофамильца на совещании?

— Еще бы! До сих пор в ушах звенит.

А звон был поднят действительно большой.

Когда Агап Павлович Сипун лично выловил в Янтарных Песках «гладиаторов» и представил их творческому миру, на эстрадной бирже начался бум. Подобной ажиотации тут не было давненько. Конферансье Лесипедов и его подельник Шуйский-сын продали с пыла с жара пьесу «Накипь», три музыкальных обозрения и девять

клоунад. В субботу вечером они уже торговали репризами и подписями под моментальными карикатурами. Разбойный эстрадный цех содрогался от грохота молотков и криков: «Раззудись, плечо, куй, пока горячо!»

С понедельника цеховой товар хлынул на потребителя. «Гладиаторов» бичевали в семь хвостов. Их клеймила вечерняя газета, грызла изголодавшаяся по свежатинке эстрада, весело поносила радиопередача «Смейся, дружок». Словом, кампания набирала силы. Ставший во главе очистительного похода Сипун побывал у Министра художественных промыслов, после чего записал в «гладиаторы» Потанина и заодно с ним своего соседа по даче, не желавшего чинить на паях забор. Вскрикивая «чур меня, чур!», сосед побежал за тесом.

— Как мне не слышать! — повторил Роман. — Тот «гладиатор» мне не просто однофамилец, а брат.

— Иди ты! — Кытин ухнул и всплеснул руками. — Брат?! Вот номер! Ха-ха! Но — молчу, молчу. — Он приложил палец к губам. — Кытин выше этого. Кытин за товарища на рельсы ляжет.

С этими словами он убежал, но через секунду его лохматая голова снова показалась в дверях:

— Под товарный поезд, ты понял?

Все еще гордясь только что сказанным, Кытин проскочил лестничную клетку и намеревался было пойти на поиски Белявского в буфет, но вдруг застопорил и втянул голову в плечи. Навстречу ему шел завхоз Сысоев с гвоздем в зубах. Гвоздь торчал, как сигара, и яснее ясного говорил о перемещениях в высших сферах искусства... Дело в том, что по указанию зам. главного редактора Яремова стены редакции были украшены портретами руководящих деятелей культуры и художественных промыслов. Согласно диалектике, а также волей жребия деятели сменялись. И первым узнавал об этом почему-то Сысоев. На глазах шептавшихся сотрудников он снимал со стены погашенный жребием портрет и вешал на его место новый. Где он брал сведения, откуда, как и по какому каналу Сысоеву все это сообщалось, было тайной из тайн. Нервный Кытин на пари обшарил стол завхоза в надежде открыть потайной телефон, но нашел лишь обмылок «Семейного» мыла и кусочек дырчатой пемзы. Сысоев остался неразгаданным, и его фигура вызывала у Кытина нехорошее предчувствие. Вот и теперь он глядел на гвоздь, и шальная мысль, что всякое

перемещение пробуждает деятельность, а деятельность неизбежно связана с сокращением штатов, — эта мысль опустила неполноценное сердце к желудку: «Что же это делается? А?!»

Кытин сник и заковылял по отделам, жалуясь на жестокость века вообще и свою беззащитность в частности. При этом он совершенно непроизвольно сообщал, что Роман Бурчалкин — брат того самого «гладиатора» из Янтарных Песков.

Впопыхах он и сам не заметил, как оказался в кабинете зам. главного редактора Яремова, где печалился особенно громко и дышал особенно глубоко.

— М-да? Ну ладно, — отозвался Кирилл Иванович, встревоженно посмотрев при этом на портрет Министра художественных промыслов, висевший в кабинете против окна. — Ступайте, Кытин. Идите и работайте.

— Работать? С удовольствием! — пятясь к дверям, затараторил Кытин. — Ведь все, что у меня есть, это Омар Хайям...

Но Кирилл Иванович не слушал. Он с неудовольствием прикидывал, что главный редактор пробудет в Польше еще целую неделю и решать вопрос о Бурчалкине ему придется самому.

А решать Кирилл Иванович страсть как не любил, ибо вечно колебался, и колебания эти зависели от дуновений вовсе даже неприметных. Вот и сейчас была нужда поговорить с ответственным секретарем Астаховым, а он не знал, как к этому подступиться. Пойти к Астахову он не мог, потому что был главнее по должности, а вызвать того по телефону не решался, поскольку считал себя демократом. В конце концов он поднял трубку и не лишенным приятности голосом проговорил:

— Саша? Надо бы посоветоваться... Как это сделать практически?.. Ага, значит, зайдешь? Ну и прекрасно...

Астахов явился с гранками свежего набора.

— О чем совет? — спросил он.

— Видишь ли, как бы это выразиться поточнее... — Кирилл Иванович запыхтел губами, будто играл с Астаховым в паровозик. — Тебе известно, что наш Бурчалкин в некотором родстве с «гладиаторщиной» и «коэлизмом»?

— Нет, не известно. Я его босиком в редакции не видел.

— Этого еще не хватало! Достаточно, что он брат того самого бузотера из Янтарных Песков. И знаешь, где со-

вершил свой безобразный поступок «гладиатор»? На месте будущего памятника Отдыхающему труженику, памятника, задуманного самим Сипуном... Представляешь, чем это может для нас обернуться?

— Нет, не представляю. Не представляю, при чем тут Роман Бурчалкин.

— А я не хочу ставить под удар реноме газеты, Астахов! Ты учти, кампания в самом разгаре. К тому же, сам знаешь, Агап Павлович Сипун шутить не любит.

Кирилл Иванович покосился на портрет Министра художественных промыслов и сделал нежный кивок к потолку.

— Сегодня вхож, а завтра не вхож, — сказал Астахов неопределенно.

«Типун тебе на язык!» — воскликнул про себя Кирилл Иванович и спросил настороженно:

— Ты что-нибудь знаешь? А?

— Я знаю, что брат за брата не отвечает, — уклонился Астахов.

— А никто так вопрос и не ставит. Но наш Бурчалкин должен отмежеваться от того, не нашего... Должен четко занять позицию!

Астахов заложил руки в карманы пиджака и стал молча покачиваться на мысках.

— Или есть другие соображения?

Астахов молчал.

— Может, я дую на воду, а?

Астахов молчал и делал это нарочно, чтобы довести колебания Кирилла Ивановича до предела и обезоружить его окончательно. Убедившись, что Яремов «дозрел», Астахов вынул руки из карманов и сказал так:

— Хорошо. Будет позиция...

Он ушел и вернулся с Бурчалкиным.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласил Кирилл Иванович и вздохнул, будто уступал Роману место в электричке.

Роман сел.

Кирилл Иванович пожевал губами, внимательно изучил пятнышко на столе, потрогал его пальцем и только потом сказал:

— У меня к вам несколько странный вопрос. Вы не рисуете?

— Нет, не дано, — ответил Роман.

— М-да, ну ладно. А брат у вас, если не ошибаюсь, художник?

— Художник.

— Тот самый, что в Янтарных Песках?..

— Тот самый.

— Ну и как вы к нему относитесь?

— По-братски, — нахмурился Роман, догадываясь, в чем дело.

— Но, надеюсь, вы не разделяете его взглядов? Символистических, разумеется... Я это имею в виду.

— Как я могу разделять то, чего нет?

Кирилл Иванович уставился на Бурчалкина, как на телевизор, в котором непонятно, что чинить.

Разглядывание было долгим, но не бесполезным. Колебания кончились. Кириллу Ивановичу вдруг пришла идея, как переложить решение на заинтересованное, очень даже заинтересованное и влиятельное лицо!

— Не разделяете? — сказал он воодушевленно. — И прекрасно. Отправляйтесь к товарищу Сипуну и возьмите интервью для газеты. Заодно и объясните ему свою непримиримость к «гладиаторщине» и «козлизму» всех мастей. Это важно, так что желаю удачи.

Выходя из кабинета, Роман повстречался с Кытиным. Тот тащился, заложив руки за спину, и что-то невнятно бормотал.

Роман вспомнил обещание Виктора лечь под поезд и покосился на него с нескрываемой злостью.

— Старик! — засуетился Кытин. — Ты только не подумай! Я выше этого... Но ты меня прости, старик! Ты меня извини, старик. У меня законченный комплекс неполноценности...

ВАЖНАЯ ЧЕПУХА

Наконец-то он был дома. В тамбурной комнате царил кавардак. На полу валялись ссохшиеся кисти, жеваные тюбики, клочки бумаги. С потолка драной авоськой свешивалась желтая паутина.

Стасик прикрыл за собою дверь и в тусклом свете кар-

манного фонаря начал мусолить пачку денег. Пальцы не слушались. Стасик спешил и сбивался со счета. Он знал, что должно быть двенадцать тысяч. А получалось то девять, то тринадцать...

— Продал? — окликнул его глухой, как бы застенный голос.

Стасик вздрогнул и обернулся. В дверях стоял грустный Оракул все в том же пальтишке с обглоданными пуговицами.

— Поймал-таки? — Аркадий Иванович изобразил пальцами рожки. — Выходит, твои бега надежнее. Только что́ мы теперь дальше делать будем?

— Почему это «мы»? Вам бы козлика в жизни не поймать!

— В том-то и дело, — Аркадий Иванович усмехнулся, запахнул пальто и сложил руки на осколках пуговиц. — Я шел бы за ним всю жизнь, надеялся и был счастлив... Отпусти козлика, отпусти, и мы снова будем его ловить.

— Идите спать. Вы совсем рехнулись.

— Отпусти, и нам станет хорошо, — пообещал Оракул. — Мы всегда будем желать и надеяться. В этом весь смысл. Желание постоянно, а удовлетворенность не имеет продолжения. Понимаешь? Надо все время чего-то хотеть.

— Хотите пятьсот рублей? Только раз и навсегда отстаньте.

— Убью я тебя, пожалуй, — сказал Оракул безразличным тоном. — Так будет лучше.

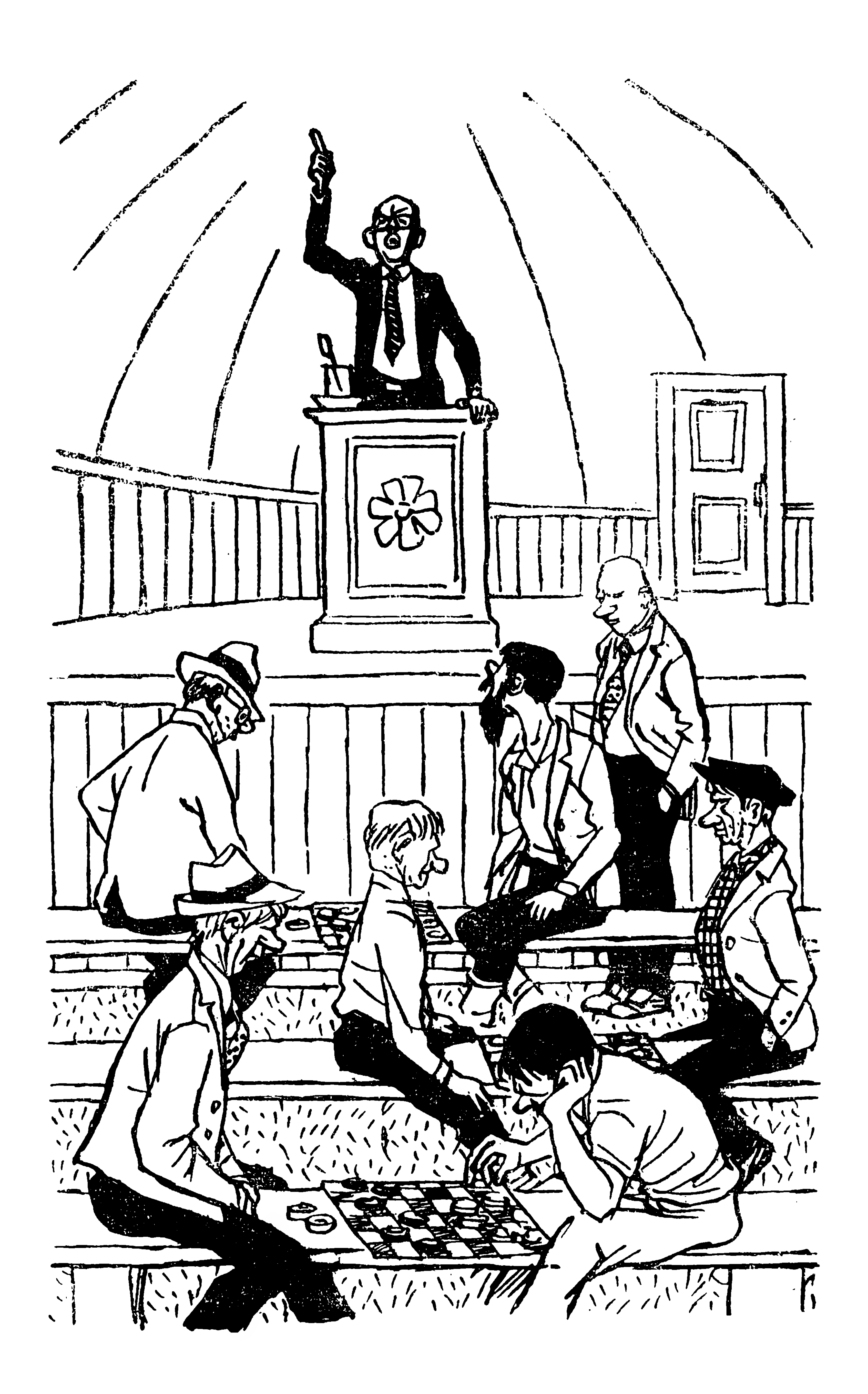
Аркадий Иванович посинел, выпустил из головы кривые, замызганные какой-то дрянью рожки и, вращая ими, будто сверлами, стал припирать Стасика к стенке.

Бурчалкин рывком отпрянул и ударился затылком о стену. Аркадий Иванович тотчас испарился. Стасик открыл глаза и убедился, что он действительно у себя дома...

— Что же, будем считать, что сон в руку, — сказал он, поднимаясь. — Пачка у меня в руках была впечатлительная. Впрочем, и насчет «желаний» Оракул, кажется, дело сказал, но не совсем точно. «Я желал бы иметь желания», — вот как надо ставить вопрос при таком пессимизме. У меня же пока запросы значительно опережают предложения, надо что-то срочно предпринимать. Шансы еще не исчерпаны.

Бурчалкин пододвинул к себе телефон, нашарил в брюках сложенную записку и набрал шесть цифр.

— Алло, если не трудно, Карину.
— Я у телефона.
— Кариночка, рад слышать!.. С чувством невероятной теплоты тебя приветствует крымский знакомый... Не узнаешь?
— Не узнаю... У меня много знакомых.
— Это Стасик. Станислав Бурчалкин... Помнишь?
— Кажется, припоминаю, — вымученно соврала Карина. — Это о вас, кажется, говорили в передаче «Смейся, дружок»?
— Не придавай этому значения, — заторопился Бурчалкин. — Нам нужно встретиться... Непременно. Да, да, прямо сейчас...
— Хорошо, — уступила после тягучей паузы Карина. — В Парке культуры... В одиннадцать у главного входа.
— Лечу! — крикнул в трубку Стасик. — Лечу со скоростью звука.
В парке было немноголюдно. Взяв Карину под руку, Стасик повел ее по влажным аллеям.
На скамейках грелись под солнцем индифферентные дневные парочки. Час поцелуев еще не наступил, и те решительно не понимали, чем заняться.
Карина и Стасик прошлись к летней эстраде, где мужчина в черном скучно грозил колонизаторам. Перед лектором сидела группа пенсионеров и сражалась в шашки. Когда тот повышал голос, они вскидывали головы и смотрели на мужчину с недоумением.
Павильоны парка пустовали. В роскошном и душном читальном зале одинокий посетитель сверял по газетной подшивке лотерейные билеты. Прохожие косились на книгочия с уважением, но сами спешили к чертову колесу. Там же находились тир, качели и силомер.
— Прекрасный парк, — сказал Бурчалкин. — Но я опоздал сюда лет на пятнадцать.
Карина не поняла.
— Где бы тут отдохнуть без молота и чертовщины? — продолжал Стасик. — Я, конечно, не против колеса, но оно навевает мне мысли о Галилее.
— Тут должны быть кафе «Медвежонок» и «Пильзенский бар», — сказала Карина. — Так говорил мне Гурий Михайлович.
Возле «Пильзеня» не было аттракционов, но тут собралось девять десятых посетителей парка. Швейцар в белой



пароходной курточке стоял у дверей и, раскинув руки шлагбаумом, регулировал очередь. Ему что-то горячо доказывал уже покончивший с колонизаторами лектор. Но швейцар его заслуг не признавал.

Очередь продвигалась на манер газетной. Минут через двадцать Стасик и Карина заняли столик на солнечной стороне. Расторопный официант мигом принес пенистые кружки, влашский салат и соломенное блюдо рогаликов.

— Помнишь «Прибой»? — спросил Стасик.

Карина кивнула утвердительно.

— Твой отъезд был для меня не лучшим событием, — упрекнул Стасик. — Я очень жалел, очень...

— Но ты сам исчез!

— Не исчез, а вынужденно отлучился. Меня лично режиссер пригласил. Ночная съемка на горе Нипетри. Понимаешь?

— Ты еще и в кино снимался?!

— Ну да, над самой пропастью, под крик совы.

— Интересно, но, должно быть, страшновато?

— Самое страшное было потом: пока я лазил по горам, у меня картину украли. Помнишь, я ее к вернисажу еще готовил?

— Так это из-за нее ты в парке дрался? «Гладиатор» — какое красивое слово! Мы о тебе потом в газетах читали.

— Чепуха! Не придавай значения. Мало ли что пишут!

— Это для тебя чепуха, потому что ты привык, а мы за вас так переживаем, так болеем!

— Прости, кто это «мы»? Нельзя ли пояснее?

— Ну, все мои знакомые, кто ценит модерн, то есть настоящее искусство. И, вообще, мы всегда за тех, кому хода не дают... Кстати, вечером у меня собирается компания, и ты не представляешь, как тебе будут рады! Золотарь, я уверена, бочку вина выставит, а Инга от зависти умрет.

— Хорошо, я согласен. Только похороны Инги не за мой счет. А бочка вина — это самарское пижонство, Кариночка.

— Подумаешь, что ему стоит! Зачем скромничать? — сказала Карина с укором.

— Ты так считаешь? Тогда позволь один нескромный

вопрос: что ты нашла в своем полярнике Робин Гуде? Может, стрельба по мухам тебя подкупила?

— Ты ошибаешься! Очень ошибаешься! — вспыхнула Карина. — Дядя Гера, то есть Герасим Федотович, мне просто друг. Да, друг! Добрый, хороший, отзывчивый... И, вообще, я не знаю, чего он ко мне привязался? Завтра же скажу, чтобы больше не звонил.

— Так он тут, в городе?!

— Это еще ничего не значит. Он совсем по другому делу приехал. Если хочешь знать, ему кооператив Гурий Михайлович обещал... Ну, этот, помнишь, что нерпу мне грозился достать? Ну, специалист по быту: ты его в парке еще видел, когда тебя дружинники...

— А, так это и есть знаменитый Белявский? Круглый, наглый, ластоногий. Прекрасно!

— Ты напрасно так говоришь «прекрасно». С ним у меня и вовсе деловые отношения, то есть никакие. Дружеские — и все!

— Хорошие у тебя друзья: пока меня крутили-вязали, кто-то из них спокойненько увел мою любимую картину... Кто именно, хотелось бы знать?

— Герасим Фе... Но он сказал, что это его собственность.

— А больше он ничего не сказал? Может, и ты его собственность? Какая неслыханная наглость! Нет, я... я просто настаиваю на очной ставке при свидетелях.

— Зачем? Я тебе и так верю, — пробовала успокоить Карина.

— Нет, нет, я тебя очень прошу, — не захотел успокаиваться Бурчалкин. — Мне дорога эта картина... И еще дороже твое мнение обо мне. Я прошу, я настаиваю...

— Ну хорошо. Только без сцен и глупостей, — уступила Карина, подумав. — Человек он для нашей компании неподходящий, но, так и быть, я его приглашу.

БЕСЕДЫ У РОЯЛЯ

Получив внезапное приглашение, дядя Гера поехал в гости с большим, как сноп, букетом цветов. Намерения у него были на этот раз самые решительные, и, не по-

лагаясь на декоративную часть, он захватил еще и плетеную корзинку с праздничным набором: вино, консервы, фрукты и торт «Отелло».

В дороге он продумал, как начнет: «Я человек серьезный», — и закончит: «У ваших ног прошу руки».

Отпустив такси, Герасим машинально перекрестился и поднялся на второй этаж. Его сердце трепыхалось так, будто он одолел девятый. Он дал себе успокоиться, распушил букет и нажал кнопку звонка.

В прихожей послышался цокот каблуков и возглас: «Это он!»

Дверь отворила Карина. По лицу любимой было видно, что возглас предназначался не Герасиму Федотовичу. Тем не менее она подставила щечку и велела отнести корзину на кухню.

К огорчению Герасима, из комнаты доносились приглушенные голоса.

— Собралась чудесная компания, — порадовала Карина. — Вы вовремя. У нас такой интересный разговор!

Разговор был настолько интересным, что Карина не стала отвлекать гостей. Она тихонько провела Герасима Федотовича в угол комнаты и посадила возле пианино.

Герасим отвык от домашних компаний и чувствовал себя неуютно, тем более что гости, сгрудившиеся под сенью тусклого торшера, говорили чудно́ и конспиративно.

— Я понимаю Хемингуэя! — вздыхала гладкая крупнотелая гостья, с трудом кутаясь в коротковатый мохеровый плед. — Это праздник, который всегда со мной... Даже когда я стираю.

— Еще бы! Охотник и выпить не дурак, — согласился борцовского вида мужчина с приплюснутыми ушами. Шея у него практически отсутствовала, и он был настолько квадратен, что глаза невольно искали на нем черную рюмочку и надпись: «Не кантовать!» — И я его понимаю... Да и он бы меня понял. Такой уж он человек.

— Извините, но я вся во власти Камю, — интимно доложила женщина в кожаном сарафане и, с опаской поглядывая на чулок, обвила ножку стула.

— Камю — это превосходно! — сказал квадратный, косясь на лимонные дольки, присыпанные пудрой.

— Да, он сродни формалистам, — молвил бородатый гость в сильно мятых брезентовых штанах, — но мне

лично гораздо ближе экзисиз... э... эксисенц... О черт, натощак не выговоришь!.. Экзюстанц... Словом, вы сами понимаете, о чем я.

— Еще бы! Экзюсти — летчик и выпить не дурак! — самодовольно выпалил квадратный. — Это я и без завтрака вам скажу.

— Экзюпери! — предложил квадратному «позавтракать» сарафан.

— А я о чем?! — вспыхнул сплюснутыми ушами квадратный. — «Принц и нищий» — моя настольная книга! — И обидчиво пфыкнул.

— Экзюстенциализм... Вот! — прорвало, как нарыв, брезентового. Он приосанился и горделиво посмотрел на Герасима Федотовича.

Тот натянуто улыбнулся. Имена иностранных летчиков наводили на него тоску, и он проникся боязливым уважением к собеседникам, из которых никто не был ему знаком.

— А знаете, как я читаю Джойса? — замогильным голосом оповестил сарафан.

— Запоем? — знающе предположил квадратный.

— Я включаю красный свет... — продолжал сарафан, делая шкиперскую затяжку сигаретой, — и ставлю пластинку Баха...

— Иоган Севастьяныча? Браво! — вскрикнул человек без шеи. — Я вчера был на шефском концерте и чуть не заплакал. Верите ли, ну просто душило!

Квадратный схватился за грудь, изображая, как именно его душило. Герасим Федотович не выдержал и закашлялся.

— Вы не согласны? — укоряюще сказала женщина в пледе.

Брезентовый заложил в зубы трубку и уставился на Герасима Федотовича в упор.

— Да нет, я ничего... — стушевался Герасим.

— Нет уж, позвольте! — заобижался плед. — Бах способен душить или не способен?

— Способен, — согласился на всякий случай Герасим Федотович.

Плед успокоился.

— Ну, а кто ваш любимый писатель? — не унимался брезентовый.

Герасиму стало не по себе. Из книг ему помнились

лишь «Проказы горничной» — сочинение графа Герштинга. Сочинение зачитали в духовной семинарии до дыр, отчего граф на портрете выглядел одноглазым.

— Ну кто именно? Скажите! — настаивал нещадно дымивший сарафан.

— М-м... Герштинг, — промямлил Герасим Федотович, не зная, прилично ли в этом сознаваться.

Гости притихли. Брезентовый покраснел, а сарафан совершенно исчез в дыму.

— Гершвин с детства выпить не дурак, — спас положение квадратный. — И насчет любви очень нервный...

— Конечно, сочная патология чем-то роднит его с ранним Набоковым, — подхватил вожжи сарафан. — Он знает женщин...

— О, этот праздник тоже всегда со мной! — загорелся Герштингом плед. — Молодой, ранний... и такое понимание вопроса!

«Вот те раз! Молодой? — озадачился Герасим Федотович, вспоминая бывалую морду графа с обвислыми моржовыми щеками. — Ему теперь за сто. Определенно!»

Когда Карина вернулась из кухни, разговор перекинулся на Янтарные Пески и художников-символистов. Гости горячились и время от времени донимали хозяйку: «Ну где? Где же он?»

— С минуты на минуту, — успокаивала Карина.

— Я прямо уж и не надеюсь! — восклицал на это плед, колыхая большой и взволнованной грудью.

Около девяти смотреть на готовый стол стало уже невмоготу.

«Какой там, к черту, Экзюпери, когда одних салатов пять штук на выбор!» — мучился человек-контейнер. Накурившийся до тошноты сарафан не спускал глаз с живительной «Тетры».

Разговор совсем было сошел на нет, когда в передней заверещал звонок.

— Он! Он! Наверняка он! — закричал голодный контейнер.

Сарафан поправил прическу. Брезентовый выронил трубку и загадил пеплом бороду. Полыхая телесным жаром, темпераментный плед побежал за Кариной в переднюю.

Через минуту в комнату был введен молодой человек с осетинской талией и уверенными снайперскими глазами.

— Знакомьтесь, Станислав Бурчалкин, — представила Карина.

Гости окружили молодого человека и поочередно стали называть себя.

— Инга Драгунская, — томно представился сарафан.

Человек-контейнер долго и уважительно баюкал протянутую ему ладонь.

— Лесипедов. Не слыхали? Нижний акробат Лесипедов... На мне раньше целая труппа держалась. И в результате — повышенное давление... Так что мы теперь с верхним партнером на эстраде конферируем. Ему тоже, знаете, не повезло: с перша упал — и тоже на эстраду.

Последним протиснулся брезентовый и назвал себя драматургом Иваном Золотарем. На удивление Герасима Федотовича, именитый гость подошел к нему сам и улыбнулся, как бы готовя для него нечто сюрпризное и праздничное.

— Не узнаете? — спросил он. — Хотя мы виделись в довольно бурной обстановке... Но мы еще с вами поговорим подробнее.

Звонкое, как гривенник, «к столу!» помешало дальнейшим объяснениям. Гости задвигали стульями. Герасим Федотович сделал попытку подсесть к Карине, но был вежливо оттеснен на другой конец стола. Взяв на себя роль тамады, конферансье-акробат ловко наполнил рюмки и проникновенно сказал:

— Первый тост — да не обидится хозяйка дома — за символизм, — квадратный сделал эстрадный реверанс в сторону Бурчалкина. — За символизм и его отважного носителя, нашего дорогого Станислава Бурчалкина.

Гости зааплодировали.

Герасим Федотович обозлился и засопел. Он был не против символизма, но ему не нравилось, что носитель этого течения присоседился к его любимой и оказывает ей повышенное внимание.

К счастью, после пятой рюмки разговоры о символизме как-то сразу отошли на задний план. Разомлевшая поклонница Хемингуэя сбросила плед и, пожирая Стасика глазами, рассказала банный анекдот. Суматошная Инга потребовала песен и танцев.

Гости переместились к пианино. Квадратный повесил пиджак на стул и заорал: «Бабье лето, ба-абье лето...»

Компания подхватила мощно и разбродисто. Фужеры на столе зазвенели, как камертон.

В компаниях поют обычно настолько плохо, что слушателей быть не должно. Иначе становится жутковато и стыдно за скверные голоса.

Герасим Федотович не пел с детства и оказался в неловком положении. Он затравленно молчал и через силу улыбался. Но улыбка получалась фальшивой, оскорбительной для поющих, и ему подавали сердитые знаки, приглашая немедленно присоединиться.

Сконфуженный Герасим Федотович вышел незаметно на кухню и вытер запотевший лоб вафельным полотенцем. Через минуту на кухню забежала Карина. В руках у нее был никелированный кофейник. Герасим Федотович ожил: медлить было нельзя.

— Карина, вы меня совсем забыли, — начал он, ухватившись за кофейник.

— Ну, ну! Будьте умником, ступайте в комнату и пойте!..

— Карина! У ваших ног прошу руки, — быстро пробормотал Герасим Федотович, припадая на левое колено.

— Вы с ума сошли! У меня такие гости, а вы, как деревня, на колени! Встаньте, а то кто-нибудь увидит.

— Я человек серьезный, — заупрямился Герасим Федотович.

— Вот и хорошо. Давайте будем друзьями. Только поднимитесь, пожалуйста.

— Я не хочу быть другом. За что? За что вы меня так? Я на руках носить хочу...

— У вас есть спички? — перебила Карина.

Не вставая с коленей, Герасим Федотович нащупал в пиджаке коробок.

Карина зажгла газ, налила кофейник водой и поставила на плиту. В коридоре раздался скрип половиц. Герасим Федотович вскочил и живо отряхнул колени.

В кухню заглянул Бурчалкин. Он неторопливо размял пальцами сигарету, прикурил от газовой плиты и только тогда спросил:

— Простите, я не помешал?

— Нет, нисколько! — вспыхнула Карина и, ошпарив Герасима Федотовича взглядом, заторопилась в комнату.

— Ах, как вы некстати! — сказал в сердцах Герасим Федотович.

— Это вам так кажется, — уверил Стасик, пуская

к потолку гибкое кольцо. — Поговорим-ка лучше как на духу.

— О чем нам разговаривать? — фыркнул Герасим Федотович.

— Ну хотя бы о трясунах или непорочном зачатии... Кстати, вам сыночек портрет прислал. — Стасик достал из кармана мятую фотокарточку Потапки. — Шалуном растет, но отца помнит.

Герасим Федотович изобразил губами немое «о» и окаменел настолько, что его можно было раздеть, унести и поставить вместо статуи в районном парке.

— Спокойно, — сказал Стасик. — Я интеллигентный человек, а не грубиян Растопырин.

— А-а-а! — простонал Герасим, все еще не в силах опомниться от удара. — Кто?.. Кто вы?

— Я же сказал — интеллигент. И, кроме того, коллекционер старых малоценных картин.

Герасим Федотович слушал с напряжением и молчал.

— К тому же я не болтлив. Прошлое — это ваше личное дело. Вы любите Карину? Прекрасно! Подарите мне «Голубого Козла», и я уйду, как говорится, в мир иной...

В ответ раздалось гневное шипение. Кофейная гуща хлынула через край и погасила конфорку. Стасик повернул ручку и замолчал.

Из комнаты в переднюю распахнулась дверь, и оттуда послышался бодрый голос конферансье-акробата: «Нет-нет, мне без сахара... Люблю, знаете, торт «Отелло»: ты его вечером ешь, а ночью он тебя душит... А-аха-ха!»

Герасим Федотович взялся за воротник и расстегнул верхнюю пуговичку.

— Хорошо, — выдавил он из себя осевшим голосом. — Но мне надо кое-куда позвонить... Дайте мне хоть день сроку.

НА КРАСНЫЙ СВЕТ

Герасим Федотович попросил отсрочку не без причин.

Когда «сожженный» «Голубой Козел» оказался вдруг в руках Лаптева и Клавдина, всплыл негаданно в Приморском парке, обозленный Сипун закатил Сапфирову це-

лый скандал. Тот, в свою очередь, дал трескучий нагоняй Белявскому, предложив консультанту по быту и реквизиту освободить в двадцать четыре минуты гостиницу.

Денег на обратную дорогу Гурию Михайловичу не дали.

— Получите, когда вернете нам «Козла», — с ядом в голосе пообещал режиссер. — Вы ведь лицо не только подлое, но и подотчетное... Ясно?

Гурий Михайлович молча собрал чемоданчик, отчаянно бросился на морвокзал и, приложив старание, мигом отыскал своих новых знакомых — Карину и Герасима. До отправления теплохода оставались считанные минуты. И если недавно Белявский только туманно сулил Герасиму прописку в культурном центре, то теперь к этому прибавилось твердое обязательство: «Устрою в кооператив при Доме композиторов». После этого Гурий Михайлович нежно вынул из Герасима Федотовича сто рублей «до пятницы» и составил ему компанию на «Адмирале Ушакове».

По дороге в Сочи была сильная боковая волна, и Гурия Михайловича до того укачало, что он с мутных глаз предложил сделать Герасима Федотовича по блату почетным железнодорожником. Герасим Федотович насторожился и даже пожалел, что дал Белявскому взаймы. Но Карина сказала: «Не волнуйся, он все может». Все так все. И, когда, сославшись на «день ангела», Гурий Михайлович попросил «в подарунок» (как он сказал) «Голубого Козла», Герасим Федотович тоже не отказал.

Когда же под нажимом Стасика дядя Гера потребовал у Гурия свою картину обратно, он согласился отдать ее с такой же легкостью, с какой прежде выпросил.

— Вы уж, пожалуйста, не забудьте, — предостерег Герасим.

— О чем речь! У Белявского слово — олово: не заржавеет ни при какой погоде, — заверил Гурий Михайлович. — Жду вас ровно в десять и ни минутой позже, — и постучал для внятности ногтем по часам.

Назавтра ровно в девять Белявский сел в «Москвич» и со спокойной совестью укатил заключать авторский договор с издательством «Сила». С этой целью он и торопился с утра пораньше на москательную базу «Восход».

Как и всегда, рабочий день начался для него с вранья. Стеснительному директору «Восхода» была обещана статья, воспевающая его административный талант. Директор зарделся. Гурий Михайлович подержал робкого моска-

тельщика за локотки, заглянул в глаза и сказал: «Нет уж, позвольте... И обязательно с фото», — после чего быстро-быстро загрузил багажник дефицитным паркетным лаком «Зебра».

С базы его путь лежал в Лужники.

Возле иссякших касс бушевали поклонники бразильской системы. Им хотелось увидеть живого Пеле. Но для этого надо было пробиться сквозь железные ворота и кордон цепких контролеров.

Гурий Михайлович презирал футбол. Но, не будучи знаком с системой бразильской, он прекрасно усвоил свою собственную. Порывшись под сиденьем, он выставил на ветровое стекло замызганную картонку «Проезд всюду», набрал скорость и распечатал ворота проворней всякого Пеле.

В кассы Гурий Михайлович проник с глубокого тыла. Отыскав потайную дверцу, он просунул туда дюжину банок с лаком, получил столько же сиреневых билетов и, распихивая радиатором поклонников Пеле, помчался в ГАИ.

— Здоровеньки булы! — закричал он, заходя в комнату, увешанную семафорными плакатами и фотографиями автомашин всмятку. — Категорически приветствую вас, товарищ Кандыба!

— А, явился «писатель», — неуважительно откликнулся капитан Кандыба. — Ну где же статья «Кандыба зорок»? Где книга «На красный свет»?

— Ай, ай! — покачал головой Гурий Михайлович. — Совсем издергали человека аварии. Ну разве так можно? И железные нервы отдыха требуют... Сходили бы вечерком на футбол, посмотрели бразильцев, а?

— Бразильцев? — сказал Кандыба, собирая воедино всю накопленную на дорогах иронию. — Неужто, и это можешь? Трепач ты, Гурий Михайлович! И кто тебя только за язык тянет?

Гурий Михайлович тяжело задышал носом и отступил на шаг, чтобы лучше было видно, как он обижен. Закончив сцену, он молча положил на стол два сиреневых билета и потащился к выходу. При этом он нервно дергал плечами, как бы силясь стряхнуть незаслуженно взваленные упреки.

— Погоди, Гурий Михайлович, — засмущался Кандыба. — Деньги-то за билеты получи.

— Отношения дороже денег! — сдавленно и в то же

время возвышенно сказал Белявский. — Я к вам всей душой, а вы?..

Кандыбе сделалось стыдно.

— А я что? Без души, что ли?

Белявский проворно вернулся и лег животом на капитанский стол.

— Знаете, что говорит моя жена? — сказал он, лучась печалью. — Ты умрешь, говорит, Гурий, в чужой приемной по чужому делу.

— Ну вот... «умрешь». Скажешь же такое!..

— И скажу. Прямо. По-мужски. Верните, товарищ Кандыба, права автолюбителям Лесипедову и Эльдовичу.

Кандыба опешил.

— Я пишу о них в книге «На красный свет», — поясняюще добавил Белявский. — И потом, они оба рабкоры, друзья газеты.

— Да, но реакция Рапопорта показа...

— Это все в прошлом, — перебил Белявский. — Они оба на антабусе... Крепко лечатся наши газетные друзья! К слову, вам не нужна путевка в Кисловодск?

Через сорок минут Гурий Михайлович прибыл на бумажный склад.

— В ножки кланяйтесь Белявскому! — закричал он, размахивая автоправами. — Без меня, Эльдович, вы имели бы только право на труд да на отдых!

С этими словами он запрятал права в карман и отдал их не раньше, чем издательству «Сила» отгрузили три тонны бумаги.

Теперь можно было заключать договор.

Изголодавшаяся по бумаге «Сила» устоять не могла. С трудом нацарапав свою фамилию и получив аванс, Гурий Михайлович Белявский, именуемый впредь автором, поехал на Стромынку.

Во дворе семиэтажного дома он нырнул в темный, пропахший сыром «Рокфор» подвал, пошарил по карманам, но спичек не нашел и ощупью, пачкаясь о стены, стал пробираться вглубь.

Наконец он нащупал в темноте ручку, потянул дверь на себя и оказался в сыром подземелье.

Комната была мрачная, узкая, с холодными панцирными стенами и террариумными окнами, выходившими во двор. Сдавалось, здесь держат не мастерскую художника, а питона или отдел кадров. Решетки на окнах уси-

ливали это впечатление и подавляли психику окончательно.

Посреди комнаты нагишом по пояс сидел рыжий всклокоченный художник Тарабукин. Его тело, казалось, было опутано медной проволокой, а из-под мышек били огненные вулканчики.

Художник макал булку в банку со шпротами и бормотал что-то. В своем подвале он одичал окончательно.

— Честь праце! — сказал Белявский развязно.

— Чего, чего?! — отозвался Тарабукин, смахивая с бороды шпротные хвосты.

— Честь труду, хвала монетам, — вольно перевел Белявский. — Ну, как заказец?

— Вон в углу, — кивнул Тарабукин. — А подлинник возле батарей.

Белявский перенес оба холста поближе к террариумному окошку, поставил рядом и, полюбовавшись, сказал:

— Вот это вещь! Ни в жизнь не отличишь... Да, Федя, твой талант заслуживает. Будет тебе мастерская, клянусь! Не хуже, чем у Сипуна, поверь мне.

— Смотри, Гурий! — пригрозил Тарабукин. — У меня терпение на исходе. Больше ждать не буду.

— И не надо! — поддержал Белявский. — Я с утра звонил Антону Пахомовичу. Все в порядке — он уже подписал.

Федя смягчился, надел рубашку и, проводив гостя до машины, помог ему погрузить холсты. Белявский поехал в магазин «Антиквар», а оттуда уже на свою нештатную службу — в газету «Художественные промыслы». Едва он показался в коридоре редакции, как на него посыпались просьбы и пожелания. Гурий Михайлович внимал и обещал прямо на ходу. Он спешил в комнату номер восемь, где закомплексованный Виктор Кытин писал ему книгу «На красный свет». За это Кытину была обещана квартира в историческом центре города с видом на Кузнецкий мост.

— Ну как? Закончил? — поинтересовался Белявский.

— Вчера ночью, — вздохнул Кытин. Он с усилием распрямил затекшую спину и поднял на Гурия Михайловича бледное, умученное лицо.

— Молодцом! — похвалил Белявский и поставил на стол банку с лаком. — Вот, держи к новоселью.

Кытин, однако, на банку не взглянул, а рукопись прижал локтями.

— Не дам, — сказал он патефонным голосом.

— Ну, ну, Витюня! Что за шутки?

— Это не шутки! Полгода вы меня кормите «завтраками». Я позеленел от вашего «Красного света». А где квартира? Все, что пока у меня есть, это Омар Хайям и комплекс...

— Но, Витюня, имей же терпение! Пойми, чудак, я могу тебе сделать хоть завтра. Но только в панельном доме...

— Ничего, я согласен в панельном.

— Да там же потолки! — Гурий Михайлович положил себе ладонь на голову и пригнулся. — Повеситься по-человечески нельзя.

— Вот и прекрасно! Я жить хочу.

— Ну смотри! Ловлю на слове.

Гурий Михайлович потеснил Кытина от телефона и, сделавшись озабоченным, набрал пять цифр наугад.

— Катюша, — сказал он интимно. — Это Гурий Михайлович. Что, Антон Пахомыч закончил совещание?.. Тогда соедини...

Кытин заелозил локтями по столу и приподнялся. Антон Пахомыч был таким большим человеком, что одно присутствие при телефонном разговоре уже носило как бы официальный характер.

— Антоша? Это Гурий, — пророкотал в трубку Белявский. — Ну что, старый бюрократ, все песочишь министров?

Кытин поперхнулся нервным кашлем.

— ...Как мама, спрашиваешь? Спасибо... А твоя? Ну и прекрасно... Слушай, помнишь, была договоренность насчет Кытина? Так он согласен в панельном... Да, да, только окна на юг...

Кытин зажал рот рукою, а другой отчаянно замахал, как бы говоря: «Пусть хоть на север!»

Но Гурий Михайлович не унимался:

— Но паркет, Антоша, непременно!.. Лифт и телефон. Само собой... Ну, будь!.. Вечером заеду.

Гурий Михайлович положил трубку и смерил онемевшего Кытина с ног до головы.

По лицу литературного издольщика плавала конфузливая улыбка. Он был счастлив и морально убит.

По дороге домой автор тридцати отвергнутых рассказов задиристо подмигивал прохожим и вальсировал в самых неподходящих местах.

А Гурий Михайлович тем временем мчался в своем «Москвиче» за грузовиком и, обгоняя его, кричал шоферу:

— Сева, потише! Эти дрова могут в порошок разлететься.

Это он вез автору водевиля «Дурнушка с родинкой» Ивану Золотарю мебель стиля «Павловский ампир».

«Ампир» был отказан Гурию Михайловичу даром (ради Христа! только грузчики и машина ваши) благородной вдовой Стейльмах, отъезжавшей к родне в Острогорск.

Когда грузовик подкатил к дому Золотаря, во двор выбежали Иван Сысоевич и его жена Анюта в байковом халате «мулла» и тапочках на босу ногу.

— Батюшки мои! За что же такое наказание? — закричала она. — У мамы мебель и то лучше. Ты только посмотри, Иван!

Иван Сысоевич влез одной ногой на колесо и посуровел. Мебель была настолько древней, что древесные жучки считали ее, наверно, исконной родиной и за ее пределы не выбирались.

— Я о чем, Иван Сысоевич, думал, — заспешил Белявский, — чтобы, значит, и овчарка, и мебель, и прочее были у вас благородных кровей. А как же! Я и деньги в управление погранвойск уже внес...

— Да вы что, мебель-то из-под обстрела везли? — встряла в разговор Анюта. — Вон она вся в дырках.

— Это ничего, — засуетился Белявский. — Где лачком пройдемся, где морилкой... А как вы думали? Это же чистой воды «ампир»! Редкость!

Иван Сысоевич все еще колебался и смотрел на вдовий «ампир» подозрительно.

«А, была не была! — решился Белявский. — Не то еще деньги обратно потребует».

— Я о чем еще думал, — сказал он, — чтобы мебель соответствовала картине. Чтобы была, значит, полная гармония...

— Какой картине? — вскинул голову Золотарь. — Не понимаю.

— Вот так да! А кто поручил мне возглавить благоустройство квартиры? То-то! Руководить — это значит предвидеть. А как же! Вот, извольте глянуть, что я вам припас. — С этими словами Белявский извлек из «Моск-

вича» «Голубого Козла» и представил Золотарю на обозрение. — Полюбуйтесь, это тот самый «Козлик», из Янтарных Песков. Не вам объяснять, сколько из-за него сейчас шуму-грому... Супермодерн! Как раз к меблировке...

Ивана Сысоевича бросило в озноб. «Козел» смотрел на него тепло, ну совсем по-человечески, будто был близким, но потерянным волей несчастного случая другом.

— Тот самый? — переспросил Золотарь. — Это замечательно! Заносите мебель в квартиру: гармония так гармония!

— Без гармонии теперь не проживешь, — подлил масла Белявский, подавая спешно знак грузчикам. — Я пока вам «Козлика» вез, у меня его чуть с руками не оторвали...

Тут он вспомнил, что и впрямь обязался вернуть сегодня картину, но подумал об этом вскользь и безрезультатно.

Куда крепче помнил уговор Герасим Федотович. Без четверти десять он прибыл к Белявскому на Калужскую и до двенадцати безуспешно утоплял кнопку звонка. Герасим Федотович ждал до вечера, обтесал башмаками всю лестницу, но явился к Бурчалкину ни с чем.

— Как, вы с пустыми руками? — встретил его Стасик. — Ну, знаете ли, Герасим, я вам не Муму! Где картина?

Герасим пояснил. Соперники сели в такси и вместе поехали на Калужскую.

Гурий Михайлович все еще не появлялся. У дверей царапал дерматин и громыхал кулаком сумасшедший от горя Кытин: на страницах вечерней газеты он дважды — с одного раза не поверилось — собственными глазами прочел, что Антон Пахомович вчера прибыл во главе делегации строителей на Кубу. Трудящиеся Гаваны тепло встретили Антона Пахомовича.

НЕ ПО ГЕГЕЛЮ

Гурий Михайлович дома не ночевал, и безутешные розыски привели Стасика в редакцию «Художественных промыслов».

Бегать по отделам ему не пришлось. На лестничной клетке между вторым и третьим этажами нервно прохаживался литиздольщик Кытин. В его глазах мерцала грубая решимость. Пиджак Кытина оттопыривался, будто он держал за пазухой котенка. Но, судя по обстановке, там было нечто более твердое и неодушевленное.

«Пресс-папье, — подумал Стасик. — А Гурий Михайлович, видать, не появлялся».

— Не приходил? — спросил он на всякий случай.

Кытин стукнул кулаком по перилам и покачал головой.

— Придется снова на Калужскую, — сказал Стасик.

— Бесполезно, он отключил звонок и не открывает, — буркнул Кытин. — Ждите лучше тут. Сегодня выплатной день.

Стасик облокотился на перила и закурил в размышлении: «А не подключить ли к поиску Романа?»

Мимо проносились воодушевленные получкой сотрудники. Вскидывая ноги в неизвестном танце, проскакал гогочущий фотокор по отделу спорта Пионов. Деньги он держал в кулаке и, пробегая, показал их зачем-то Стасику. Следом показалась мрачная деловая группа: плотный конвой кредиторов вел в бухгалтерию невозвратчика денег, а по-газетному — «нумизмата» Мадамского. У Мадамского скреблись на душе кошки. Он тяжело отшучивался и старался выглядеть молодцом.

Перед самым обедом, отряхивая на ходу синие галифе с выпоротым кантом, в кассу проследовал завхоз Сысоев. Зарплату он каждый раз получал последним, стараясь тем подчеркнуть, что служит бескорыстно.

В третьем часу на лестничной клетке показался Роман Бурчалкин.

— Наконец-то! — закричал Стасик, прыгая через ступеньку навстречу. — Вот кто мне найдет Белявского. Здравствуй, Роман!

— С приездом, — сказал Роман. — Ну, как успехи? Нашел свою картину, или вопрос стоит опять в той же плоскости: «Брат я тебе или не брат?»

— Помоги мне найти Белявского, и больше мне ничего от тебя не нужно. Понимаешь, картина была у меня почти в руках...

— Еще бы не знать! Мне приходится сейчас за тебя отдуваться.

— Да ты что! С каких дел?

— Это тебя лучше спросить. Тоже мне «гладиатор» выискался!

— Да какой, к черту, «гладиатор»! У меня и так забот хватает.

Стасик увел Романа на другой конец площадки, откуда до Кытина доносились одни обрывки фраз:

...«Козел...», «Антенна...», «В подстаканнике он, все видя — как будто с вершины».

Разговор длился довольно долго.

— А ты не врешь? — сказал под конец Роман. — Жаль, что я спешу на задание. Не проводишь?

— С радостью, но боюсь упустить Белявского.

— Тогда до вечера. Заходи ко мне... На, держи на всякий случай ключи.

Роман вышел на улицу, отыскал редакционную машину и поехал в мастерскую к Агапу Павловичу Сипуну.

Ворота Роману открыл перепачканный глиной подсобник. Глянув на удостоверение, он провел корреспондента в рабочее помещение, покрытое стеклянной парниковой крышей.

В центре зала на помостках высилась незаконченная мужская голова, по размерам годная разве что для оперы «Руслан и Людмила». Украшали ее хмурые, вспаханные крупным ломтем брови и воинственный римский нос. Подбородок торчал трамплином и свидетельствовал о нечеловеческой воле. Перед изваянием, как перед зеркалом, стоял сам Агап Павлович в пижамных брюках и кожаных тапочках.

— Здравствуйте, — сказал Роман, приблизившись к ваятелю. — Кирилл Иванович договорился с вами на...

— Ах да... м-да, м-да... Кажется, припоминаю, — Агап Павлович сложил пальцы рюмочкой и с усилием приставил к темени. — М-да, припоминаю. Пройдемте, голубчик, в кабинет. Там нам будет удобнее.

Сипун указал на боковую дверь, но повел гостя не прямо, а вдоль стены, где висели фото.

В центре фотообозрения в рамочке под стеклом помещалось пожухлое свидетельство рабфака. Возле него Агап Павлович остановился, подышал на стекло, протер платочком и сказал:

— Мы диалектику учили не по Гегелю...

— М-да, не по Гегелю, — повторил он уже в кабинете. — Ну так в чем у газеты нужда?

— Кирилл Иванович поручил мне взять у вас интервью относительно «гладиаторщины» и символистического искусства.

— В таких случаях надо добавлять «так называемого» или говорить: «искусства в кавычках», — поправил ваятель.

Он усадил Романа в свое рабочее кресло, а сам расположился напротив, рядом с мраморным бюстом Министра художественных промыслов.

— Записывайте, — сказал он, роясь пальцами в волосах и тем самым сосредоточиваясь. — Растет ли на болоте злак? Нет, никогда! А что же растет? Дурман! Съедобен ли дурман?.. Но вспаханное потанинским трезубцем болото...

Тут он вынырнул лицом из пригоршни и приподнялся над бюстом министра, изображая ладонью работу плуга.

— Да вы, смотрю, совсем не записываете? — не столько обиделся, сколько удивился он.

— Видите, в чем дело, трезубец, как символ трех морей, мне по-прежнему нравится.

— А разве это имеет значение? — нахмурился Сипун. — Мне, например, нравится бой быков. Ну и что? Не культивировать же его в Хохломе! У нашего быка совсем иные задачи!

Тут Агап Павлович неловко крякнул и уже криком добавил:

— Вы пишите! Пишите, что вам говорят... Потанин выражает свои личные, никому не нужные, да еще навеянные греками ощущения. Его трезубец погряз в болоте.

— Но почему именно в болоте? Вы уж объясните, а то читателю будет непонятно.

Сипун опешил: он давно уже привык к тому, что его слова принимают на веру, давно никому ничего не объяснял и даже забыл, как это делается.

— А где же ему еще быть, как не в болоте?! Только там дурман и гнездится! А народ, как известно, болот не любит и обходит их стороной. Труженик не возьмет трезубец на вооружение. Он его не примет.

— Но почему не примет?

— Это уже становится занятным! Да потому что потому... Труженик любит только родниковое, солнечное, монументальное. Моего «Ивана Федорова» видели? Ну так вот, это он и любит. Ему, труженику, самому хочется вровень с идеалом стать, и он незаметно для себя растет, можно сказать, окрыляется. А потанинские трезубцы разбалтывают людей, и в результате — «козлизм», в итоге — «гладиаторщина». Разве мало нам Янтарных Песков? Это же была открытая вылазка!

— А по-моему, просто шутовство, а не вылазка, — сказал Роман. — И стоит ли палить из пушек по одуванчикам? Они и так сами по себе облетят. А пальба к ним только лишнее внимание привлекает. Сами знаете: был бы пожар — зеваки найдутся.

— Шутовство? — переспросил, как бы не веря ушам, Сипун. — Одуванчики?.. Может, вы потрудитесь мне объяснить, что такое одуванчики?

— Одуванчики — лучший корм для черепах, — сказал Роман сердито. — Только они на них и набрасываются.

Щеки Агапа Павловича опустились, а подбородок выставился трамплином, точь-в-точь как у чудо-головы.

— Та-а-ак... Выходит, вы не образумились? Поздравляю вас. И редакцию поздравляю. Плохой из вас, молодой человек, ботаник! Не имею времени больше вас задерживать. Ступайте! Жизнь покажет...

— Извините за напрасное беспокойство, — сдержанно сказал Роман. Он поднялся и вышел.

В творческом помещении ваятеля царил полумрак. На макушке чудо-головы, словно жуки на яблоке, копошились подсобники. Ничего солнечного и родникового в этой картине Роман не углядел.

Дома его ждал притомившийся брат.

— Наконец-то мы явились! — сказал он, глянув на часы. — Едем в одно место, я покажу тебе то, за чем я столько гонялся. Не отказывайся. Мне, может, понадобится твоя помощь.

— Как бы мне самому скоро помощь не потребовалась.

Роман рассказал о задании Кирилла Ивановича и разговоре с Сипуном.



— Словом, коса на камень, — заключил он свой рассказ. — И камень, кажется, здоровый.

— Куда уж здоровее! — согласился Стасик. — Но все, может быть, еще поправимо. Только не упрямься, веди себя, как все люди. Ну какой дурак живет одними принципами? Болото так болото, дурман так дурман. Сказали «надо» — отвечай «есть»! И правую руку под козырек.

— Значит, делать дело одной левой?

— Это все теории, — сказал Стасик. — А на практике двумя руками только бочки перекатывают. Недостатки лучше использовать, чем их критиковать. К слову, та же практика подсказывает, что новоселы угощают гостей не только эстампами. Пойдем, братище! Уж что-что, а неприятности лучше откладывать на завтра.

ТОВАРИЩИ ЕВРОПЕЙЦЫ

Первым на новоселье к Золотарям заявился Белявский и привел с собой лохматого молодого человека. Перед этим у них состоялось бурное объяснение насчет квартиры и «Красного света». Но Белявский вывернулся, истолковав дело так: «Витюня, этот панельный дом записан, оказывается, за Союзом писателей! Так что я тебя прежде должен в союз протолкнуть... Как? Это уж мое дело».

Кытину донельзя хотелось в союз, и он поверил, тем более что Белявский вызвался немедленно отвести его к «человеку, который все решит». Этим человеком был... Иван Золотарь — автор водевиля «Дурнушка с родинкой».

— Прошу любить и жаловать, — сказал Гурий Михайлович, подталкивая незнакомца к хозяину. — Виктор Кытин... Молодой талант. Без пяти минут Кафка.

«Талант» нимало не смутился, не оробел и руку Золотарю подал замедленно, как это делают, ловя муху или передавая через весь стол полную рюмку водки.

— Ну как, будем оформлять в союз наше дарование? — продолжал Белявский, подмигивая Ивану Сысоевичу из-за спины Кытина.

— А как же! — весело поддержал драматург, вовсе не понимая, что Кытин принимает разговор всерьез.

Гости поздоровались с Анютой и проследовали в комнаты.

— Ну, что я тебе говорил! — шепнул по дороге Белявский. — Дело верное!

Кытин обхватил руку Гурия Михайловича выше локтя и пожал ее в благодарном порыве. Теперь он понял, что не зря писал за Белявского книжку «На красный свет». Игра стоила свеч!

Следом за Белявским прибыли Карина и Герасим Федотович. Дядя Гера был взмылен и нагружен, как мул, покупками. Карина была в новом платье и белых туфлях с серебряными бантиками. Вторую пару в кремовой коробке «Фарро» она держала в руках и тут же убежала в ванную, чтобы примерить еще раз.

Она любила вещи, как моль, и никогда ими не насыщалась.

Заслышав в передней голоса гостей, Гурий Михайлович покосился на «Голубого Козла» и выбежал навстречу.

— С кооперативом полный порядок, — доложил он Герасиму Федотовичу секретным голосом. Потоптался на месте и так же секретно добавил: — Только прошу вас о картине ни слова... Не омрачайте, ради бога, новоселье. Поверьте, я завтра же вам верну. Ровно в одиннадцать.

— Но позвольте! — сказал Герасим Федотович. — Я гоняюсь за вами второй день.

— Вы «гонялись», — с горечью повторил Гурий Михайлович. — А как я мотался эти дни насчет Дома композиторов!.. Так вот и умрешь в чужой приемной по чужому делу.

— Здравствуйте, Гурий, — сказала Карина, появившись из ванной уже в кремовых туфельках. — От чего вы собираетесь умирать?

— О, какое платье! — закричал Белявский и отпрянул в сторону, как бы оступился в кювет, ослепленный фарами. — Глядя на вас, Кариночка, я всякий раз умираю.

Золотарь по-городскому, стараясь не обслюнявить, приложился к руке Карины и, показав на комнаты, проговорил:

— Прошу в наш шалашик.

Гурий Михайлович забежал вперед хозяина и взял на себя роль экскурсовода.

— Мебель стиля «Павловский ампир», — пояснил он. — Вы на ножки, на ножки гляньте!

Он присел на корточки, предлагая последовать его примеру.

— Это вам не Кузьмы-топорника работа, а настоящий «Чиппиндейл».

— «Чиппиндейл» — это вещь, — сказала Карина. — Ну просто замечательно!

— «Чиппиндейл» — это вещь, — погладил он любовно буфет. — Одной меди на пушку хватит! А стекла...

Тут экскурсия была прервана диким сопением.

Белявский обернулся.

В дальнем углу вздымал грудью красный от возмущения Кытин. Впопыхах его не представили гостям. Русский Кафка совершенно окоченел от такого хамства, а теперь задышал, как простреленный баян.

— Ах да! -- воскликнул Белявский. — Я не познакомил вас с нашим писателем.

Кытин нежно ощерился и заговорил, перемежая речь покровительственной ухмылкой:

— Как странно устроен мир, — начал он, поглощая Карину взглядом. — Казалось бы, чего желать нашему Яремову? Богат, знатен, а мучается хуже Кочубея... «Завидую, — говорит, — завидую тебе, Виктор, всеми фибрами». — «Глупо и напрасно, — это я уже ему говорю. — Чего с горы не дано, в аптеке не купишь».

В передней нетерпеливо зазвонил звонок. Анюта пошла открывать двери, и в гостиную ворвалась Инга Драгунская. Нижняя губа у нее была недокрашена, а лицо пылало, как маяк.

— Товарищи! — закричала она с порога. — Вы даже не представляете, как вам ужасно повезло! Мне прислали стихи Максима Клавдина... Да, да, прямо из Янтарных Песков!

Инга порылась в сумочке, вытряхнула на стол бигуди, крем «Идеал» и достала со дна захватанный машинописный листочек.

— Вот, послушайте.

Она сложила кулачок пистолетиком и стала грозить им в пространство на манер «похитителя балерин» поэта Моторина-Соловейчика:

— Стоит он, подтянут и строг,
В шинели, как ночь, темно-синей,
Спокоен, как уличный бог,
Такой же красивый и сильный.

Взмахнет — и замедлят разгон
Трамваи и автомашины,
Стоит в «подстаканнике» он,
Все видя, как будто с вершины...

Инга выдержала паузу и обвела слушателей горящими от восторга глазами:

— Ну! Что вы на это скажете, друзья?

— Красивый и сильный?.. Вот это да! — воскликнул Белявский. — Это же прямой намек на директора издательства «Сила» Красовского... Убейте меня, если не так! Он вам любой «разгон» замедлит. Я-то знаю: без бумаги к нему не подступишься.

— Так вон оно что! Вон, оказывается, куда камушек брошен, — сказала Инга, интригуя всех страстными интонациями голоса. — Если по совести, я подразумевала кое-что другое. Но теперь вижу, что Гурий Михайлович прав... Ну конечно прав! Не зря же тут «трамваи и автомашины»: это намек на моего любимого поэта Моторина. Ведь «красивый и сильный» его три года не печатает... Вы меня понимаете?

— Не совсем, — признался Золотарь. — При чем тут трамваи? Я не понимаю.

— Что же, по-вашему, трамваи без моторов бегают? — спросила Инга насмешливо. — Надо же понимать аллегории, друг мой!

— Ну конечно! Я, например, сразу догадался, откуда ноги растут, — самодовольно проговорил Кытин. — «Подтянутые», они же «строгие», который год мои рассказы тормозят. Им, представьте себе, с их «вершины» виднее, как Кытину разгоняться!

— Тоже мне, «боги в шинелях»! — отозвалась Инга. — Здорово их наш Максим Клавдин высек!

— Да, да! Умно и хлестко, — пробормотал Золотарь, поднимаясь на звонок, чтобы встретить очередных гостей.

— Милости прошу! — пригласил он, открыв двери настежь.

На пороге стоял Стасик Бурчалкин с незнакомым Золотарю молодым человеком.

— Извините за опоздание, — сказал Стасик. — Меня задержал брат. Вот он, виновник, перед вами. Мой брат Роман.

— Очень, очень приятно, — склонился в рукопожатии драматург. — Надеюсь, вы тоже символист?

— Нет, нет, и даже не гладиатор. Вы уж извините меня.

— Ничего, бывает, — не понял скрытого подвоха Золотарь.

Появление Стасика было встречено стонущим гулом, а Белявский понял, что хорошего ему ждать не приходится, и повис у Бурчалкина на шее, пытаясь его по-родственному облобызать. Отлепив от себя Гурия Михайловича и шепнув ему: «С вами разговор особый», — Стасик жестом утихомирил восторги и предложил компании своего брата:

— Знакомьтесь, Бурчалкин-старший.

После Инги Драгунской Роману представили еле живого от смущения «Кафку».

— Мир тесен! — констатировал он с возмущением, после чего сжался, потух и старался больше не разговаривать.

Когда очередь дошла до Карины, она откинула голову и уставилась на Романа с той беззащитной истомой, от которой начинаешь говорить трубным голосом и чувствуешь, как на ногах прорастают шпоры.

Этот фортель был проделан не беспричинно, а с прямой целью уязвить Стасика, о котором ей стало кое-что известно, «очень даже известно». Но Бурчалкин-младший впился глазами в «Голубого Козла» и, казалось, не замечал ничего другого.

— Ну как вы находите? — спросил хозяин, перехватывая взгляд символиста и всхлипывая горькой, как полынь, трубкой. — Какое ваше мнение?

Гости сгрудились за спиной Стасика, и лишь Карина с вызовом отошла к зеркалу, в котором, впрочем, просматривалось все, что происходило у противоположной стены.

«Никому нельзя верить! Никому! — думала она, поправляя для видимости прическу. — Герасим Федотович прав: наглый Бурчалкин картину не рисовал. Он проме-

нял меня — а я-то, дура, вырядилась! — на эту бельмастую козлиную рожу».

«Как ее утащить?» — размышлял Бурчалкин. Его лихорадило, пульс стучал, будто минный механизм.

— Незрело, — процедил он, забывая, что рядом Карина и что он «автор». — Я, Иван Сысоевич, предложил бы вам кое-что другое... А это слишком реалистично. Убогая игра линий...

Золотарь подавился дымом и закашлялся, отыскивая взглядом Белявского.

— Но, позвольте, маэстро! — замельтешил тот. — Это, может, с вашей высокой позиции... Но для нас, простых... э... интеллектуалов, это вещь! Модерн! Украшение быта!.. И, вообще, нам пора к столу, — завершил он с наглой уверенностью. — Домашних соловьев, Иван Сысоевич, баснями не кормят.

Первую выпили за квартиру. Второй тост предложили за хозяйку дома. Но Анюта все еще хлопотала на кухне с пирогом, и потому выпили за дам вообще.

Стасик успел сделать Карине хитрый знак фужером, как бы выделяя ее из «дам вообще», но ни ответного сигнала, ни молчаливой благодарности не получил.

К третьему тосту объявились новые гости. В комнату вошла поклонница Хемингуэя, но уже без пледа, а за ней — сияющий Лесипедов в умопомрачительном пиджаке, отливавшем натуральным селедочным серебром. Шеи у Лесипедова, как известно, не было, но галстук, представьте, на нем был.

— Подвела, подвела меня «Волжонка»! — сообщил он, покручивая ключом на цепочке вокруг пальца.

— Штрафную ему! — диким голосом заорал Белявский. — Дайте-ка мне стакан из-под карандашей.

— Нет, нет, — запротестовал Лесипедов. — Я теперь и пива не пью. Машина!

Лесипедова стали уламывать. Он, видно, этого ожидал и забегал по комнате, приговаривая:

— Машина, товарищи. «Волга»!.. Совершенно новая...

Только разжевав каждому, что машина у него своя, новая, не казенная и не прокатная, он успокоился и облегченно выпил три рюмки подряд.

Гости отметили акробата аплодисментами.

Лесипедов поклонился и тут же попросил Романа поменяться с ним местами.

— Мне поближе к окну, — пояснил он. — А то во дворе мальчишки: черкнут, знаете, гвоздиком на крыле «словечко»!

Тосты возобновились. Лесипедов отлично прижился у окна и, хотя сидел к столу вполоборота и ел с тарелки на весу, нити разговора не терял. Быстро опьяневший Кытин смотрел на него недобро. И машина Лесипедова, и пиджак его, и белотелая подруга вызывали в нем нехорошую, нетоварищескую зависть, совладать с которой он не мог.

В середине вечера обозначивший себя за тамаду Белявский зажегся на проникновенный спич.

— Товарищи! — сказал он, дожевывая для членораздельности что-то. — Пора выпить за простых людей. Все мы, конечно, ценим Герштинга, Баха и кого там еще, я не знаю. Но согласитесь, что прожить в наше трудное время — это ведь тоже искусство! И какое! Ведь оно...

Однако, в чем заключается это искусство, гости не узнали.

— Мальчик! — закричал в окно Лесипедов. — Ты зачем крутишься у машины? Может, написать чего хочешь, а? Ну погоди, я тебе!

Со двора донесся мстительный смех.

— Простите, — сказал Лесипедов и, прошаркав по коленям Кытина, выбрался к дверям.

— Так вот, о чем я? — снова овладел вниманием Белявский. — Есть жизнь, которая сплошное творчество, и есть — которая сплошная борьба белковых тел...

— Прошу прощения, — перебил Лесипедов. Он извиняюще развел руками и, тыкаясь об стол, проделал маршрут обратно.

— Это хорошо, что ты вернулся, — сказал Белявский. — Я как раз хочу выпить за людей, которые умеют жить. Лесипедик, будь другом, надень на минуту пиджак.

— Зачем?

— Так надо.

Лесипедов надел.

— Так. Подтяни галстук.

Лесипедов подтянул.

— Так вот, попробуйте определить его место на земле. По одежде, так сказать, внешности и благосостоянию.

Конферансье-акробату затея понравилась. Он вытянул

голову и повертел ею, как это делают, отыскивая в театре знакомых.

— Ну кто он? — подзадорил Белявский, подавая одновременно знак молчать тем, кто про Лесипедова знал. — Ну кто? Лауреат, гомеопат или изобретатель?

— Он дурак! — выпалил окончательно обозленный и пьяный Кытин.

Лесипедов икнул и защелкнул рот капканом.

— Как нехорошо! Надо закусывать! — зашикали на Кытина гости.

— Нет, пусть! — мужественно заартачился Лесипедов. — Пусть он докажет!

— А-а-а! — отмахнулся Кытин вилкой с криво насаженным на нее балыком.

— Да хватит, хватит! — закричали гости.

— Нет, нет! — полез из оглобель Лесипедов. — Зачем же? Пусть молодой человек скажет, сколько он получает?

— А-а-а! — махнул балыком Кытин. — Ну, сто тридцать... Вам-то что?

— Вы слышали? — возликовал Лесипедов. — А у меня ставка — десять с полтиной за вечер — и двадцать пять концертов, не считая «докторских»... *

— А-а-а! — сморщился Кытин. — Главное — самоанализ.

— Да перестаньте, вы оба... оба неправы, — вмешалась Инга. — Разве для того мы сюда собрались?

— В гостях едят, а не разговаривают, — в первый раз подала голос Анюта. — Если скучно, так я пирог принесу.

Драматург заскрежетал зубами.

— Минуточку! — попросился Лесипедов. — Я сейчас вернусь.

Он метнул в окно зверский взгляд и устремился на улицу.

— Ну, хватит, товарищи! Мы отвлекаемся не по делу, — сказала Инга, вставая. — Хочу поднять свой бокал за хозяина. В одной хорьковой шубе пришел он в Москву. Он не знал Кафки, носил бурки и пил, простите, кофе «Здоровье».

---

* «Докторскими» эстрадники называют «левые» концерты, когда деньги передаются через посредство «рукопожатия».

Гости засмеялись сдержанно и необидно.

— Зато теперь он...

Инга выдержала для значительности паузу, но весь эффект был утоплен вернувшимся Лесипедовым.

— Написал! Написал, стервец! — произнес он лающим голосом.

— Э, позвольте, да по какому праву?! — не понял Лесипедова автор «Дурнушки с родинкой».

— Написал... Написал... Написал, — как испорченная пластинка, повторял Лесипедов и прихлопывал себя в такт по ребрам.

— Да кто написал? Что написал?

— Мальчик. Гвоздем, — горестно выдавил Лесипедов. Что было написано, он не сказал, а только окатил Кытина ненавидящим взглядом.

— Ну, Машенька, нам пора! — сказал он поклоннице Хемингуэя. — А то, пока тут сидишь, дверцы свинтят и колеса унесут.

Последние слова получились с двусмыслицей, и проводили квадратного быстро и холодно.

— Да, желудевое «Здоровье», — подтвердила Инга, когда хозяин вернулся из прихожей. — Но мир духовный, как сказал в частной беседе Рембо, должен соответствовать материальному. И гармония достигнута. Перед нами европеец!

Белявский бешено зааплодировал.

— Стиль «ампир» — это не мещанская прихоть, а потребность души, — продолжала Инга. — «Все мы умрем одинаково, — как говорит Моторин-Соловейчик, — но в разных постелях».

Конец речи был не понят, но одобрен.

Наступила очередь сказать что-нибудь и хозяину. Ему было трудно. Трубка начисто сожгла язык. Из-за этого он ничего не ел, а пил наравне со всеми и размяк хуже Кытина.

— Просим, просим! — не отставали гости.

— Товарищи европейцы, — начал он с видимым усилием. — Я счастлив... Благодарю, что вы, вы все не оставили меня в трудную минуту. В самом деле, кем я был «до»? А теперь я личность! Ты понимаешь, Анюта? Личность!..

Тут он забылся и хотел было раз и навсегда выяснить отношения с женой, но Белявский одернул его возгласом «ура!».

— Ведь что такое счастье? — пробился сквозь «ура» Золотарь. — Это когда гармония... А у меня она полная...

С этими словами Золотарь грузно осел в кресло и упал подбородком в салат.

Пока Иван Сысоевич говорил, Стасик безотрывно смотрел на «Голубого Козла».

«Ну погоди, «Сетон-Томпсон», испеку я тебе пирожок!» — зажглась долго крепившаяся Карина и, склонившись к Герасиму Федотовичу, прошептала какие-то слова.

Дядя Гера опрокинул на радостях фужер и задвигался на стуле сам не свой. Едва дождавшись слова «гармония», он тут же взвился над столом, будто собирался поддержать падавшую люстру.

— Товарищи, попрошу внимания! — закричал он. — У нас тоже будет гармония!

— У кого это «у вас»? — поднял голову из салатницы Золотарь.

— У нас с Кариной Зиновьевной, — с удовольствием уточнил Герасим.

— Как, вы уже! — воскликнула Инга. — Вот это новость. Поздравляю!

— Поздравляем. Примите наши!.. — загудели за столом, повинуясь человеческой одержимости подстрекать любую женитьбу, даже если на свадьбу и не пригласят.

Стасик на мгновение окаменел. Под ребрами у него что-то поднялось, а в горле стало жарко и сухо.

— Стоп, товарищи! — сказал он сиплым голосом. — Отбой! Поздравления отменяются.

Гости попритихли. Герасим Федотович подавал Стасику отчаянные знаки, но тот на это никак не реагировал.

— Это почему отменяются? — с мстительным вызовом проговорила Карина.

— Потому что этот «полярник», — Стасик почти уперся пальцем в Герасима Федотовича, — дрейфует в секте! Он поп! Его дело венчать, а не венчаться.

Бывший полярник ухватился за невесту, будто ее угоняли на чужбину.

Наступила церковная тишина.

— А-а-а! — нарушил тягостное молчание Кытин. — Главное — хоть во что-то верить...

Слова Кытина были приняты с облегчением. Никто толком не знал, модно ли в Европе христианство. Молодой талант внес ясность.

— А приход у вас большой? — Как ни в чем не бывало осведомился практичный Белявский.

— Ой, какая прелесть! — заверещала Драгунская. — Служитель культа читает Герштинга?!

— Между прочим, я крещеный, — пьяно признался Золотарь.

— Товарищи! Вы европейцы или язычники? — забеспокоился Стасик. — Что же вы, назад к Перуну?

— Не слушайте его! — перебил Герасим Федотович. — Не верьте ему, Кариночка. Он аферист, а я... я порвал с религией.

— Значит, вас по телевизору покажут, — убежденно сказала Анюта.

— Да что там покажут! Квартиру дадут, — предположила Драгунская. — Получше, чем в доме композиторов.

Стасик растерялся. Он хватанул полной грудью воздух, намереваясь выложить насчет Ванятки и Потапа, но вместо этого махнул рукой и, сказав вроде Кытина: «А-а-а!» — устремился на выход.

— Во-во, — забубнил ему вдогонку Кытин. — Главное — постичь себя. Это надежно, выгодно и бескорыстно...

НЕЛОВЛЕНЫЙ «МИЗЕР»

Всякий раз, собираясь к Сипуну на преферанс, Кирилл Иванович тщательно завязывал галстук и напевал: «Мой час настал» с грустью настоящего Каварадосси.

Кирилл Иванович был величав, но боязлив. Ему все время мнились служебные неприятности, и, любя всем сердцем почитание, он понужден был ходить в гости к влиятельному хаму, претерпевать унижения в свой единственный выходной день. Надо ли объяснять, каково ему было!

Ко всему прочему, в компании подчиненных Кирилл Иванович обычно не платил за выпивку, объясняя это нежеланием выпячивать свой материальный достаток.

Да и приглашая их на дом, походя говорил: «Прихватите что-нибудь к лимону». На Сипуна же приходилось тратиться самому и всякий раз по-разному...

В этот раз служебные горизонты грезились более или менее безоблачными, и он решил отделаться «тремя звездочками». Бесконечно стыдясь самого себя, Кирилл Иванович пробил в кассу четыре рубля двенадцать копеек, но подумал, вернулся и доплатил еще за одну «звезду».

Однако по дороге он стал терзаться, что смалодушничал и доплатил все-таки беспричинно. Но выход из положения нашелся: отказавшись от такси, Кирилл Иванович отправился к Сипуну пешком.

«Заодно и прогуляюсь, — соврал он сам себе, — а то живот скоро руками не обхватишь».

Он перекинул на руку пиджак и, обливаясь пóтом, перешел на теневую сторону.

Агап Павлович ждал партнеров и сердился.

Последнее время он стал каким-то сумеречным, раздражительным: льстивую улыбку в свой адрес вдруг принимал за ироническую, в слове «мастер своего дела» подозревал двусмысленность и даже в пустячном опоздании Кирилла Ивановича усматривал некое скрытое неуважение.

— Ты что, на волах добирался? — встретил он партнера.

— Воскресенье, Агап Павлович, — оправдался Кирилл Иванович, утирая со лба соленые ручейки. — В магазинах не протолкнешься. Повышенная покупательная способность.

— И Тимур задерживается, — все еще подозревая что-то, проговорил Сипун. — Не ценим мы чужое время.

Тимур Артурович запоздал минут на сорок.

— Тысяча и одно извинение! — закричал он с порога. — День-то какой, товарищи!.. Так и хочется жить и работать. Работать и жить! — И выложил на столик марочный коньяк «Камю».

«Эге, — подумал Кирилл Иванович, разглядывая французскую этикетку, — видать, дела у Тимура совсем плохи...»

— А вот вам от меня маленький сюрпризик, — добавил Сапфиров и протянул Сипуну коричневый пузырек.

— Что это? — поглядел пузырек на свет Агап Павлович.

— «Крохоборский женьшень» — удивительное народное средство... М-да, так вот я и говорю, чувствую прилив сил, эдакое творческое горение... — Он изобразил руками горение. — Пламенный энтузиазм, я бы даже сказал. А у меня, кхм... У меня картину зарезали, — закончил он совершенно неожиданно.

— Не может быть! — сказал Кирилл Иванович. А сам подумал: «Ага, значит, я угадал. То-то ты на «Камю» размахнулся!»

— Я и сам не верю! — воскликнул Сапфиров. — «Ваши герои, — говорят, — на ходулях ходят. А газировщица — так прямо Сенека». — «А что же, ей Локустой прикажете быть? — спрашиваю. — Слава богу, не в Риме живем! Все с заочным образованием...»

— Неужели они этого не понимают! — возмутился Кирилл Иванович, думая: «Ну и глупость сморозил Тимур».

— Это еще что! Они и в силу слова не верят, — разошелся Сапфиров. — «При чем, — говорят, — тут Ян Грустман и Иван Сусанин? Это, — говорят, — мистика! И с какой стати говорящий Иван Федоров? Мы с этим сейчас боремся. Это вредный символизм!»

— Да нет же, — поморщился Агап Павлович. — Что они, с ума посходили? Это наш положительный симво... то есть метод поэтических ассоциаций.

— Вот именно! И я прошу вас, Агап Павлович, вмешаться. А то наш симво... то есть поэтический метод им не по нутру, а западный — всегда пожалуйста!

— Я подскажу кому следует, — сказал Сипун, оборачиваясь как бы невзначай к бюсту Министра художественных промыслов.

— Не знаю, как вас и благодарить, — залебезил Тимур Артурович. — Вы всегда нас поддерживаете.

— Что там «нас»! Агап Павлович саму идею поддерживает, — с пафосом уточнил мудрый Кирилл Иванович.

— Я все поддерживаю, — согласился Сипун. — А вы? — Он значительно посмотрел на Кирилла Ивановича. — Ну кого вы мне тут прислали? Символисты для него «божьи одуванчики»!

— Не может быть! — перепугался Кирилл Иванович. — Впрочем, может, он не совсем понимает.

— Так зачем же такому поручать?

— Острое перо, знаете ли, — пробормотал Кирилл Иванович.

— Перо ценится не острием, а наклоном, — жестко проговорил Агап Павлович.

— Вот-вот, — подхватил Сапфиров, — знаем мы этих шустриков!

— Так разве я кого защищаю? — поспешил обидеться Кирилл Иванович.

— «Одуванчики»! Вы приглядитесь, куда «семена» летят!

Агап Павлович извлек из ящика письменного стола сложенный вчетверо листочек, будто в нем и были эти самые «семена», и, развернув его, зачитал:

— Стоит он, подтянут и строг,
В шинели, как ночь, темно-синей,
Спокоен, как уличный бог,
Такой же красивый и сильный...

Агап Павлович сделал настораживающую паузу, прокашлялся и продолжал:

— Взмахнет — и замедлят разгон
Трамваи и автомашины.
Стоит в «подстаканнике» он,
Все видя, как будто с вершины...

— Ну каково? Это сочиненьице того самого Клавдина из Янтарных Песков. Как вам эдакий «одуванчик» покажется?

Сапфиров и Яремов не знали, что ответить. Им обоим было ясно, что «сочиненьице» надо немедля измордовать, но они не знали, с какого боку подступиться.

— Ну, друзья мои, вы совсем уже мышей ловить разучились! — упрекнул Агап Павлович. — «Стоит он, подтянут и строг...» Ну?

— Без-безобразие! — вскрикнул для порядка Сапфиров, еще не понимая, в чем именно это безобразие заключается.

— Подтянут, да еще «строг»! Куда уж яснее! — откликнулся Кирилл Иванович, сообразив, что от него требуется. — Возмутительно!

— А «уличный бог» тебя разве не возмущает? — поддал жару Агап Павлович.

Тугой Сапфиров так и не сообразил, куда клонит Сипун.

— Вон оно, почем гребешки! — натужно ужаснулся на всякий случай он. — Доигрались! Им и бог уже не бог... Здорово!.. Только... только я не совсем понял, что означает «в подстаканнике»...

— Кирилл Иванович, растолкуй Тимуру Артуровичу, — сказал Сипун снисходительно.

— Да вы что же, меня совсем за дурака считаете?! — обиделся Сапфиров, как будто он действительно что-то понял. — Но ведь так тонко все это запрятано!

— Такая нынче «творческая» манера: крапива теперь под одуванчик маскируется, — снисходительно сказал Сапфирову Агап Павлович. — Сам подумай: «трамваи и автомашины» тоже ведь на поверхности не валяются... А вглядись с прицелом, так видно, что к чему.

— Кстати, насчет «вершины», — заторопился Сапфиров. — Не хотят ли они принизить стишком вашего «Ивана Федорова» и всю вашу строгую творческую манеру?

Агап Павлович аж крякнул.

— О чем вы спрашиваете! Всякое нападение на «подстаканники», на «вершины» есть косвенный выпад против меня. — И, обращаясь уже к Яремову, сказал: — «Одуванчики»! Видели б вы, Кирилл Иванович, эту козлиную морду в Янтарных Песках! Такое и во сне... Впрочем, это неважно. Я другого не понимаю: как такие «ботаники» могут работать в нашей газете?!

— Не могут! И в кино не должны, — в сердцах откликнулся Сапфиров.

— На днях у меня ответственная беседа, — сказал Сипун, наполняя слова затаенным смыслом. — Боюсь, вынужден буду об этом упомянуть...

«Я же сейчас за главного! — подумал Кирилл Иванович. — Ах ты, мать честная... как бы не погореть!»

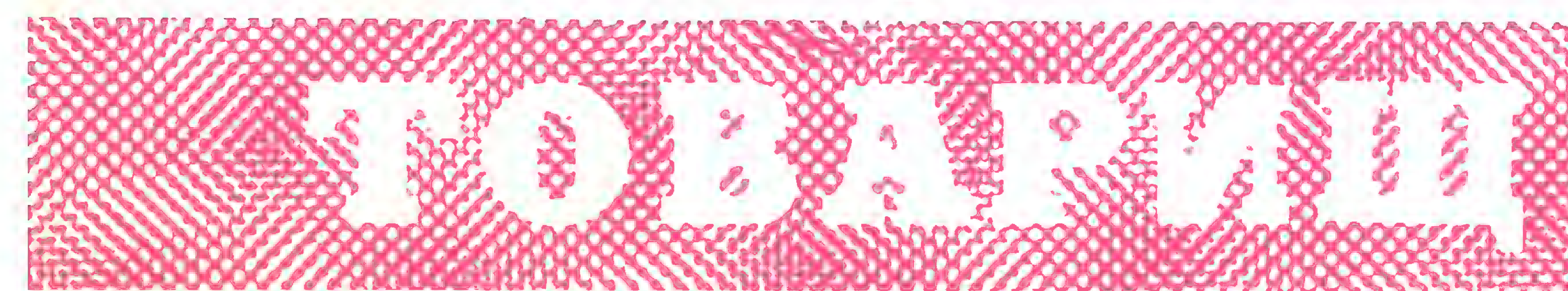
Окончание на стр. 193.

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР



СЛОВО О КАЗАХСТАНЕ

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ ● ФЕВРАЛЬ ● 1972





— ВЫ из Казахстана!

В голосе академика Кайдар ощутил неожиданный интерес. Чем он был вызван, Кайдар сразу объяснить себе не мог и поэтому, ответив утвердительно, что да, из Казахстана, стал ждать очередного вопроса экзаменатора.

— У вас есть знаменитый земляк. Вам знакомы работы Каныша Сатпаева!

Судя по интонациям в голосе академика Смирнова, Кайдар Абдрахманов, студент второго курса геологического факультета МГУ, должен был знать работы Сатпаева. Но он чувствовал бессилие, пытаясь отыскать в памяти хоть малейшее упоминание об этом.

Интерес Смирнова к студенту будто погас.

— А вам надо бы это знать, милейший. Каждому геологу полезно было бы знать...

Мог ли тогда сказать Кайдар академику Смирнову, что не о геологии мечтал он, будучи школьником, а о математике!

В школе для Кайдара почти кумиром был математик, Анатолий Иванович Найдин, который на своих уроках увлеченно повествовал о магической силе цифр и таинственности их взаимоотношений. Кайдар очень хотел стать таким же учителем математики, как Найдин.

Но — так часто бывает — случай перевернул все его жизненные планы. Когда Кайдар успешно сдал экзамены в Казахский политехнический институт, ему сделали довольно неожиданное и лестное предложение — стать студентом МГУ.

Осенью того же года в Москве произошло значительное событие. На Ленинских горах распахнулись двери нового здания университета. И в потоке студентов, которые стали первыми обживать университетский небоскреб, был и Кайдар Абдрахманов.

СТУДЕНТОМ он стал в Москве, а геологом в Казахстане.

Практика на Дальнем Востоке и в Якутии, как считает Кайдар, в счет не идет. Там он только наводил мосты к профессии, иногда убеждая себя в том, что в выборе все же не ошибся.

По-настоящему затронула его воображение природа Казахстана, близкого ему края, хорошо вроде бы известного. Но теперь привычный ландшафт гор и степей вдруг открылся Кайдару с иной стороны. Он неожиданно увидел, что окружающая его природа живет какой-то особой жизнью. И он радовался, узнавая смысл этой жизни и ее происхождение.



Но произошло это не сразу и не потому, что сухие геологические постулаты, слышанные им на лекциях, обрели плоть при встрече с природой. После того памятного разговора с академиком Смирновым Кайдар прочел все работы Сатпаева. И сейчас он сумел бы ответить на любой вопрос о нем, но никто его об этом уже не спрашивал. По логике студенческой жизни понимание работ Сатпаева должно было наступить для Кайдара где-то после четвёртого курса. Кайдар торопил события. И это не прошло бесследно. У него появился учитель, который и предопределил все будущее Кайдара. И немного позднее, когда Каныш Сатпаев приехал в Москву и встретился со студентами геологического факультета МГУ, Кайдар пребывал в восторженном состоянии и уже довольно бойко отвечал на вопросы сокурсников о работах академика из Казахстана.

И вот позади десять лет работы в Институте имени Сатпаева

Академии наук Казахской ССР. Защищена кандидатская диссертация. Подведен промежуточный итог крупной работе, за которую Кайдар Абдрахманов недавно удостоен премии Ленинского комсомола. И вот в чем ее суть.

Издавна геологов занимает вопрос, как искать полезные ископаемые, чем руководствоваться, какой методикой. Надо сказать, что романтические времена, когда уникальные месторождения открывались с помощью молотка и зубила, безвозвратно прошли. Все, что лежит на поверхности земли, учтено и описано. Значит, нужно идти вглубь. А как определить где! Ведь даже данные глобальной геофизической разведки, которая позволяет быстро исследовать обширные пространства и глубины, не всегда поддаются дешифровке.

Земная кора, доступная человеку, как известно, сложена из различных горных пород, часть которых содержит в себе полезные ископаемые. И чтобы найти их, надо знать характер горных пород, изучить механизм и способ их формирования. Магматические горные породы зарождались на большой глубине, до которой геологи, располагая даже самой мощной техникой, добраться не могут. После тщательного изучения горных пород, залегающих в Центральном Казахстане, Кайдару удалось показать, с какими их типами связаны те или иные полезные ископаемые.

Существует мнение, что горные породы, которые сейчас находятся на поверхности, в момент своего образования были такими же и на более глубоких горизонтах первоначального зарождения. Однако недавно появились серьезные сомнения в верности этого положения.

Вот что рассказывает об этом Кайдар Абдрахманов:

— В процессе исследований, которые проводились многими институтами страны, в том числе и нашим, получены новые данные, меняющие точку зрения на эту проблему, от решения которой в конечном счете зависит наше понимание условий образования земной коры и содержащихся в ней полезных ископаемых. Из земных глубин в разное время на поверхность прорывались однородные по химическому составу магматические потоки. В верхних горизонтах земли они вступали во взаимодействие с окружающей средой и, смешиваясь с осадочными толщами, создавали совершенно разные типы горных пород, то есть такие резко отличимые друг от друга горные породы, как гранит, диорит, габбро, оказывается, имели единую природу.

Подтверждение этой идеи, в частности, сделано Кайдаром на примерах Казахстана. И как оптический прицел помогает опытному стрелку стать снайпером, так и эта новая идея дает возможность лучше понять истинные процессы формирования земной коры. Вооружившись этим «оптическим прицелом», геологи станут точнее делать прогнозы поиска полезных ископаемых.

ЕСТЬ такое понятие — «рудный пояс», которое применимо только к серии крупных месторождений, расположенных в единой геологической зоне, таких, как Тургай, Алтай, Чингиз. В жизни каждого ученого тоже есть свой рудный пояс. Это время больших находок, смелых и оригинальных решений. И если человек по-настоящему увлечен, то рудный пояс протянется через всю его жизнь.

Эд. МАКСИМОВСКИЙ



Мы встретились с Багдат в Алма-Ате, когда она возвращалась домой из Москвы.

— Багдат, вы узнали о награде накануне празднования годовщины Октября!

— Да, и потому эта награда была для меня вдвойне приятной. В октябре я в составе казахстанской делегации побывала в Эстонии, там отмечалось пятидесятилетие комсомола республики. Затем в Москве, на приеме в

«МОИ ПЛАНЫ — ПЛАНЫ БРИГАДЫ»

ДВА ГОДА НАЗАД в колхозе имени Калинина Талды-Курганской области была создана комсомольско-молодежная женская тракторная бригада. В апреле 1970 года 18 девушек-механизаторов проложили в поле первые борозды...

Тогда, два года назад, многие в колхозе поговаривали: «Новую технику — девчонкам! Поломают, искалечат...» Были сомнения даже у инженера колхоза Мухпулова. Но время показало: риск был оправданным, девчата оправдали надежды руководителей.

Недавно вожаку первой в области женской тракторной бригады Багдат Ходжабаевой была присуждена премия Ленинского комсомола за достижение высоких показателей, внедрение прогрессивной технологии, передовых форм организации труда в сельскохозяйственном производстве.

ЦК ВЛКСМ, мне сообщили, что я лауреат премии Ленинского комсомола.

— Представьте себе, Багдат, что вы — оппонент человека, который придерживается довольно распространенного, увы, мнения, что профессия тракториста не для женщин.

— Илима Амамбаева из нашей бригады проработала на тракторе одиннадцать лет. Она заслуженный механизатор республики, награждена орденом Ленина. Говорите после этого, что трактором должны и могут управлять только мужчины. Что касается меня... Свою специальность менять на другую не собираюсь. Как, впрочем, и все наши девушки. Сейчас нас в бригаде тридцать шесть, пополнение пришло минувшим летом, после выпускных экзаменов в колхозной десятилетке.

— А техника! Были ведь скептики...

— В бригаде двадцать пять тракторов «Беларусь».

Те машины, которые были закреплены за бригадой в день ее создания, и сегодня выглядят так, словно только что сошли с заводского конвейера. Сегодня те самые машины, на которых наши девчата выполняли ежедневно около полутора норм, работают как часы. Поломки у нас — явление чрезвычайное. И не только потому, что женщины, как известно, народ бережливый и аккуратный. Главное — мы прекрасно чувствуем возложенную на нас ответственность.

— Багдат, пожалуйста, два слова о планах на будущее.

— Мои планы — это планы всей бригады. В минувшую осень мы собрали неплохой урожай кукурузы. Отступать с завоеванных позиций не хочется и нельзя, поэтому об урожае будущего года начали заботиться с осени.

До конца пятилетки в бригаде приобретут специальность еще 120 выпускниц. Девушки поверили в себя, поняли, что могут сделать многое. И эта вера, убежденность в своих силах позволили бригаде взять социалистическое обязательство — выполнить новую пятилетку за три с половиной года.

Багдат — студентка-заочница сельскохозяйственного института. После дня, наполненного бригадирскими заботами, ее ждут книги и конспекты... Плюс ко всему — она депутат областного Совета, член райкома комсомола.

Трудно ли! На эту тему Багдат говорить не любит. Ведь ей немногим больше двадцати. В таком возрасте человек чувствует себя способным на любые самые большие дела.

Вл. КОВАЛЕВСКИЙ

Турксиб, Карагандинский угольный бассейн, железная дорога Акмолинск — Карталы, рудники Риддера и угольные разрезы Экибастуза — адреса первых строек в Казахстане, в которых прославил себя комсомол. «Казахстанская ячейка землекопов-комсомольцев достала для рабочих юрты (ездила в аулы за ними), добилась перехода от носилок к тачкам», — говорится в одном из документов тех лет.

Развивая славные традиции комсомольского ударничества, молодежь Казахстана внесла значительный вклад в строительство Казахстанской Магнитки, рисовых инженерных систем на Кзыл-Кумском и Левобережном Кзыл-Ординском массивах, горно-химических предприятий Большого Каратау, уникального пятисоткилометрового канала Иртыш — Караганда, стальной магистрали Гурьев — Астрахань, в освоение нефтегазовых богатств Мангышлака.

Сейчас в Казахстане 18 всесоюзных и республиканских комсомольских строек. Отряды добровольцев прибывают на сооружение Лисаковского горно-обогатительного комбината, Чимкентского нефтеперерабатывающего завода, строят в Тургайской степи город юности — Аркалык.

В двадцатые годы в Казахстане популярен был лозунг: «Каждый комсомолец должен

обучить одного неграмотного!» 65 тысяч молодых активистов участвовали в ликвидации неграмотности.

Сейчас в республике на каждые 10 тысяч населения приходится в два с лишним раза больше студентов, чем в Англии, ФРГ, Италии, в восемь раз больше, чем в Индии, Пакистане, Иране и Турции.

Студенты республики мобилизуют все силы на выполнение задач, поставленных в речи Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на Всесоюзном слете студентов. Важнейшими направлениями деятельности вузовского комсомола стали борьба за глубокие и прочные знания, создание студенческих научных обществ, конструкторских бюро, шефство над подростками. Массовый характер приняло движение студенческих строительных отрядов. В минувшем году только на сельских стройках республики работал сорокатысячный отряд студентов. 12 тысяч студентов-комбайнеров готовят вузы республики к каждой новой жатве.

Подвигом Ленинского комсомола, советской молодежи называют освоение казахстанской целины. В короткий срок здесь было освоено 25 миллионов гектаров земель, дающих теперь богатейший урожай зерна.

Инициаторами соревнования за уборку урожая 1971 года в кратчайшие сроки и без потерь были комсомольские организации совхозов «Силантьевский» Кустанайской области и имени Ленина Тургайской области. Они сосредоточили внимание на высокопроизводительном использовании техники, установили повышенную комсомольскую норму. Штабы и посты «КП» держали под контролем путь зерна от комбайнов до элеваторов.

Не менее важной задачей стало для комсомольцев шефство над животноводством в республике. За последние несколько лет 50 тысяч юношей и девушек пошли работать на отгоны и фермы по комсомольским путевкам. Комсомол шефствует над сооружением крупных животноводческих комплексов на промышленной основе в Алма-Атинской и Карагандинской областях.

«Казахстанский час» — так называется движение, получившее широкий размах в республике. Его инициаторами стали бригадиры комсомольско-молодежных бригад треста «Казметаллургстрой» Вера Тушина и Николай Нургалиев, выступившие с призывом выполнять восьмичасовое задание за семь часов. Сейчас в соревнование за «Казахстанский час» включилось свыше 200 тысяч молодых производственников.

Комсомол Казахстана объявил двухлетний поход «Ручной труд — на плечи механизмов». Его цель — широкое внедрение средств малой механизации.

Полмиллиона казахских пионеров и школьников объединились в патриотических клубах «Юных друзей Советской Армии», «Юных друзей пограничников», «Юных друзей милиции», «Юных летчиков». Большой популярностью пользуется телевизионная игра «Зеленая ракета». В Семипалатинске создана «Детская воздушная академия», в Талды-Кургане — клуб «Боевые мальчишки».

Республиканская молодежная газета «Ленинская смена» стала организатором популярных спортивных турниров. Это всесоюзный футбольный конкурс «Честь флага», состязания юных скороходов на приз Лидии Скобликовой и Евгения Гришина, весенние мотокроссы. 300 тысяч читателей «Ленинской смены» участвовали в шахматном матче с экс-чемпионом мира Михаилом Талем. 500 тысяч юношей и девушек вышли на огневой рубеж во время соревнований лучших стрелков «Мерген».

500 тракторов изготовлено на Павлодарском тракторном заводе из металлолома, собранного пионерами Казахстана.





На северо-востоке Казахстана форсированными темпами сооружается уникальный 500-километровый канал Иртыш — Караганда. Стройка объявлена Всесоюзной ударной комсомольской.

Голубая трасса проходит по пустынным районам Централь-



На снимках: слева — планировка откосов канала; инженер-геодезист Нина Олина; справа — Валентин Моров, один из первых строителей трассы; насосная станция № 14 в действии.







ного Казахстана, испокон веков считавшимся непригодными для сельскохозяйственного освоения.

Канал Иртыш—Караганда, полностью решая проблему водоснабжения крупнейших индустриальных центров республики — Экибастуза, Темиртау, Караганды и в недалеком будущем Джезказгана, окажет решающее влияние на развитие орошаемого земледелия в обширнейших районах, территории которых измеряются сотнями тысяч квадратных километров.

Вдоль трассы канала возникнут богатейшие оазисы. Напоенные влагой плодородные земли будут в изобилии производить продукты питания для строителей и горняков, металлургов и химиков — тружеников городов и рабочих поселков, поднявшихся в пустынных степях за годы Советской власти.



В городе металлургов Темиртау по инициативе комсомольцев проводятся плавки дружбы, которые стали традиционными. В одной из таких плавок принимали участие подручный сталевара Коммунарского металлургического завода, что на Луганщине, Виктор Горобец, подручный сталевара Новотульского металлургического завода Борис Карпов и многие другие друзья из разных республик страны.

В начале минувшего, 1971 года в адрес заслуженного металлурга Украинской ССР сталевара «Запорожстали» Егора Проскурина пришло письмо от почетного металлурга СССР, Героя Социалистического Труда, старшего конверторщика Казахстанской Магнитки Алтынбека Дарибаева. Он обратился к своему украинскому коллеге с предложением заключить договор на социалистическое соревнование возглавляемых ими бригад.

Спустя некоторое время казахстанский металлург приехал в гости к украинским сталеплавильщикам. Запорожцы тепло встретили друга из Казахстана. В честь этой встречи на комсомольско-молодежной печи № 1 имени 50-летия ВЛКСМ, на которой работает бригада Егора Проскурина, была сварена плавка дружбы. В ней принял участие Алтынбек Дарибаев.

Скоростная плавка была сварена за 1 час 40 минут.

На снимках. Идет плавка дружбы. Встреча друзей.



КРАЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕК

В КАЗАХСКОЙ ССР УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА 57—60 ПРОЦЕНТОВ, ОБЕСПЕЧИВ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ...

ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО КАПЧАГАЙСКОЙ ГЭС И ЕРМАКОВСКОЙ ГРЭС.

Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР

Наш корреспондент Б. МАРЫШЕВ беседует с министром энергетики и электрификации Казахской ССР Т. И. БУТУРОВЫМ.

— Современный материальный мир, его цивилизация держатся на трех китах: электрической энергии, топливе, металле. Они — хлеб всей промышленности и ее прочный фундамент. Без них немыслимо существование ни одной отрасли народного хозяйства.

Скажите, Тимофей Иванович, как выглядит сегодня, образно говоря, электрический «кит» Казахстана?

— Как и всякий человек, любящий свою профессию, я не представляю современной жизни республики без электричества. Не открою никакого секрета, сказав, что без него сейчас, как без воздуха, не может жить человек и тем более промышленные предприятия. И когда заходит разговор об электричестве, мне всегда приходит на память декабрь 1920 года. Я не был на VIII Всероссийском съезде Советов, на котором выступал Владимир Ильич, но ясно представляю себе зал Большого театра: холодно, сумрачно и как-то тоскливо в полутемном зале, где собрались измотанные гражданской войной, разру-



хой и голодом делегаты... Но все это проходит, когда начинает говорить Ленин. Потом вспыхивает на сцене карта страны с отмеченными на ней еще не существующими электростанциями... План ГОЭЛРО.

В то время лишь в шести городах Казахстана имелись небольшие электростанции. Общая их мощность не превышала двух с половиной тысяч киловатт. Подавляющее большинство населения даже не знало о существовании электроэнергии и ее применении.

Планом ГОЭЛРО предусматривалось в первую очередь развитие рудного Алтая. «Электрифицируя Алтай, — отмечалось в плане, — мы вдохнем громадные силы во всю промышленность». По этому плану была построена Хариузовская и затем Ульбинская электростанции, которые эффективно работают до настоящего времени.

За годы Советской власти Казахстан превращен в республику с высокоразвитой электрифицированной промышленностью и сельским хозяйством. Для обеспечения энергией народного хозяйства и населения республики построены и работают электростанции общей мощностью более 9 миллионов киловатт. По производству электроэнергии Казахстан уже 15 лет занимает третье место в стране (после РСФСР и Украины).

На полуострове Мангышлак действует первая атомная электростанция, призванная решить вопрос электрификации и снабжения пресной водой этого осваиваемого богатого района.

Электростанции Центрального, Восточного и Северного Казахстана объединены в единую энергосистему. Южноказахстанская энергосистема работает параллельно с Алма-атинской и Объединенной энергосистемой Средней Азии. Западноказахстанская и Кустанайская связаны линиями передачи с Объединенной энергосистемой Урала.

Уровень централизации производства электроэнергии в 1971 году доведен до 94 процентов. Электростанции и подстанции стали высокомеханизированными и автоматизированными предприятиями. Уровень механизации погрузочно-разгрузочных ра-

бот на электростанциях достиг 97 процентов. Ведутся работы по созданию и внедрению автоматизированных систем управления.

«Правление товарищества настоящим сообщает, что 14-го сего ноября состоится открытие электрического освещения в селении Кашино, на каковое... покорнейше просим прибыть, разделить ту радость, которую мы ощущаем при виде электрического освещения в крестьянских халупах, о котором при власти царей крестьяне не смели думать...» — так 50 лет назад писали Владимиру Ильичу Ленину крестьяне подмосковного села, приглашая его на торжества по случаю открытия электростанции. Что бы, на ваш взгляд, написали сегодня Ленину жители казахстанского села?

— Не знаю, что конкретно бы они написали, но думаю, что это выглядело бы примерно так. В эти дни, когда наша страна успешно начала второй год девятой пятилетки, прими, Ильич, наш рапорт:

«Год 1971-й. Выработка электроэнергии в Казахстане достигла 37 миллиардов киловатт-часов. Сегодня только сельское хозяйство республики потребляет электроэнергии почти в два раза больше, чем выработали все электростанции России в 1913 году. Труд колхозника механизирован благодаря внедрению электроэнергии в сельскохозяйственное производство. Неузнаваемо изменились жизнь, труд и отдых сельских жителей. Каждый вечер в жилых домах, клубах, домах культуры зажигается свет, вспыхивают экраны телевизоров...»

— Всего два миллиарда киловатт-часов электрической энергии выработала царская Россия в период своего наивысшего экономического расцвета — в 1913 году. Такое количество электроэнергии производится сейчас в Казахстане за 20 дней. Какую роль в достижении этих высоких показателей сыграло освоение различных источников энергии, которыми располагает республика?

— Сегодня высокие показатели энергетики Казахстана получены за счет ввода новых, современных крупных агрегатов, применения комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, за счет модернизации и реконструкции старых электростанций, превращения конденсационных электростанций в теплофикационные, внедрения механизации и автоматизации производственных процессов.

Казахстан — край богатейших месторождений энергетических углей. Только на базе уникального Экибастузского месторождения будет построен энергетический комплекс мощностью 20 миллионов киловатт. На очереди Тургайский угольный бассейн, который даст питание электростанциям общей мощностью 12 миллионов киловатт.

Использование энергетических ресурсов рек Казахстана, главным образом Иртыша и горных рек Заилийского Алатау, только начато. В ближайшем будущем будет построено несколько ГЭС общей мощностью примерно 5 миллионов киловатт.

— Расскажите об участии молодежи в строительстве казахстанских электростанций.

— Почет и уважение на строительстве Капчагайского гидроузла завоевали молодежные бригады монтажников Бориса Антонюка, плотников Александра Фанько, бетонщиков Николая Шерстенева, комплексные бригады Владимира Мельникова и Анатолия Клепикова. Более чем в два раза сократили сроки монтажа четырех гидрогенераторов ГЭС бригады «Спецгидроэнергомонтажа», руководимые Вячеславом Демиденко, Петром Карнауховым, Григорием Дурандиным.

Большой вклад в дело строительства и ввода в действие четвертого энергоблока Ермаковской ГРЭС внесли комсомольско - молодежные бригады монтажников Аранбаева и Шлиперта. Уже не первый год значительно перевыполняют сменные производственные задания, показывают высокое качество работ бригады слесарей-монтажников Исаева и Семенухи на Усть-Каменогорском участке «Средазэнергомонтажа».

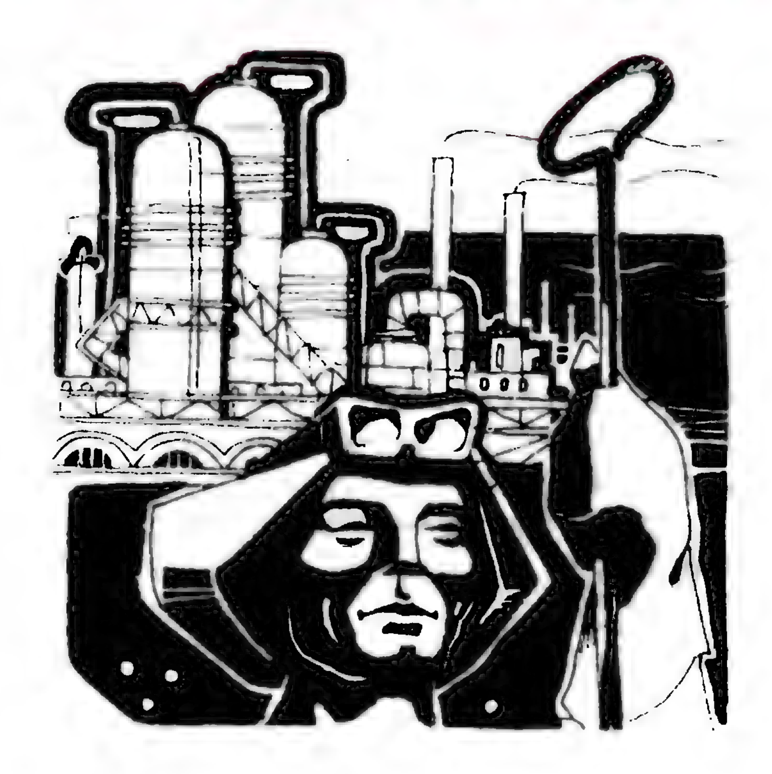
Особо хотелось бы отметить большой творческий вклад молодежи в технический прогресс энергетики республики. Только за последние два года в смотре технического творчества молодежи приняло участие около полутора тысяч молодых энергетиков, по инициативе которых было внедрено более полутора тысяч усовершенствований с годовым экономическим эффектом около 500 тысяч рублей.

— В 2027 году наши потомки вынут из плотины Днепровской гидроэлектростанции мемориальную доску, замурованную в первый бетон. На ней выбиты такие строки: «1927 года 8 ноября, в день десятилетия Октябрьской революции, во исполнение заветов вождя мирового пролетариата В. И. Ленина, усилиями трудящихся масс первого в мире рабочего государства Союза Советских Социалистических Республик заложена правительствами СССР и УССР Днепровская гидростанция мощностью в 650 тысяч лошадиных сил — могучий рычаг социалистического строительства СССР». Каким представляется вам Казахстан электрический в 2027 году?

— К 2027 году общая потребность в электроэнергии народного хозяйства республики перешагнет рубеж 400 миллиардов киловатт-часов в год, что потребует довести мощность электростанций до 80 миллионов киловатт.

К этому времени на территории Казахстана получат существенное развитие атомные электростанции — их общая мощность составит миллионы киловатт. На территории республики будет действовать Объединенная энергосистема Казахстана, входящая в состав Единой объединенной энергосистемы Советского Союза.

Многие из электростанций с мелкими агрегатами будут демонтированы, а в строй действующих вступят турбоагрегаты мощностью 500—800—1200 тысяч киловатт. Комплексы электрических станций будут связаны между собой линиями передачи напряжением 500 и 1500 тысяч вольт. Управление энергетикой Казахстана будет осуществляться с единого центра, оснащенного средствами автоматизированной системы управления.



По объему совокупного общественного продукта Казахстан занимает сегодня в стране одно из ведущих мест. За годы Советской власти в республике сложился разносторонне развитый промышленный комплекс. Созданы новые крупные промышленные узлы. Это Восточно-Казахстанский узел — центр цветной и электроэнергетической промышленности; Карагандинский, дающий основную долю топлива республики, а также продукцию черной металлургии и химической индустрии; Актюбинский, специализирующийся на выпуске продукции металлургической и химической промышленности; Южно-Казахстанский — на легкой, пищевой и химической промышленности. В последние годы сформировались и набирают все более высокие темпы развития Павлодарско-Экибастузский (машиностроение, энергетика, топливная и алюминиевая промышленность) и Кустанайский (черная металлургия) индустриальные узлы.

За годы восьмой пятилетки общий объем промышленного производства в республике возрос на 56 процентов, основные производственные фонды увеличились в 1,7 раза. В целом за пять лет произведено столько же промышленной продукции, сколько ее было выпущено за предшествующее десятилетие. В народное хозяйство республики вложено 24 миллиарда рублей. История Казахстана еще не знала таких капитальных вложений и столь бурного роста экономики.

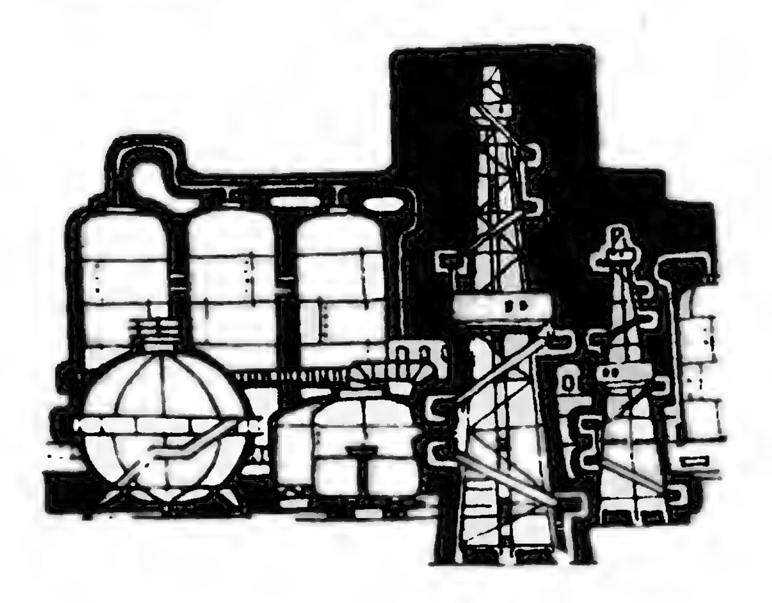
Сегодняшний Казахстан — огромная строительная площадка. В Чимкенте заканчивается строительство одного из крупнейших в мире завода фосфорных солей. Рядом, в горах Алатау, возводятся корпуса химического комбината, в Павлодаре, на берегу Иртыша, идет строительство тракторного завода — стройка объявлена Всесоюзной ударно-комсомольской. Первые павлодарские машины с маркой «Казахстанец» уже проходят проверку на целинных полях республики.

К настоящему времени в химической таблице Д. И. Менделеева почти не осталось элементов, которые не были бы найдены в недрах Казахстана. Цветные и черные металлы, уголь, газ, горючие сланцы, золото, серебро, металлы, применяемые в авиации и для создания космических кораблей, редкие и рассеянные элементы, сырье для химической промышленности — вот далеко не полный перечень полезных ископаемых, добываемых из недр казахской земли.



В 1961 году на месторождении Жетыбай ударил первый фонтан мангышлакской нефти. Сегодня полуостров Мангышлак каждые сутки дает Родине более 7 тысяч тонн «чер-

ного золота». Только Жетыбай и Узень могут давать стране столько нефти, сколько ее дает сейчас весь Азербайджан.



С каждым годом крепнут и расширяются связи республики с зарубежными странами. Сейчас в списке стран-импортеров промышленной продукции Казахстана значится 70 стран. В их числе Англия, США, Франция, Финляндия, Португалия, Япония, Голландия, ряд стран Африки. За последние 10—12 лет объем промышленной продукции, поставляемой Казахстаном на мировой рынок, увеличился более чем в два раза.

Казахстанская степь, по которой раньше пролегали лишь караванные тропы, покрыта ныне сетью стальных магистра-



лей. В 1913 году протяженность железных дорог, проходивших по территории степного края, составляла около 2 тысяч километров. В настоящее время общая длина стальных магистралей республики превысила 13 тысяч километров. Это десятая часть всех железных дорог СССР.

В 1930 году авиатранспортом республики было перевезено 835 пассажиров. В настоящее время воздушный транспорт ежегодно перевозит примерно 4 миллиона человек. Протяженность воздушных трасс на территории Казахстана превышает 75 тысяч километров. Каждый год открываются все новые авиалинии местного и союзного значения.

За истекшее пятилетие республика дала стране 103 миллиона тонн зерна.



По валовой продукции зерна Казахстан прочно занимает третье место в стране после РСФСР и Украины, а по производству товарного зерна и заготовкам хлеба — второе место, уступая лишь Российской Федерации.

Сегодня на полях Казахстана возделываются пшеница и рис, кукуруза и просо, овощи и бахчевые культуры, картофель и сахарная свекла, сады и виноградники, производится разнообразная животноводческая продукция.

На долю Казахской ССР приходится больше половины всех целинных и залежных земель страны, включенных после 1954 года в хозяйственный оборот. На целинных землях республики создано свыше 500 крупных совхозов, многие из которых превратились в образцовые сельскохозяйственные предприятия.

Казахстан — крупнейшая животноводческая база нашей страны. По поголовью овец республика занимает второе место в стране, а по количеству крупного рогатого скота и лошадей — третье место после РСФСР и Украины. По количеству скота, приходящегося на одного человека, Казахстан намного опередил все братские республики Советского Союза.

С каждым годом растет техническая оснащенность колхозов и совхозов республики. Только за 1950—1968 годы количество тракторов в хозяйствах Казахстана увеличилось более чем в 6 раз, зерноуборочных комбайнов — в 5,6 раза, грузовых автомобилей — почти в 7 раз.

Увеличение общественного производства послужило прочным фундаментом для неуклонного улучшения материального благосостояния народа. Это находит свое выражение в динамике роста национального дохода, который в республике за восьмую пятилетку увеличился более чем в 1,6 раза. За это время среднемесячная заработная плата рабочих и служащих возросла на одну четверть, а выплаты и льготы населению из общественных фондов потребления в расчете на каждого жителя республики увеличились более чем на 40 процентов.

Как и во всей нашей стране, в Казахстане, особенно за последнее десятилетие, огромного размаха достигло жилищное строительство, на которое государство щедро отпускает средства. В течение минувшей пятилетки в республике вступило в строй более 2 миллионов квадратных метров жилья. По количеству строящихся квартир на каждую тысячу жителей Казахстан, где полвека назад жилищем кочевника была ветхая юрта, ныне занимает первое место в мире.



В Казахстане функционирует свыше 2 тысяч больниц, поликлиник, медпунктов, в которых трудится почти 90 тысяч врачей и средних медицинских работников. В среднем на 530 жителей приходится 1 врач и 3—4 средних медицинских работника.

По переписи 1897 года удельный вес грамотного населения в Казахстане составлял лишь 8,1 процента, а среди казахского — еще ниже. Едва отгремели раскаты гражданской войны, молодая Казахская республика поднялась в великий поход за грамотность, за социалистическую культуру. Во всех концах обширного края, в городах и далеких



степных аулах, открывались школы.

На 1 января 1937 года начальным обучением в Казахстане было охвачено 96 процентов детей школьного возраста. В 50-х годах была успешно решена задача введения обязательного семилетнего обучения. Ныне повсеместно вводится всеобщее среднее образование.

Первым высшим учебным заведением в Казахстане был Казахский государственный педагогический институт, открытый в Алма-Ате в 1928 го-

ду. Первыми его преподавателями были русские ученые.

Созданная в 1946 году Академия наук Казахской ССР объединяет ныне 23 научно-исследовательских института. В республике насчитывается научных работников в два с лишним раза больше, чем их было в 1914 году во всей царской России.

В городах, поселках, аулах и селах Казахстана создана широкая сеть культурно-просветительных учреждений. Сейчас в республике более 15 тысяч библиотек, книжный фонд которых превышает 80 миллионов экземпляров, примерно 7 тысяч клубов и дворцов культуры.

В советское время в республике расцвели все виды и жанры изобразительного искусства: бытовая и историческая живопись, портрет, пейзаж, скульптура, книжная иллюстрация и плакат. Лучшие произведения живописи и скульптуры казахских художников экспонируются и хранятся в Казахской художественной галерее.

В республике создана прочная база для дальнейшего формирования профессиональных кадров музыкального и театрального искусства. Институт искусств, созданный в 1944 году, готовит музыкантов, вокалистов, режиссеров, артистов и музыковедов. Кадры средней квалификации готовят Алма-атинское хореографическое училище и музыкальные училища, созданные во многих областях республики. Ныне в Казахстане более 140 музыкальных училищ и школ-семилеток.



Казахские писатели создали немало значительных произведений, полюбившихся советскому читателю. Среди них особое место занимает роман-эпопея М. О. Ауэзова «Абай», удостоенный Ленинской премии, переведенный на многие языки народов мира.

Академия наук Казахской ССР.

О ТОМ, что Ажихан Ескараев в Чимкенте и вернется только завтра, в лучшем случае — сегодня вечером, мне сообщил управляющий вторым отделением совхоза имени XX партсъезда Кировского района Куралбай Мырзамуратов. От него я услышал и рассказ об этом человеке, получившем свою первую трудовую награду на сборе хлопка, когда шел ему... девятый год. А через двадцать лет вся страна узнала имя водителя хлопкоуборочной машины Ажихана Ескараева: Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Через пять лет, в июне 1970 года, Ажихана, ставшего к тому времени вожаком хлопководческой бригады, избрали депутатом Верховного Совета СССР. Осенью того же года коммунист Ажихан Ескараев подтвердил свою трудовую славу невиданным для Голодной степи урожаем: 46 центнеров хлопка на круг, причем себестоимость центнера сырца была снижена против плановой более чем на десять рублей.

АЖИХАН,

ИСМАНХАН, младший брат, уговаривал Ажихана остаться в Чимкенте еще и на воскресенье. Исманхан окончил в Москве химико-технологический институт и работал на химфармзаводе.

— Останься, Ажике, не обижай, — просил он.

— Ты что, забыл, что значит для хлопкороба лето?

В воскресенье рано утром Ажихан был уже на совхозном аэродроме — так называли площадку, приспособленную для взлета и посадки легких машин. У самолета, разложив на траве карту, сидели пилот Азат Ашуров и директор совхоза Жолдысбай Ералиев. Директор поднялся навстречу бригадиру.

— Вернулся?

— Нужен самолет, — коротко сказал Ажихан. — Сегодня нужен.

— А другим не нужен? Исабекову не нужен? Бекбаеву не нужен?

— Я видел их поля. На моем хлопке тли больше. Это значит...

— Знаю. И я видел... — Директор усмехнулся: — Именно с твоего поля и решил сегодня начать. Собирай парней на погрузку химикатов. Только бегом, Ажике.

Поле, над которым кружил самолет Ашурова, еще три года

СЫН ЕСКАРАЯ

назад считалось в совхозе «трудным». Сеять на нем сеяли, но больше 17 центнеров с гектара не получали. Старые хлопкоробы качали головой: «Никудышная земля, на такой хорошего урожая не вырастишь». И вот это-то поле осенью 1967 года отдали Ескараеву: прославленного водителя «голубых кораблей» назначили вожаком вновь созданной комплексной механизированной бригады.

— Поле, конечно, запущенное, — сказал тогда секретарь парткома Саттар Муратов, — но земля неплохая. Ухаживать за ней придется. Мы надеемся на тебя. Технику, какую надо, дадим. А опыта тебе не занимать. Сколько ты, лет двадцать работаешь?

— Двадцать три, — уточнил Ажихан и подумал: «Отказаться?» Нет, не в его это было характере. — Ладно, согласен.

Он вышел на улицу, отвязал коня, легко поднялся в седло и бросил скакуна в галоп. Немного успокоившись, натянул поводья, перевел коня на ровный, спокойный шаг.

Да, двадцать три года... Начинал он в последнее военное лето. Мальчонкой культивировал поле, а осенью собирал хлопок. Колхозное поле полыхало белым пламенем. И по этому пламени медленно шел Ажихан. Руки его мелькали так быстро, что за ними трудно было уследить. Время от времени мальчик останавливался, но отдых длился не больше минуты. А поздно вечером спешил домой, где ждали его больная мать и братишки. Они ждали хлеба, который им приносил Ажихан в холщовом мешочке — свой паек и награду за высокие сборы сырца...

Наутро по всему отделению пошли разговоры: чудит Ажихан! Пашет чуть ли не на полметра, а бригада ведет под дорогой какой-то подкоп. Приехал управляющий и спросил, в чем дело. Ажихан пояснил: у этого поля во время полива вся дорога скрывается под водой, и бригада решила проложить под ней трубу до канала, чтобы сбрасывать лишнюю воду, — сохранится дорога, повысится качество полива.

Управляющий ничего не сказал, молча пожал руку бригадиру и укатил в соседнюю бригаду.

Весной после предпосевных работ земля стала мягче пуха. Приходили старые хлеборобы, дивились планировке, мяли в ладонях землю, одобрительно качали головой: «Хорошо, Ажихан!»

А Ажихан не уставал повторять на бригадных собраниях:

— Помните: наш успех — в высоком качестве работ. Машины и качество, качество и машины — вот наши союзники.

И вот наступил день, когда почти во всех бригадах приступили к уборке. Но Ажихан медлил: раскрылось мало коробочек, сбор будет низким. Даже поссорился с директором. Зато когда, наконец, он и жена Уданай сели за штурвалы уборочных комбайнов, результат получился неожиданным: по 28 центнеров на круг. Это была победа, «никудышная земля» откликнулась на заботу людей одиннадцатицентнеровой прибавкой к урожаю. А через два года поле уродило на каждом гектаре по 46 центнеров!

САМОЛЕТ, сделав разворот, пошел на посадку. Сейчас он загрузится и снова — в который раз! — уйдет в голубое небо.

«НАПРАВИТЬ НА УЧЕБУ...»

...ЖАРКАЯ уборочная пора в Бидаикском зерносовхозе. От поля на элеватор, к силосным дворам и обратно непрерывной колонной тянутся грузовики, перевозящие хлеб и корм для скота. Много забот в это время и у молодого диспетчера совхозного автопарка Сабили Смогуловой. Надо вовремя выпустить грузовики на линию, принять их, организовать профилактический осмотр. В дни уборки каждая машина на счету, простоев не должно быть!

После окончания школы-интерната Сабиля хотела, как и многие другие девушки, идти работать в поле, ее всегда тянуло к земле, к зерну. Мечтала стать агрономом. Но райком комсомола направил ее в автопарк. Она стала диспетчером автохозяйства.

Нелегкая это работа для восемнадцатилетней девушки! Приходилось делать все: мирить поссорившихся водителей в очереди для отметки путевого листа, беспощадно бороться с нарушителями трудовой дисциплины.

«Почему у тебя в кузове зерно осталось?» — спрашивала Сабиля. «Понимаешь, дорогая, люди перешли на разгрузку других машин, у элеватора образовался небольшой затор, а я в кузов не посмотрел!» — «В следующий раз, если не будешь смотреть, не отмечу путевой лист. Поедешь опять на элеватор досдавать зерно, а горючее и стоимость пробега машины вычту».

А в свободное от работы в парке время Сабиля все-таки уходила в поле. Нет, она не оставила мечту стать агрономом...

...Прошло три года, и общее собрание совхоза постановило: «Выдать путевку секретарю комитета комсомола Сабиле Смогуловой и направить ее на учебу».

И вот Сабиля студентка сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

ЛЮБОВЬ к животноводству привела в Тимирязевку и Конысбая Кузенбаева. Правда, его путь в академию был несколько иным. Еще с дошкольного возраста Конысбаю пришлось ухаживать за домашними животными. В его семье всегда держали лошадей и овец. Вставая на рассвете, мальчик поил животных и выгонял их в степь. Часами он мог смотреть на пастухов, перегоняющих отары с одного пастбища на дру-

---

— Теперь порядок, — спокойно сказал Ажихан.

Мы сидели с ним на берегу канала. Плеснула вода, на нас, смешно шевеля мокрыми усами, уставилась глупая морда ондатры. Развернувшись, толчками, она поплыла против течения.

Я молча слушал Ажихана.

— Еще до того, как меня поставили бригадиром, я много думал о путях развития нашего хлопководства. Мне кажется, ключ к успеху — в технике. Мы в бригаде ручной сбор на поле



Сабиля Смогулова

гое, слушать крики погонщиков верблюдов. Еще мальчонкой он решил: вырастет большим, станет чабаном, будет перегонять отары овец, и ни одну овцу не даст в обиду,

не ведем. Невелика его доля и в других бригадах. Как тяжело он ложится на себестоимость выращенного хлопка!

Ажихан поднял с земли пиджак и повернулся ко мне:

— Извини, мне надо Байполая на поливе сменить. Замучился он там с поливными трубами. Завтра встретимся.

Он перебежал по шатким мосткам через канал, обернулся, прощально и весело махнул мне рукой.

О. ПОСТНИКОВ



Конысбай Кузенбаев.

и ни одна из них не погибнет.

Конысбай понимал: чтобы ухаживать за животными, нужно многое знать, многому научиться. В школе он не только отлично учился, но и помогал взрослым на ферме.

Служа в рядах Советской Армии, Конысбай готовился к вступительным экзаменам в Тимирязевку.

И вот из родного совхоза пришла путевка. Для сдачи вступительных экзаменов старшина Конысбай Кузенбаев был демобилизован на два месяца раньше срока.

Теперь он студент первого курса зоотехнического факультета.

До прошлого года они не знали друг друга. Да, собственно, им и не суждено было бы встретиться, если бы не их общая любовь — любовь к земле. Они, правда, учатся на разных факультетах и на различных курсах, но их специальности не могут существовать одна без другой. Конечно, Сабиля и Конысбай, разъехавшись, будут помогать друг другу в работе...

А. ЕГОРОВ
Фото автора

СЕЛЬ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ. Неисчислимый ущерб наносят народному хозяйству и населению горных районов сели — грязе-каменные потоки. Созданная в урочище Медео высотная плотина, перегородившая горную речку Малая Алматинка и образовавшая огромную ловушку для грязи и камней, обезопасит столицу Казахстана. Но с гор Заилийского Алатау стекает не одна эта речка, их много, и каждая может стать дорогой чудовищного грязевого потока. Вот почему поиском новых надежных мер борьбы со стихией занялся Казахский научно-исследовательский гидрометеорологический институт.

В верховьях реки Чемолган, близ Алма-Аты, на высоте 3 тысяч метров над уровнем моря институт создал уникальный гидрологический опытный полигон. Четырехметровая бетонно-металлическая плотина, вставшая в русле этой бурной горной речки, образовала небольшое водохранилище. Расположенное выше врезанного в древнюю морену очага возникновения селя, это водохранилище даст возможность моделировать искусственные грязе-каменные потоки. Имитация селей позволит всесторонне изучить уровни и скорости потоков, расход грязи и камней, плотность движущейся массы, силу ее воздействия на различные препятствия.

Результаты экспериментов, которые начнутся в 1972 году, дадут возможность научно обоснованно составлять расчеты и прогнозы селей, разработать новые, эффективные меры борьбы с этим грозным явлением природы, присущим не только горам Тянь-Шаня, но и другим селеопасным районам страны.

ГАЗ «ПОЛУОСТРОВА СОКРОВИЩ». Вот уже несколько лет дает стране богатую парафином нефть Мангышлак, не случайно названный в народе «полуостровом сокровищ». Наступил черед хозяйственному использованию добываемого попутно с «черным золотом» газа. Первый в Казахстане газоперерабатывающий завод, строительство которого началось в Новом Узене, будет ежегодно превращать миллиард кубометров газа в сырье для производства пластмасс и других ценных химических продуктов. Часть богатого пропаном и бутаном газа в сжиженном виде пойдет в отдаленные районы Казахстана и другие республики для использования в качестве химического сырья и на бытовые нужды.

Первый блок Новоузенского завода намечено сдать в эксплуатацию в 1972 году, а еще через год крупнейшее в республике предприятие газоперерабатывающей промышленности полностью вступит в строй.

ДЖЕЗКАЗГАН В 2000 ГОДУ. Что будет представлять собой «медная Магнитка» страны — Джезказганский промышленный узел в 2000 году? Предусмотрено дальнейшее развитие этого важного экономического района Казахстана, необычайно богатого месторождениями полезных ископаемых. Значительно возрастет добыча основного сокровища недр — медной и марганцовой руды. Произойдет это за счет расширения действующих карьеров — Златоуст-Беловского и Анненского, а также освоения уникального Акчи-Спасского месторождения. Уже в настоящее время на Джезказганском горно-металлургическом комбинате действуют шахты-гиганты, где добыча руды ведется с помощью целой системы подземных самоходных машин, скреперов и автосамосвалов. Вступит в строй третья обогатительная фабрика. С переходом на проектную мощность построенной в 1971 году первой очереди Джезказганского медеплавильного завода выплавка металла возрастет в семь раз.

Бурно растущему металлургическому производству даст техническую воду канал Иртыш — Караганда, который будет продолжен до Качирского водохранилища. Газ для комбината поступит от газопровода Мыльджино — Томск — Кемерово — Новокузнецк. С европейской частью Советского Союза Джезказган свяжет новая железная дорога.

ЧУДЕСНЫЕ СМОЛЫ. Крупнейшую на Евразийском континенте электродиализную опреснительную установку запроектировали специалисты Алма-атинского отделения государственного проектного института «Сантехпроект». С помощью мембран из ионообменных смол, предложенных химиками Академии наук Казахской ССР, она будет очищать от солей минерализованные шахтные воды Атасуйского рудника — сырьевой базы Карагандинского металлургического комбината. Установка позволит получать до 8 тысяч кубометров вкусной питьевой воды для снабжения ею двадцатитысячного населения города горняков — Каражала.

Производство опреснителей освоил Алма-атинский электромеханический завод. Аппараты мощностью от 25 до 50 кубометров воды в сутки уже действуют на некоторых железнодорожных станциях и в ряде совхозных поселков республики, расположенных в пустынях и полупустынях. Завод создал опреснитель мощностью 1200 кубометров воды в сутки для Ново-Батайской птицефабрики Ростовской области, две установки несколько меньшей производительности смонтированы в Ново-Николаевке — районном центре Запорожской области и на Засельском сахарном заводе Николаевской области Украинской ССР. Завершено выполнение заказа на тысячекубовый опреснитель для Курганского сыродельного завода.

ОРОШЕНИЕ И КИБЕРНЕТИКА. Реальную перспективу повышения эффективности борьбы с бичом орошаемого земледелия — вторичным засолением почв — открыла математическая модель этого стихийного процесса, построенная в Институте почвоведения Академии наук Казахской ССР. Обычно засоленные почвы промывают пресной водой, а извлеченные при промывке соли по системе дренажных труб удаляют за пределы поля. Однако этот способ, как показала практика, без постоянных наблюдений за состоянием почвы и грунтовых вод малоэффективен. Математическая модель позволяет с достаточной точностью определять зависимость содержания солей от интенсивности испарения, степень минерализации грунтовых вод, глубину их залегания и скорости движения их потока. Полученные зависимости дают возможность прогнозировать изменения концентрации солей в почве и найти оптимальные условия управления этим процессом для предотвращения вторичного засоления орошаемых оазисов. Результаты наблюдений автоматических приборов передаются на электронновычислительную машину, которая уже без участия человека, сама регулирует подачу промывной воды на засоленное поле и величину дренажного стока.

ОГОНЬ И ЛЕД. Ледник Центральный Туюксу в Заилийском Алатау превращен в уникальную естественную гляциологическую лабораторию. На этот глетчер, представляющий собой один из наиболее интересных районов современного оледенения в Советском Союзе, вертолеты доставили два сборных домика, специальное оборудование, — в частности, бензовоздушную термобуровую установку, созданную специалистами Казахского политехнического института. На «языке» и фирновом поле ледника с помощью этого термобура, выпускающего со сверхзвуковой скоростью струю огня температурой 2000° С, гляциологи приступили к бурению 48 скважин, глубиной по 100 метров, до самого ложа глетчера. Специальные приборы, заложенные в ледяные скважины, позволят ученым с достаточной точностью определить режим ледника, температурное поле и внутреннее движение его по всей толще. Здесь, в заоблачной выси, этими экспериментами уже занято около 50 специалистов. Исследования проводятся по программе Международного гидрологического десятилетия. Они имеют огромное практическое значение для составления прогнозов деятельности ледников, питающих

много рек, на стоке которых базируется орошаемое земледелие.

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПОЛЕ. Алма-атинская фирма пластмассовых изделий «Кзылту» Министерства местной промышленности Казахской ССР освоила производство индивидуального обеденного термоса с тремя алюминиевыми емкостями, вмещающими по 0,6 литра первого, второго и третьего блюд. В изящном, изготовленном из прочного полиэтилена термосе имеется отделение для хлеба, вилки, ложки и ножа, небольшой прибор для соли и специй. Благодаря герметической крышке обед, закладываемый с температурой 90—97° С, надежно сохраняет тепло в течение трех часов. Новинка сразу же завоевала популярность у геологов, механизаторов сельского хозяйства, бурильщиков, шахтеров, чабанов, представителей других профессий.

ТАЙНЫ ОТРАРА. Закончился пятый сезон раскопок Отрарского оазиса, расположенного в долине Сырдарьи — одной из колыбелей цивилизации человечества. Они ведутся на всей его площади в семь тысяч квадратных метров. Археологи Академии наук Казахской ССР углубились уже на полтора метра и достигли культурных слоев XVI—XVIII веков. В отечественной истории археологических изысканий аналогичны по масштабам только раскопки древнего Новгорода.

Предполагается, что оазис входил в состав государства Кангюй. К сожалению, письменных источников о нем очень мало, и это породило среди историков противоречивые гипотезы, касающиеся границ государства, его происхождения и главного города. Возможно, на территории Отрарского оазиса расселялись ассы, бывшие, как полагают, западной ветвью древних усуней — прямых предков современных казахов.

Существует предание о том, что в Отраре имелось крупное хранилище рукописей, не уступавшее по значению знаменитой Александрийской библиотеке. Возможно, что Отрар был не только центром экономической и культурной жизни, но и средоточием научной мысли средневекового Казахстана.

РЕЛИКВИИ ОГНЕННЫХ ЛЕТ

В ИЮЛЕ 1971 года комсомол Казахстана отпраздновал свое пятидесятилетие. Накануне этого важного события в Алма-Ате открылся Музей истории комсомола Казахстана, созданный по инициативе ветеранов комсомольского движения в республике. Собрано около трехсот экспонатов, и за каждым из них — ратный или трудовой подвиг.

...Буденовка. Принадлежала чоновцу Худякову Ивану Дмитриевичу, комсомольцу с 1919 года.

...Полевая сумка. Принадлежала С. Боранбаеву — участнику разгрома сузакского восстания баев и басмачей. 1919—1920 годы, город Чимкент.

...Телефонный аппарат 30-х годов Каменского райкома комсомола. Уральская область.

...В этом полушубке в 1934 году С. М. Киров ездил по районам Казахстана. Полушубок передан музею семьей Л. И. Гуляева, комсомольца с 1919 года.

...Вырезка из газеты: «...Комсомольцы и молодежь колхоза «Федотовка» Павлодарского района ко дню 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции посылают защитникам Родины на фронт 6 пудов муки, 25 килограммов масла, 30 пудов картофеля, 50 пар носков и перчаток».

...Эта земля — с того места, где насмерть стояли двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев у разъезда Дубосеково. Панфиловская дивизия формировалась в Алма-Ате.

...Фото: «У поверженного рейхстага. На снимке — младший сержант М. В. Кантария, сержант М. А. Егоров, лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и капитан Неустроев. Май. 1945 год».

...Трофейный меч японского самурая. «Претензии его владельца на расширение «жизненного пространства» за счет Советского Союза закончились позорным разгромом Квантунской армии. Передаю этот меч Музею комсомола Казахстана в знак памяти о героизме советских воинов и в назидание всем посягающим на священные рубежи нашей Родины. А. ГОНЧАРОВ, ветеран комсомола Казахстана».

...Комсомольская путевка. Фото: Инициаторы движения «Комсомольцы и молодежь, на целину!» — комсомольцы завода имени Лихачева. 1954 год.

Фото: Первая борозда. Хлеб.

...Первая конверторная сталь Карагандинского металлургического завода. Апрель 1970 года.

...Серебряный костыль со Всесоюзной ударной комсомольской стройки железной дороги Бейнеу — Кунград.

Тихо здесь. Но реликвии ратных и трудовых подвигов комсомола республики, шедшего плечом к плечу с коммунистами, не молчат. Ведут они мужественный рассказ о пятидесяти годах славной истории.

Б. ДИМЫЧЕВ



ОДНАЖДЫ, когда ей было шесть лет, она увидела на сцене детский балет «Доктор Айболит» и сама решила свою судьбу — настояла, чтобы родители отдали ее в хореографическое училище. С тех пор и на всю жизнь — балет, балет, балет...

Надежда Пивницкая — актриса драматического дарования, танцующая роли, по ее собственному определению, «с содержанием». Великолепное владение техникой уже давно стало только необходимой основой для раскрытия психологически глубоких образов. Трагический монолог Эдит Пиаф на музыку Шарля

Дюмона и танец «Три настроения» Скрябина, тонко передающий психологические нюансы — радость, сомнение, крик; драматическая «Песня матери» финского композитора Ярнефельта, специально приготовленная Надей в первую ее поездку за границу в этом году на Дни искусства СССР в Финляндии...

Самой значительной для балерины стала роль Кармен в «Кармен-сюите» Бизе — Щедрина.

Пивницкая создает индивидуальными средствами страстный и безудержный характер Кармен. В ее танце чувствуются хорошая школа, профессиональная культура, строгий вкус и незаурядный темперамент.

Процесс творчества непрерывен. «Вечером прихожу домой, а вокруг музыка... Не умолкает ни на минуту! Закрываю уши, сжимаю голову в руках, но от музыки не уйти...» Ночами мучительно обдумывает Пивницкая пластику движений — рисунок должен быть графически точным, жест — четким. А днем непрерывные тренажи, чтобы на сцене все выглядело легко и грациозно. «Поймут ли?..» — каждодневные терзания. «Все свои новые роли я, прежде чем показать зрителю, показываю маме. Если она поймет, — значит, я говорю правду и танец примут».



Победы и поражения Надежды Пивницкой, развитие ее дарования — это отражение в одном характере творческой судьбы всего коллектива хореографического ансамбля «Молодой балет Алма-Аты». Балет, как и Пивницкая, молод. Как и она, талантлив. Уже можно говорить о собственном почерке балета, о периоде его зрелости.

Несколько лет назад выпускник ГИТИСа Булат Аюзанов и артистка Театра оперы и балета имени Абая Инесса Манская создали хореографический театр двух актеров. Уже тогда театр миниатюр был отмечен как новая страница национального хореографического искусства. Через три года Булат Аюханов, в то время еще и педагог Алма-атинского хореографического училища, выпустил первую группу своих учеников, которая стала ядром нового коллектива, названного «Молодым балетом Алма-Аты».

Сейчас их уже 22. Средний возраст — 20 лет. Все комсомольцы. Надя Пивницкая — комсорг ансамбля. Они начали с искусства миниатюры, и до сих пор камерный жанр для них основной, хотя уже поставлено несколько балетов. На сжатой, компактной форме, которая требует предельной лаконичности и глубины в обрисовке характера, росли исполнительские силы ансамбля, и сейчас профессиональная подготовка балета отвечает требованиям современной хореографии.

Балет молод, но он успел уже объехать весь Союз. Начал в 1967 году с гастролей по республике, а сейчас география его зрителей — Кавказ, Белоруссия, Прибалтика, Сибирь, Урал, Дальний Восток, Крайний Север. Побывал он и за границей — в Индии, Швеции, ГДР, Польше, Венгрии, Финляндии.

Ансамбль завоевал расположение зрителей постоянным творческим поиском. Художественный руководитель заслуженный артист Казахской ССР Б. Аюханов и режиссер-педагог заслуженная артистка Казахской ССР И. Манская стремятся использовать природные возможности каждого артиста. Премьеру в ансамбле разучивают все, а право танцевать на сцене предоставляется тому, у кого получилось лучше, кому больше подходит роль. Полная свобода творчества, экспериментов, проявления индивидуальностей на основе подлинного мастерства, достигаемого путем освоения классики. Здесь каждый раскрывает себя — потому так удивляют выступления ансамбля разнообразием характеров. Иногда к постановке принимаются различные трактовки, лишь бы танец был выполнен профессионально, был оригинален.

В репертуаре «Молодого балета» русская и европейская классика, хореография на музыку советских композиторов. Вальс Наташи Ростовой и Болконского из оперы Прокофьева «Война и мир» (Надежда Пивницкая и Алекс Семьянов) и «Аве Мария» Баха — Гуно (Любовь Дудукалова и Вячеслав Гончаров), «Героическая поэма» Скрябина на гротескный танец «Баба-яга» Мусоргского (Жанат Байдаралин).

Профессионализм, мастерство, свой оригинальный репертуар, современное мироощущение — отличная основа для выполнения «сверхзада-

чи» коллектива—создания национального балета. С начала существования ансамбля в его программах — номера на музыку казахских композиторов: «Поединок» Сыдаха Мухамеджанова из оратории «Голос веков» и балет «Кыз-Жибек» Е. Брусиловского, «Танец джигитов» на мелодии Курмангазы, обработанные Е. Брусиловским, и балет «Жарыс» А. Исаковой. На II Всесоюзном конкурсе новых концертно-хореографических номеров в Москве Татьяна Анющенко и Алекс Семьянов были удостоены дипломов лауреатов за исполнение «Неспетой песни» Н. Атаевой по мотивам поэмы Сакена Сейфулина «Разлученные лебеди», а на III конкурсе ту же награду заслужили исполнители «Танца акынов». Последняя постановка с ярким национальным колоритом — балет В. Булгаровского «Казахские сувениры», подготовленный к фестивалю искусств «Русская зима».

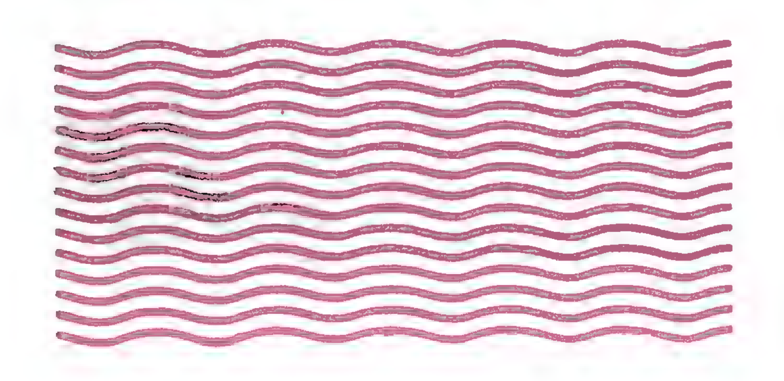
Атмосфера энтузиазма заразительна. Все молодые и талантливые силы Алма-Аты тянутся к балету. С воодушевлением работают над эскизами костюмов для ансамбля даровитые художники Эрнест Гейдебрехт и Михаил Махов. Композитор Аида Исакова написала музыку для двух балетов — «Гамлет» и «Жарыс». Предлагает свои произведения коллективу Н. Атаева.

...Забавная сценка «Бабушка и внучки» из балета В. Булгаровского «Казахские сувениры». С задором, свойственным юности, озорно танцует вместе с «внучками» «бабушка» — Надежда Пивницкая.

Н. КОПЫЛОВА

С МЕРУЕРТ я встретилась в институте, в спортивном зале, где проходили занятия по пластике. Невысокая, хрупкая девушка с красивыми черными глазами, глазами Кыз-Жибек, роль которой она играла в одноименном фильме режиссера С. Ходжикова.

МЕРУЕРТ



Улыбаясь, она вспоминает:

— Я совсем не ожидала, что мне посчастливится играть Жибек. Знаете, сколько красивых девушек проходило фото- и кинопробы! И на вторых кинопробах, когда мы снимались в настоящих костюмах, нас было десять претенденток на эту роль. Десять!.. И я настроилась на то, что мне, может быть, повезет лишь сыграть кого-нибудь из окружения Жибек.

Последнюю кинопробу вчерашняя школьница провела ровно и ушла по своим девчоночьим делам. Мало ли их... Только-только окончила школу, все хорошее было впереди.

Где-то к осени 1968 года она узнала, что утверждена на главную роль.

И началась кропотливая, а порой мучительная работа над образом. Прежде всего надо было привыкнуть к ка-



мере, к рабочей атмосфере. Но самое главное: как воплотить на экране самый романтический образ казахского народного эпоса! На оперной сцене великая Куляш Байсеитова играла Жибек, и у всех на протяжении долгого времени неизменно ассоциировались эти два имени. Жибек в исполнении Куляш осталась классическим образом в сокровищнице искусства Казахстана. Как отойти от этого канона!

Кыз-Жибек жила в давние времена. Замысел режиссера был связан с показом древних обычаев, традиций, нравов. Меруерт упорно осваивала эти премудрости старины. Ее Жибек должна была жить по законам предков и не вызывать у зрителей ни малейшего сомнения в достоверности происходящего. И Меруерт глубоко изучала историю казахского народа, язык прошлого, быт. Перед камерой надо было двигаться не современной, спортивной походкой, а плавно, мягко, мелкими шажками. И взгляд, и жесты Жибек, конечно, тоже отличались от порывистых движений наших современниц. Медленно, но естественно вживалась молодая актриса в образ своей легендарной героини.

Меруерт с благодарностью говорит о тех людях, которые работали с ней, помогали делом и советом, — режиссерах С. Ходжикове и Д. Тиапиной, о заслуженной артистке республики Ф. Шариповой, художнице Г. Исмаиловой, о тренере по верховой езде К. Асенове...

Работа над фильмом длилась около двух лет, Меруерт переживала радость и большое горе своей героини, скакала на аргамаке по безбрежным степям и любовалась закатами... Того, кто на экране был судьбой Жибек, — Тулегена, хорошо сыграл молодой актер Казахского драматического театра имени М. Ауэзова К. Тастанбеков.

Теперь молодым артистам остается ждать оценки зрителей. А сейчас Меруерт Утекешева — студентка второго курса актерского факультета Института искусств имени Курмангазы. Она одна из лучших учениц, серьезно относится к занятиям и говорит, что ей трудно, хотя и есть маленький актерский опыт. Для нее постижение мастерства — увлекательный и сложный процесс. Меруерт не делает себе никаких поблажек, потому что понимает — надо накапливать знания...

С. МУСИНА

Юрий АЛЕКСЕЕВ

БЕГА

РОМАН

Окончание.
Начало на стр. 116.

— Зачем же зря тревожить министра? — забеспокоился он о чужом здоровье. — Коллектив у нас, прямо скажу, замечательный! Соберем редколлегию и расстанемся с «ботаником», если надо...

— Ну, смотрите сами, — расщедрился Агап Павлович. — Я ведь не злопамятен, но в интересах дела непримирим.

— Завтра же пришлю к вам надежного человека, — заверил Кирилл Иванович. — Он проверен на прочность жизнью и не подведет.

— Дело ваше, — сказал Агап Павлович. — Я никому ничего не навязываю, но, вообще, в наше трудное время надо держаться косяком.

— Косяком, именно косяком! — с готовностью подхватил Сапфиров. — Плечом к плечу, душа в душу!

«Где это я уже слышал?» — подумал Агап Павлович, но не вспомнил, где именно, и размягченно сказал:

— Поговорили — и будет, без нас стол скучает.

Партнеры выпили по рюмке «Камю» и переместились за журнальный столик. Лист бумаги и две колоды были положены туда заранее.


CAMUS

В преферанс партнеры играли по особым правилам. Курить, например, разрешалось только во время раздачи карт — и не более. Выигрывать у Агапа Павловича было нельзя, хотя записано это нигде не было. Но грубые поддавки тоже исключались: Агап Павлович и в преферансе хотел утвердиться корифеем подлинным, а не сделанным чужими руками. Кириллу Ивановичу и Сапфирову приходилось с этим считаться, и они ошибались, всякий раз как бы невзначай непременно добавляя: «Эх, я слепая кишка!» или «Ох, подсвешника на меня нету!»

«Подсвешника» у Агапа Павловича не было, но он каждый раз обещал его купить.

После долгой, изобилующей отточенными промахами игры партнерам удалось обеспечить Агапу Павловичу минимальный перевес. И тут его дернуло объявить «мизер»...

Кирилл Иванович и Тимур Артурович похолодели.

— Ну чего уснули? — сказал Сипун. — Молчите? Тогда я беру!

Не дожидаясь согласия, Агап Павлович обнародовал прикуп и посерел... К бланковой десятке червей он прикупил грудастую даму и румяного валета той же масти. Валет нагло ухмылялся. Агап Павлович «садился». И «садился» как минимум на пять взяток.

Поддавки могли пойти прахом, и Сапфиров растерялся настолько, что потянулся за сигаретами.

— При «посадке» не курят, — заметил Кирилл Иванович, чтобы внушить Агапу Павловичу, что игра пойдет «по всем правилам».

— Виноват, товарищи, склероз! — мягко извинился Сапфиров.

Агап Павлович вздрогнул. Ему отчетливо вспомнились голоса пса и лисы, так же рассуждавших насчет курева в полете.

Агап Павлович присоединил прикуп к своим картам и посмотрел на них, как смотрят на руки после помойного ведра. Потом шаркнул взглядом в сторону партнеров и сделал снос.

— Ну ловите! Посмотрим, что у вас получится, — сказал он так, будто посылал их в речку за раками.

Партнеры нехотя разложили карты. Десятка, конечно же, ловилась. Агапу Павловичу грозил верный проигрыш.

— Что же это, однако, получается? — пробормотал

Сапфиров, переходя со страху на волжский говорок. — С чего ходить?

— А зачем ходить, когда не ловится? — с лисьей осторожностью сказал Кирилл Иванович.

— Ну да! А я-то, куриная слепота, все пыжусь! — облаял сам себя Сапфиров. — Вот уж правда подсвешника на меня нет!

Партнеры обменялись ласковыми взглядами и, цепляясь в спешке пальцами, перемешали карты в кучу.

КАК В ШЕЛКУ

В редакции Кирилл Иванович появился, как всегда, в двенадцать.

Мурлыча под нос привычную мелодию и передвигаясь в ритме отечественного танго, он подступился было к лестнице, как услышал наверху бранный гул.

Кирилл Иванович насторожился и замер с поднятой ногой. Прямо на него, прыгая через ступеньку, катился озиравшийся назад Гурий Михайлович. Он был красен и тяжело дышал. Следом грохочущим обвалом несся Виктор Кытин и голосил: «Верните мне «Красный свет»! Он даже не член союза!»

Заметив Кирилла Ивановича, Белявский чуть замедлил темп и, не переставая работать ногами, прокричал:

— Как же, как же!.. Племянницу. По классу фортепьяно... Сделаем.

Кытин остановился, продышался и сказал:

— Доброе утро, Кирилл Иванович.

Белявский тем временем прошмыгнул в уличную дверь.

— Что за побегульки в рабочее время? — строго спросил Кирилл Иванович, снимая с плеча прилипшее перышко. — Вы мне нужны, Кытин. Но сначала найдите и пришлите ко мне Бурчалкина. Вы меня поняли?

У Кытина екнуло сердце и скатилось в желудок: «Это Гурий! Уж успел проболтаться, мерзавец, про аптеку и Кочубея. Ужас!.. Тихий ужас». И, заложив руки за спину, заскользил «на коньках» по отделам, приговаривая:

— Виктора оговорили... Виктора просватали... А ведь все, что у него есть, — это жена и комплекс...

Кытин обошел всю редакцию, пожаловался буфетчице Ольге и тогда уже отважился на визит к Яремову.

— Домыслы, Кирилл Иванович, злые домыслы, — забормотал он, заложив руки за спину и понурясь. — Вы же знаете Кытина. В личной жизни его быт не только скромен, но и богат лишениями. Не верьте Белявскому, он меня оклеветал и обманул. Низко! Жестоко! Я подам заявление на имя редколлегии... Мой быт...

— Где Бурчалкин? — перебил Яремов.

— Нету, Кирилл Иванович, Астахов отправил его в Янтарные Пески. А меня в Торжок командируют. Вот видите, каково Кытину! Только в Торжок...

— Никакого Торжка! — В голосе Кирилла Ивановича угадывалось раздражение. — Есть поручение, — добавил он, оглядывая с ног до головы скорбную, вымогающую прощения фигуру. — Причем весьма ответственное... Возьмите машину — и немедля в мастерскую Сипуна.

У Кытина зазвенело в ушах, а сердце заработало как насосная станция.

— Материал срочный. В номер, — дополнил Кирилл Иванович.

Кытин зашуршал ногами по полу, имитируя скорохода, и закивал лохматой головой.

Через минуту он запихнул отвергнутые рассказы в портфель и забегал по редакции, тыча всем разрешение на машину под нос:

— Что за безобразие!.. Посылают на такое ответственное задание, а пишут как курица лапой! Вы не разберете, какой тут номер машины?

Сотрудники косились на четкие цифры 79-63 и усмехались.

Оповестив половину редакции и буфетчицу Ольгу, что он «едет на машине», Кытин угомонился, подхватил портфель с рассказами и убежал.

Уже на подъезде к особняку ваятеля Виктор ощутил под ложечкой праздничный холодок. Кытин затрепетал. Ему вдруг безумно захотелось приобщиться к чарующему быту по ту сторону ограды. Пусть хоть краешком, самой малостью!..

Виктор попросил шофера остановиться у самых ворот. Потом вылез, облокотился на машину как на соб-

ственную и лениво, как бы в ожидании подзадержавшейся в особняке жены, закурил.

Получилось не так уж плохо.

Кытин погладил железные ворота и решил писать отныне не пять рассказов в неделю, а десять.

Агап Павлович встретил Кытина тем же манером, что и Бурчалкина. Он так же кхмыкал, складывал пальцы лафитничком и кружил возле фотовыставки. Но это было, пожалуй, лишним. Кытин и без того глядел Сипуну в рот, будто хотел поставить ему пломбу, и записывал за ним дословно, стараясь подчеркнуть, что мысли ваятеля глубоко разделяет.

— Это же моль! — говорил Агап Павлович, косясь на корреспондента.

— На добром шевиоте общества! — соглашался Кытин.

— Мы и так у народа в долгу, — твердил ваятель.

— Как в шелку! Как в шелку! — подхватывал Кытин.

Агапу Павловичу это понравилось.

«Бойкий юноша, — подумал он. — Далеко пойдет».

Заметив к себе такое расположение, Кытин изловчился и ввернул следующие слова:

— К чувству общественного негодования, Агап Павлович, у меня примешивается и личная боль!.. Меня, видите ли, не печатают.

«Я не ошибся, — подумал Сипун. — Ничего святого!»

— И придирки подозрительны, — низким голосом продолжал Кытин. — «Вы, — говорят, — как акын: описываете все подряд, без разбору». Но «как акын» — это же реалистично!

Кытин поднял вспученный рукописями портфель и подержал его на весу.

— Восемь раз свой сборник предлагал. И всякий раз — «не то». А что же «то»? Я ведь не символист! Все, что у меня есть, это... э... Лев Толстой, любимая работа и тяга к родниковому, солнечному.

— Хорошо, хорошо, — сказал Сипун. — Оставьте сборник.

В кабинет заглянул измазанный глиной человек:

— Вам, Агап Павлович, письмо. Возьмите, пожалуйста. И еще мне хотелось спросить, могу я быть сегодня свободен?

— Да, можете. Проводите заодно молодого человека.

За железные ворота Кытин выскочил как в угаре и

полквартала пробежал пешком. Только тут он сообразил, что приехал на машине, хлопнул себя по бедрам и степенным шагом вернулся назад.

— На Солянку! — сказал он шоферу, стараясь, чтобы голос его звучал по-яремовски.

По дороге домой он все более проникался важностью и перед самой Солянкой неожиданно для самого себя загундосил: «Мой час настал...»

Дома он отверг гороховый суп, надменно обозвал жену кухаркой, за что получил пощечину, но не остыл, а еще больше напыжился и, бормоча: «История нас рассудит», удалился злыми шажками на коммунальную кухню. Там он постелил на стол газетку и погрузился в работу.

Щека горела как в огне и тонизировала его в работе. «Нет! — писал он самозабвенно, тесня грудью стол. — Неспроста окрестил их Сипун «молью».

Подумал и заменил «Сипун» на «народ». Потом вздохнул и поставил: «люди доброй воли».

ВТОРОЙ СОН АГАПА ПАВЛОВИЧА

Выпроводив Кытина, Агап Павлович почувствовал себя устало и скверно. Ни удовольствия, ни успокоения этот «визит вежливости» ему не принес и, хуже того, оставил неприятный осадок. Агап Павлович достал из шкафчика «крохоборский женьшень» и решил испытать на себе народное средство. Он налил в рюмочку двадцать капель, подозрительно принюхался и подозрительно же лекарство проглотил. После этого он распечатал письмо и погрузился в чтение:

«Дорогой ты наш земляк, Агап Павлович! Нет возможности скрыть своего волнения, которое не оставляет меня вот уже больше двух недель. Очень я одушевлен вашим Иваном Федоровым, от которого беру силы для работы и утешение в беде...»

Агапу Павловичу как-то сразу полегчало, будто пришло второе дыхание.

«...Глядя на ваш памятник, мне иной раз хочется маненько полетать, а другой раз будто в горле что встрянет, вроде рыбного позвонка, так что слеза прошибает...»

У Агапа Павловича запершило в горле и у самого навернулась слеза.

«...А теперь о главном. Помогите мне стать пихмеем. Пихмей — это такой особенный карлик, которому от государства положено одеждой и деньгами. Росту во мне без сапог 156 сантиме...»

Дальше Агап Павлович и читать не стал, а проклюнувшаяся слеза высохла сама собой.

«Ничего святого! — думал он раздраженно. — И приятное-то делают тебе гадко, не по-людски. Все попрошайки. Все «пихмеи»! И этот сгорбленный Кытин, и Тимур, и Кирилл... У всех проглядывает в глазах не почтительность, а нахальная нищенская печаль. Как с такими не потерять веру, спрашивается? А прогнать, вычеркнуть к чертовой бабушке нельзя: надо биться с недругами, надо держаться косяком».

Агап Павлович влился всей спиной в кресло и развесил руки на подлокотниках, жмурясь на свет медленно и безучастно, как цирковой лев на обруч: и давит зевота, и тошно прыгать, но надо, надо показать пломбированные зубы — дескать, ты зверь вольного пошиба, хотя на воле тебе давно не жизнь и ты боишься ее больше пистолета, заряженного не то перцем, не то пиретрумом. Что же, извольте, он сиганет в дырку и зарычит для устрашения публики, но зато потом будет заверенный печатью кусок мяса и будет теплый вольер, где так уютно пахнет осликами и бывшей дикой собакой динго, обученной считать до четырех.

Агапа Павловича бросило неожиданно в жар: это начал действовать «женьшень», и действие его, надо сказать, было странным. Мягкая дремота запеленала Агапа Павловича, он потеплел, и голова его мягко скатилась на грудь.

— Добрый вечер!.. Не ждали? — пролаял пес, вытирая лапы о ковер, и, принося извинения, добавил: — С этим свинским паровым отоплением вся оригинальность визита теряется — лезешь в двери, как почтальон.

— Х-хи, расскажи, как ты в бойлерную трубу влетел по невежеству, — сказала лиса. Она стояла у зеркала и водила кончиком хвоста себе по носу: вы, мол, не волнуйтесь, Агап Павлович, я пудрюсь, так что все правильно. И невинным голосом, на правах близкой приятельни-

цы, полюбопытствовала: — Ну, как прошлый раз домой добрались? Благополучно?

Первым и справедливым поползновением Агапа Павловича было немедля набрать по телефону 02 и запереть окна, двери с тем, чтобы по прибытии милиции обыскать подлую компанию и выяснить их действительную личность. Однако такой план требовал дымовой завесы, чтобы не вспугнуть врага, а потом уже расторопности и наскока. И потому, прикинувшись радушным, хозяин сказал:

— Благополучно, друзья мои, только несколько продуло меня дорогой...

— Зато сегодня ночка — только кур воровать! — поспешила замести прошлое лиса.

— Ни ветерка! — подхватил пес. — Так и хочется работать и жить! — И выставил на стол бутылку с прозрачной жидкостью.

— Что это?! — округлил глаза не ожидавший такой прыти Агап Павлович.

— «Лагримас де кристо», — тявкнул пес, видимо, по-испански.

Агапа Павловича это, разумеется, не удовлетворило.

— Старый добрый опорто типа «Агдам», — замазала нависавший вопрос лиса. — Не беспокойтесь. Уж на что я слабая женщина и то чувствую эдакий прилив сил, творческое, можно сказать, горение. — Она изобразила хвостом пламенное горение. — Не перекинуться ли по такому случаю в картишки?

Как и в прошлый раз, Агап Павлович заподозрил нутром неладное и в игривом «картишки» ощутил скрытый подвох, но виду не подал, а, наоборот, пошел зверью навстречу:

— Отчего же! Каждый имеет право на отдых... А во что вы играете?

— В подкидного «Иванушку», — оскорбительно ухмыльнулась рыжая.

— Да и в «козелка» не против, — сказал пес, усаживаясь и снимая с шеи, как галстук, медаль «За спасение утопающих».

— Это я ныряльщиков из реки Леты таскал, — смутился он, припекаемый жгучим пристальным взглядом хозяина. — Не дал людям кануть: прямо за волосы со дна доставал... аж упарился! Зато сам теперь вроде стал бессмертным. — И погладил медальку лапой.

— Брось заливать, ты и плавать-то не горазд, — осрамила бессмертного лиса. — Он, Агап Павлович, — только полюбуйтесь на пасть! — горлом взял.

Пес, должно быть, покраснел (за шерстью не разберешь), но еще больше сконфузился от таких слов Агап Павлович.

— При чем тут горло? — сказал он негромко, но заносчиво. — Я ангиной третий сезон болею... И вообще, что за манеры! Вот уж действительно: «Посади лису за стол...»

— Ну зачем компанию разбивать? Простим женщину. Я-то отлично понимаю, что в «Иванушку» вам не позволяет положение, но в «козла» с шамайкой — это же разлюбезное дело!.. Пригласим четвертым «Голубого Козлика» и премилехонько проведем время. Он ведь и так, кажется, ваш партнер в «игре»?

«За один стол нас посадить хотят! — мелькнуло у Агапа Павловича. — Хотят склонить к примиренчеству... Та-ак, опрокину сейчас на них стол, притисну в угол и — в 02...»

— Минуточку! — остановила лиса. — Это он вам бред собачий изволил сказать. Не будет четвертого. «Голубой» и так нарасхват. Он нынче занят. С него сейчас портрет пишут... Для истории. Так что давайте-ка тихо-мирно в преферанс. — И потянулась к колоде.

— Ну что же, сдавайте, — хрипло проговорил Агап Павлович, — с него никто еще не писал полотен для истории, и сообщение лисы его крайне ущемило. — Сдавайте, а я пока двери прикрою от сквозняка... Насморк, знаете ли...

— Вам, наверное, позвонить хочется? — нагло предположила лиса.

— С чего вы взяли?! — растерялся Агап Павлович, а сам подумал: «Вот гады! По глазам читают!» И, потупившись для сокрытия мыслей, оправдался: — Здоровье не купишь!

— Если бы только здоровье, — сказала лиса и затрещала картами, как кастаньетами. — А разговор по душам теперь разве купишь? Такая редкость, что и на валюту не достать!

— Наловчились, куда там! — пролаял пес. — Говорят: «Будьте здоровы!», а читай: «Чтоб ты провалился!»

— Это и есть «одиночество на людях», — въедливо подкрепила лиса.

— Не одиночество, а творческая уединенность, — обиделся за себя Агап Павлович. — Избирательное общение, я бы сказал, разумный выбор.

— Во дает! — с кашлем захохотал пес. — То-то ты Тимура Артуровича да Кирилла Ивановича выбрал...

«Откуда он их по отчеству знает?!» — удивился Агап Павлович и, запинаясь, сказал:

— Это так... просто гости.

— Все мы на этой земле гости, — проговорила лиса, сдавая попутно карты. — Так зачем, спрашивается, лишним барахлом обрастать?.. Берите карты, Агап Павлович, берите — там ваши козыри.

Агап Павлович взял, расправил карты и расплылся в злокозненной улыбке: три туза и длинная масть бубен обещали ему верную игру.

— Семь бубен! — объявил он без торга. — Молчите? Ну тогда я беру. — И потянулся за прикупом.

— Фу! Ф-фу, Агап Павлович! — придержал по-своему пес. — У нас прикуп после игры вскрывается.

— Это еще что за новости? Почему?!

— Потому что каждая карта у нас со значением, — показала мелкие зубенки лиса. — Сделаешь игру, тогда поднимай прикуп и смотри, что тебя впереди поджидает... Карты не врут.

— Глупости! — сказал Агап Павлович сварливо. — Будет вам чепуху молоть! Если уж играть, то по-человечески, — и, сгорая от любопытства, перевернул прикуп. Ему открылись туз треф и валет той же масти.

— Что это? — спросил он у лисы настороженно.

— Известно что! Валет — значит «пустые хлопоты», а туз — сами гадайте...

«Казенный дом?!» — мелькнуло у Агапа Павловича, но крест на тузе почему-то был не простой, а восьмиконечный...

У Агапа Павловича отнялись ноги.

— Что это? Я вас спрашиваю!

Лиса ничего не сказала, а наглый пес принялся кропить Агапа Павловича из бутылки с «добрым опорто», распевая леденящее душу, как удары заступа, небезызвестное «три-ра-ри-ра, та-ра-ра-ра, бам-бам-бам-бам!..».

У Агапа Павловича потемнело в глазах. Ощупью, натыкаясь на мебель, он пробрался в кабинет и набрал 02. Внутри аппарата что-то щелкнуло, будто туда провалился двушник, и откликнулось:

— Дежурный слушает!

— Слушайте! Слушайте меня и не перебивайте!.. Ко мне пробрались два хвостатых бандита—пес и лиса... Оба говорящие. У пса бутылка... Алло! Алло! Почему вы молчите?

— Ваш адрес? — послышалось после паузы в трубке.

Агап Павлович назвал.

— Ждите. К вам приедут.

— Только поскорее! Я их пока задержу... Кстати, у пса... Алло! Алло!

Только сейчас Агап Павлович вспомнил про медаль...

«Отнять! Немедля отнять ее у пса, и тогда я стану бессмертным...»

Агап Павлович вихрем ворвался в гостиную, но ни зверья, ни карт, ни бутылки на месте не было. В довершение всего с подноса исчез стакан.

— А-гха! — вскрикнул он, но тотчас вспомнил про звериное коварство и сам пошел на хитрость: вместо двери тихо вывалился в окно и на цыпочках начал красться вдоль стены к соседнему дому.

«С бутылкой они далеко уйти не могли, — рассуждал он. — Им непременно захочется отметить свой успех. Но где? А-а, ну да, разумеется, в парадном...»

Он тихонечко, без малейшего скрипа открыл дверь, и — так и есть! — в парадном стояли он и она, замаскированные под людей. Он для лучшей неузнаваемости прятал ее лицо в своих ладонях и частично прятался в них сам...

«Хитро, да неумно! — подумал Агап Павлович. — Хорошо, что я в тапочках».

Он неслышно подкрался к человекопсу и постучал согнутым пальцем в его спину:

— Вас можно, сукин сын, на минуточку?

Тот так и подпрыгнул:

— А?! Вам чего?

— Так, ничего особенного, — сказал Агап Павлович и рывком полез замаскированному за шиворот. — Где медаль? Куда девал медаль?!

— Караул! На помощь! — прошептал стиснутый воротником пес, а лиса завизжала, будто у нее отнимали хвост: «А-а-а-а!» Это «а-а-а!» каким-то чудодейственным образом перешло в вой сирены и скрип тормозов. И вот уже чьи-то теплые руки оторвали Агапа Павло-

вича от человекопса и стали усаживать в чудную машину с дверью в хвосте и трефовым крестом на боку.

— Не мешайте, товарищи! — пробовал было отвергнуть теплое обращение Агап Павлович. — Мне нужна медаль. Слышите, медаль!

— Будет и медаль, все будет, — сказал пахнувший почему-то аптекой человек. — У нас там полный комплект. — И приказал другому, пахнувшему бензином: — На улицу Веснина!

— На какую такую Веснина? — строго спросил Агап Павлович.

— Там монетный двор, — пояснил аптечный солидно. — Там, кхм, медали чеканят...

— Ну и прекрасно. А пса и лису — под арест.

— Слушаюсь! — вытянулся аптечный.

— Давно бы так, — покровительственно сказал Сипун. — Поехали, товарищи. Не задерживайтесь, поехали...

ВЯТИЧИ

Янтарные Пески встретили Романа Бурчалкина отличной погодой.

По проспекту Айвазовского бежала публика с прозрачными кульками, набитыми вперемешку резиновыми шапочками, картами, гребенками и мелкой зеленой грушей. Публика посолидней сворачивала в «Блинную». Пластуны торопились к пляжу натощак: день обещал быть жарким, и калории солнца мыслились им полезнее.

Каморка штаба дружины располагалась на другом конце проспекта, в белоснежном станционном здании, откуда навстречу Роману шагали разведчики из селения Круча, тащившие чемоданы курортников к своим орлиным гнездам.

Чубатый вожак дружины сидел в одиночестве, изучая в зеркальце ссадину на подбородке. Роман представился. Чубатый был очень польщен и то и дело повторял слово «пресса», произнося его через «э», но с одним «с».

— Обращаю внимание прэсы на плохую сознательность отдыхающих, — говорил он, поглаживая синие якоря. — Их как следует надо прижучить. Каленым пером. Два часа, понимаешь, им козлиную морду показы-

вали и стихи босиком читали. И ничего!.. Ноль внимания! Мы-то как напали на след, сразу обезвредили. Не хвалясь, скажу, воспитательную работу понимаем. Взяли с ходу. Если будете писать, Кузю Громова упомяните. А моя Ковтун фамилия... Но это так, между прочим. Григорий Петрович Ковтун.

— Я запомню, — пообещал Роман.

— Так вот, мы словили, — зажегся Ковтун, — а Демьян Парфенович их отпустил!.. Да разве на то милиция, чтобы отпускать?.. И теперь такая буза поднялась... Словом, невозможно стало работать. Нянчатся, понимаешь! Нам второй мотоцикл не дают, а Максимке-гладиатору мотороллер «Вятка» обещали, если утихнет. Между нами, сам Остожьев обещал... Тут уж я прошу прэсу вмешаться.

— Вмешаемся, — сказал Роман, прощаясь.

— И Кузю... Кузю не забудьте.

— Ни в коем случае, и вас не забуду.

— Я-то что, — заскромничал Ковтун, — главное — рядовой состав отметить. Простых исполнителей, — добавил он, и в голосе его угадывалась надежда.

Бурчалкин понимающе кивнул и отправился в милицию. Там разговор проистекал уже в других тонах.

— Напрасно вы дело ворошите, — сказал Демьян Парфенович, глядя на корреспондента сквозь легированные очки.— Этим, извиняюсь за ругательство, «гладиаторам» и без того голову вскружили. А напишете, так и сладу с ними не будет.

— Вы их, кажется, сразу отпустили? — осторожно поинтересовался Роман.

— А чего держать? Они ребята смирные, понятливые. Были, по крайней мере...

— Смирные, говорите? — переспросил Роман. — А вы не слышали насчет «Тулы» или там «Вятки»?

— Эхо-хо-хо, — сказал Демьян Парфенович. — Считай, что не слышал...

— Я вас понял. — И Роман, поблагодарив еще раз, заторопился в горсовет.

Председатель горсовета Остожьев встретил корреспондента восторженно. Он так обрадовался, что не знал, на какой стул его посадить, и беседовать пришлось стоя.

— Вовремя! Очень кстати, — проговорил он, тиская Романа за плечи. — И ждет вас, дорогой товарищ, сюрприз! Сегодня у нас закладка памятника Отдыхающему

труженику! И где, думаете? На месте недавнего безобразия — в полукруге Приморского парка. А кто будет закладывать?

Бурчалкин затруднился.

— Ну, ну? — подзадорил Остожьев. — Думаете, я? Не-а... Наши бывшие «гладиаторы-козлисты». Лично, своими руками! Каково?.. Мы, конечно, провели работу. И товарищи осознали! Вечером, значит, закладывают, а днем они в агитпоходе по городу. А как же! Мы на критику реаги...

Председатель не закончил. С улицы донеслось обрывистое газолиновое чихание.

— Да вот же они! — обрадовался Остожьев и потащил Романа к окну.

По проспекту Айвазовского передвигалась зеленая «Вятка» с коляской, из которой торчал камень пудов на пять. За рулем, напрягшись, будто он тащил к столу самовар, возвышался посерьезневший Максим Клавдин. Второй «вятич» — Лаптев — обнимал Максима, чтобы не упасть, за талию, а свободной рукой вскидывал над яхтсменкой маленький, вроде «Цветы не рвать», транспарантик:

Мы — реалисты! Монументальное — значит отличное!

— Ну как, доходчиво? — не без вызова поинтересовался Остожьев.

— Очень... Доходчивее не бывает, — отозвался пораженный Бурчалкин. — Только вместо «мы» я бы поставил «вятичи». Представляю, какой камень они у вас с души сняли!

— И не говорите, — признался Остожьев. — У нас все-таки курорт, а не выселки: представители разных стран загорают, и дружеских и, грубо говоря, нейтральных. Так что принижать наши усилия в этом деле не приходится. Поработали — и результат налицо. Вы, случайно, не читали новых стихотворений Клавдина?

— Я и старых в глаза не видел.

— Жаль... то есть жалеть тут особенно нечего, но для сравнения было б убедительно. Вот ознакомьтесь с последними. — И показал Роману «Южную здравницу» за понедельник.

Стихи назывались «Раздумья героя», и по мере их чтения брови Бурчалкина поднимались все выше и выше, отчего лицо его соответственно удлинялось.


МЫ-РЕАЛИСТЫ!
МОНУМЕНТАЛЬНОЕ-
-ЗНАЧИТ
ОТЛИЧНОЕ!
Гас
ЯМ
31-52

— Разрешите, я возьму это с собой? — попросил он Остожьева.

— Ну разумеется, какой разговор! Но главное удовольствие вам предстоит вечером. Вот где праздник, так праздник!..

Как ни упрашивал председатель, дожидаться закладки памятника Бурчалкин не стал. Отказавшись от «удовольствия», он тем же часом отправился в Симферополь, чтобы успеть на вечерний рейс. Роман спешил домой. Но аэропорт закрыли из-за грозы.

Во Внуково Бурчалкин прилетел ночным рейсом и удачно попал на дизель-экспресс аэропорт — город.

Когда автобус после получасовой убаюкивающей езды плавно выкатил на Каменный мост, сонные пассажиры зашевелились в креслах и прильнули к окнам. На набережной было белым-бело.

На Москве-реке тоже бывают белые ночи.

На исходе июня ее гранитные берега светятся молочным светом. Белоснежные рубашки. Подвенечные платья. Они мелькают от Чугунного моста до Каменного, и под их гулкими сводами прыгает, пляшет эхо молодых голосов.

Это празднуют те, кому было вчера «еще семнадцать», а сегодня «уже семнадцать».

Нескончаемым белым водопадом они стекаются на Красную площадь. Площади сегодня не уснуть. Это их день. Их прощание. Больше им не подпирать коленками парту. Сегодня они стали взрослыми. И, может быть, уже завтра романтик в кедах по-мужски ринется к берегам Иртыша. В глазах решимость Ермака. С плеча свисает, как колчан, гитара. Он едет заново покорять Сибирь.

Где-то на скрещении Малого и Большого Югана он вобьет заявочный столб и, отмахиваясь от свирепого комарья, навесит фанерную табличку «Юногорск».

Фанерку, понятно, тут же обдерут безграмотные, не по уму ревнивые медведи и, оставив на месте расправы клочья жесткой диванной шерсти, самодовольно залягут в теплую берлогу.

Но столб останется. Столб завязнет. И вокруг него заурчат бульдозеры. Вздыбятся башенные краны. Запыхтит паровой молот.

И когда по весне медведь выберется наружу, то предметно сообразит, что проспал все на свете и незаметно стал горожанином. Ошалело почешет он высосанной лапой за ухом и, так и не выходя из этого ошаления, не заметит, как попадет в руки Филатову и через полгода, ничего слаще муравьев не видавший, полетит трансатлантическим рейсом в Канаду, чтобы показать там профессиональный медвежий хоккей.

Белые московские ночи. Светятся голубым туманом ели у Мавзолея. Бьют вековые куранты. Площадь полна весенним яблоневым кипением. И на Лобном месте — гитарист.

«Главное, ребята, сердцем не стареть!»

И звонкие, рвущиеся от избыточности силы голоса на лету подхватывают:

«...до конца допеть!»

Пляшут струны. Пляшут там, где стоял когда-то яростный, неукротимый, вольный Стенька. А внизу, робея глянуть на брата, смирно горбатился Фролка... Забыли. Не помнят Фролку. А ведь и жил дольше, и накопил больше.

Белый цвет. Цвет восторженной чайки и прожоры пеликана, цвет мятежного паруса и покойной простыни.

Белые ночи юности. Вторая московская весна. Время надежд. Время тревог. Время дорог. Такая весна не повторяется дважды.

Когда Роман добрался до дому, на часах было половина второго. Стасик не спал. Сидя на корточках, он осторожно стряхивал пепел с окурка на размалеванный холст, лежавший прямо на полу.

— С приездом, Роман Ильич, — сказал он, распрямляясь тяжко, словно после прополки или радикулита. — Тебе тут все провода оборвали. Завтра редколлегия. В двенадцать. Кстати, мною тоже усиленно интересовались, так что, судя по барометру, вас собираются драть...

— Рано ты меня отпеваешь, — отодвинул худшее Роман. — Поживем — увидим. Над чем это ты колдуешь в такой час?

— Обтачиваем философский камень, Роман Ильич, идем, так сказать, навстречу пожеланиям трудящихся. Знаешь объявление: «Меняю комнату в мансарде на

двухмоторный самолет»? Так вот, товарищ Золотарь откликнулся. Он отдает «Козла» в обмен на произведение всеми проклятого, в том числе и цирком, художника.

— «Гладиатор» тебя опередил, — сказал Роман. — Он уже обменял «карамболь» на мотороллер. Один к одному!

— Иди ты! А как «Лапоть»? Все так же босиком шлепает?

— Нет, остепенился. Босиком на «Вятке» несолидно: железо, сам понимаешь, пятки жжет.

— Ну дела! Значит, вниз ногами поставили... Скажи пожалуйста, как растут люди! Нет, надо определенно спешить, иначе окажешься в лилипутах! К слову, как ты находишь мой обменный фонд? По-моему, он где-то отражает духовный мир нашего драматурга.

Роман посмотрел на картину. В нижнем углу торчала загаженная пеплом трубка, из которой валил затейливый дым. В дыму мелькали косо посаженные глаза без ресниц, украшавшие собою не лицо, а какой-то слиток буженины, над которым порхали не то медные петли «ампира», не то бабочки с лавровыми крыльями. И дым, и глаза, и бабочки — все было смазано и летело в тартарары без руля и без ветрил.

— Не хочу спорить, отражает, — сказал Роман. — Как ты все это назвал?

— А никак. У тебя что, есть соображения?

— Назови «Бытие опережает сознание».

— А что? Пожалуй! — И Стасик написал в уголке: «Бытие опережает сознание». — Ну, а теперь спать! — предложил он. — Раньше ляжешь — меньше проиграешь, как говорят картежники. Завтра не задерживайся. Даю банкет на три персоны. Форма одежды летняя. В петлице лотерейный билет.

ОТРОГИ МОЛНИИ

К двенадцати к кабинету Кирилла Ивановича стали подтягиваться члены редколлегии. У дверей уже покуривали редакторы отделов Голодубов и Плетнев.

Не сговариваясь, они всегда приходили на совещания пораньше, молча дымили впрок, вздыхали, старательно гасили окурки, одергивали пиджаки и за пять минут до начала занимали свои места.

В них Кирилл Иванович не сомневался.

— Присаживайтесь, товарищи, — предложил он Голодубову и Плетневу.

И в это время в кабинет зашел никем не званный завхоз Сысоев. Он пощелкал выключателем, пересчитал взглядом лампочки в люстре (не надо ли заменить?). Ни единого звука он при этом не проронил, но вся поза его — выставленная вперед нога и независимое выражение лица — Кирилла Ивановича насторожила.

— Вам что, собственно, нужно? — спросил он.

Сысоев снова попробовал рукой выключатель и сказал:

— Согласно инструкции, — и, еще раз взглянув на портрет, удалился.

«Какая еще инструкция?» — подумал Кирилл Иванович. Он нажал на кнопку в столе и, когда на звонок появилась секретарша Милочка, попросил:

— Людмила Иванна, соедините меня с Агапом Палычем Сипуном.

Следом за Голодубовым и Плетневым появился международник Еланский — задумчивый красавец с настороженными глазами и ласковыми движениями. Рассчитывать на него Кириллу Ивановичу было трудно. Еланский обожал выступать, упивался образностью речи и говорил чаще всего не то, что надо. Высказавшись, он уже ни на что не реагировал. Усмиряя стук распрыгавшегося сердца, он исправлял мысленно свою речь, заменяя в уме «что» на «который» и «адекватный» на «идентичный». Повторного слова он, однако, не брал.

За Еланским подошли Астахов, Бурчалкин и Кытин.

Последним прибежал шумный, как лошадь с водопоя, Шашков. Со стороны казалось, он носит башмаки сорок пятого размера и ломает с одного удара силомер. На деле же он был обыкновенной силы и роста. Но, когда он смеялся, в графинах дрожала вода, а курьерша Полина хваталась за сердце и просилась обратно в деревню.

На Шашкова Кирилл Иванович покосился с опаской.

Тот никогда не говорил «я против». Но зато упирался и шумел: «Я не понимаю!» Так бывало частенько, и в редколлегии родилась новая формулировка: «Восемь человек «за» и один «не понял».

— Товарищи! — сказал Кирилл Иванович тепло, но так, чтобы перед словом угадывалось «младшие». — Товарищи, сегодня мы обсуждаем поступок нашего сотрудника Бурчалкина...

Впечатлительные Голодубов и Плетнев посмотрели на Романа с неодобрением.

Кирилл Иванович помолчал, затуманился и продолжал так:

— Вьюга. Мороз. Кинжальный огонь. Зима сорок третьего.

— Какая зима? — запротестовал Шашков. — Ничего не понимаю!

— Зима сорок третьего, — жестко повторил Кирилл Иванович, отметая рукою непонимание. — И я, молодой курсант, послан в разведку на безымянную высоту... Вьюга! Зима! Кинжальный огонь! И ракеты, товарищи, осветительные ракеты...

— Да, да, ракеты! — подхватили Голодубов и Плетнев.

— И я пошел, — обратился Кирилл Иванович к Роману. — И я дошел. Я вернулся. — Он коснулся груди, дабы удостоверить правдивость факта.

Голодубов и Плетнев восторженно переглянулись и уважительно сложили губы трубочкой.

— А теперь представим себе обратное, — задумчиво сказал Кирилл Иванович. — Я пошел. Но... не дошел. А вернувшись, доложил: «Наступать не обязательно, и, вообще, я поехал в Крым, в ботанический сад. Там теплее!»

Голодубов и Плетнев задвигали стульями. Шашков побагровел, готовясь к взрыву непонимания. Глаза Еланского наполнились радостной отрешенностью. Он придумал эффектное начало к речи и старался его не забыть.

— Сейчас мирное время, — продолжал Кирилл Иванович. — Но мы единым косяком... э... то есть единым фронтом, берем другие, я не боюсь этого слова, высоты. В этом свете я и прошу оценить поступок Бурчалкина... Он пошел, но не дошел, оказавшись в плену — я не боюсь этого слова, — в плену у «гладиаторов», среди ко-

торых, к нашему прискорбию, не последнюю скрипку играет его брат — «козлист» Бурчалкин Станислав.

При слове «плен» на лице Плетнева нарисовался бабий ужас, а Кытин непричастно пожал плечами, как бы говоря: «Все, что у меня есть, — это комплекс».

— Ничего не понимаю! — опрокидывая стул, взвился Шашков. — Какая пурга? Кого взяли в плен? На задании был? Был! Материал привез? Привез... Не понимаю.

Он поднял стул, попробовал его на прочность и уселся, злой и симпатичный.

— Вьюга смешала слово с делом, — содрогаясь от удовольствия, начал Еланский.

Он говорил долго, красиво и неубедительно.

С одной стороны, он был против того, чтобы братья и сестры сотрудников редакции состояли в «гладиаторах» — «это нехорошо!» — но, с другой стороны, он напоминал собравшимся, что «братство бывает разным» и что Авель в отличие от брата был вполне порядочным человеком, «которого вряд ли стоило, товарищи, эдак, знаете ли, убивать...».

— В нашей работе, товарищ Еланский, библейские параллели неуместны, — сказал Кирилл Иванович.— Товарищи, думаю, меня поддержат.

Последние слова он отнес непосредственно к Астахову, но тот продолжал гнуть свою нехорошую линию: непроницаемо молчал и покуривал, сбрасывая пепел в бумажный кораблик.

«Да что они с Сысоевым сговорились в молчанку играть!» — подумал в сердцах Кирилл Иванович и, сердясь уже не на шутку, спросил:

— Может, товарищ Астахов поделится своим мнением?

— Успеется, — сказал тот, гоняя кораблик между ладонями. — Дайте слово Бурчалкину.

— Разумеется! Прошу, — пригласил Кирилл Иванович. — Только одно пожелание: вкратце и по существу.

Роман поднялся.

Астахов жестом показал ему «спокойно!», а Голодубов и Плетнев таинственно перемигнулись, будто приставили к входной двери щетку и теперь ждали результата.

— По существу так по существу, — выдохнул из себя Роман: он заметно волновался. — Не на ту высоту, Кирилл Иванович, вы меня послали.

— Кхм-кхы, — кашлянул Кирилл Иванович и заворочал шеей, будто собирался бодаться.

— Я понимаю, — продолжал Бурчалкин, — Агап Павлович — признанный ваятель, и ему хочется быть первым пожизненно.

— Вкратце и по существу! — напомнил Кирилл Иванович, а сам подумал: «Спятил он, что ли?! Откуда такая смелость? И Астахов молчит, черт бы его побрал! И Сысоев намекал на инструкцию...»

— В этом и есть существо, — сказал Роман. — Из-за чего, собственно, загорелся сыр-бор? Да из-за «Трезубца» Потанина!.. Я сам тому свидетель. Потанин стал поперек дороги, и одолеть его в равной борьбе было ой как сомнительно! Но, к сожалению, возможны, как говорится, варианты... Чтобы стать первым, не обязательно обгонять вторых. Куда приятнее не допустить их к «состязаниям»... Это и надежно, и выгодно, и удобно. Так Агап Павлович и замыслил: напугал честной народ «гладиаторами», и тотчас кивок на Потанина: «Вот он, их «крестный»!»

— Вы отдаете себе отчет?! — с хрипотцой в голосе поинтересовался Яремов. А сам опять подумал: «Откуда такая безответственность? И спроста ли Сысоев к лампочкам примерялся?»

— Отдаю, иначе не стал бы говорить. Глянуть бы вам на этих «гладиаторов»! Это же голубая мечта цирка шапито. По сравнению с ними Бим и Бом — мрачные самураи, обдумывающие житье. Не посчитайте за оскорбление заслушать несколько строк из нового сочинения Максима Клавдина:

Я на работе — гладиатор,
А в агитпункте — агитатор.
Пусть соль на лбу!
Пусть пот рекой!
Но я творец и я новатор:
Кто на доске — тот и герой!

Это же ряженые, товарищи! Им и слова-то другого не подберешь. А они вдруг оказались «гладиаторами»... Я, разумеется, понимаю Агапа Павловича. Ему нужен свой козырь. Даже очень нужен, поскольку талант — дело не наживное: это не опыт, не ум, и рассчитывать, что он придет к тебе вместе с сединой, не приходится...

«Не в мой ли огород?» — разоблачительно вспыхнул Кирилл Иванович.

— ...Но кто же в том виноват? — продолжал Роман, отчего лицо Кирилла Ивановича как-то увеличилось и пошло сыпными пятнами. — Разве это исправишь кампанией против Потанина? Наконец, почему я, журналист, должен помогать Агапу Павловичу?

— Ну знаете! — перебил Кирилл Иванович. — Это, знаете... я даже слов не подберу... Кто же позволил вам так судить о замечательных — не боюсь этого слова! — солнечно-монументальных произведениях Агапа Павловича, горячо любимых всеми...

В это время в кабинете появилась Милочка и, стараясь не цокать каблучками, осторожно направилась к Кириллу Ивановичу. Казалось, она подкрадывается к стрекозе.

— Любимых всеми... э...

— Людьми доброй воли, — поспешил на подмогу обнаглевший Кытин.

— Вот именно, доброй воли... У каждого могут быть сомнения, но если нас кто-то пытается дерзко дезориентировать...

Милочка склонилась к Кириллу Ивановичу, и сидевший ближе всех Голодубов услыхал, вернее, разобрал только четыре сказанных Яремову слова: «собака», «медаль», «улица Веснина»...

Кирилл Иванович оцепенел. Но только на минуту. Три мысли сверкнули в его голове одновременно, как отроги одной и той же молнии: «Не сочтут ли и меня?!»... «Не зря Сысоев!»... и «Немедля отмежеваться!!!» Впервые в жизни он решал впопыхах:

— И если кто-то пытается нас запутать, обвести вокруг пальца, так это Кытин! — выплеснул он в лицо Кытину.

— Как?! Ничего не понимаю! — выпучил глаза Шашков.

— Вы оговорились, — снисходительно сказал Кытин. — Бурчалкин — вы имели в виду, а не Кытин.

— Нет, я не оговорился... Вьюга, мороз...

— Как, опять мороз?! — вскрикнул Шашков. — Не понимаю!

— Да, мороз, — сказал Кирилл Иванович. — Мороз,

вьюга, огонь, — продолжал он с убыстрением. — И человека, прошедшего это, вы пытаетесь обвести, Кытин? Не выйдет! Плохо вы обо мне думаете. Я вас на прочность, милейший, проверял. Мне давно хотелось узнать, откуда у вас Омар Хайям и комплекс неполноценности. Для чего это? Чтобы ввести нас в заблуждение? Или другие далеко идущие цели? Прибежал, понимаете, на своих «коньках» и докладывает: «А у нас «гладиатор» есть!» Что-то я у нас никого босиком не видел. А вы, Кытин, мало что ходите на «коньках», опаздывая при этом на работу, да еще свои рассказы жалобщикам суете. Что, у них своих горестей мало?

Кытин как открыл рот наперекосяк, так и застыл в этой позе, пока во рту окончательно не пересохло, а Кирилл Иванович изловчился и швырнул кытинскую рукопись вдоль стола, сопроводив движение такими словами:

— Боритесь с молью у себя дома, Кытин. Не выдержали вы испытания жизнью... Что у нас следующим вопросом, товарищи?

— Да, что у нас на второе в повестке дня? — спохватился, будто спросонок, преданный Голодубов.

— Заявление Кытина в отношении Белявского, — сказал Астахов, загораживая глаза ладонью.

— Не вижу тут ничего смешного! — Кирилл Иванович старался прикрыть строгостью голоса свое смущение. — Где Белявский?! Почему я его не вижу?

— Он... он все может, — выдавил из себя прибитый Кытин. — Он скрылся. Говорят, его укусила собака... Напряженную тишину разрядил ниагарский хохот Шашкова. Редколлегия поддержала. Слово «собака» проспрягали во всех падежах.

Это был единственный случай, когда Гурию Михайловичу не поверили. А зря...

ПОХИЩЕНИЕ

Это было странно. Дико. Но Белявский не врал. Он действительно был укушен.

С утра пораньше он повез Золотарю давно обещанную

собаку. Звали ее Шарик, но свою кличку она игнорировала.

Пес был огромен, ушаст и, судя по медали, породист. Как и вдовий «ампир», он обошелся Гурию Михайловичу даром, за одно обещание передать в хорошие руки. На этом прежний владелец особенно настаивал, но отдал пса с нескрываемой радостью и прибавил от себя на дорогу батон колбасы.

На прощание Шарик обнажил в зевоте моржовые клыки, щелкнул ими, как затвором, и без уговоров полез в машину.

По дороге к Золотарю Шарик смачно жевал колбасу, вытирал морду о сиденье и дышал на Белявского чесночным духом. Управлять машиной становилось с каждым метром все труднее.

Уповая на капитана Кандыбу, Гурий Михайлович въехал под «кирпич», вывешенный у самого подъезда, и затормозил:

— Ну, Шарик, вылезай! Пойдем прописываться, — развязно сказал он, подбадривая самого себя.

Шарик оглядел незнакомый двор, поднял замшевый нос на «кирпич» и, приняв его сдуру за луну, оглушительно завыл.

— Вот скотина! — выругался Белявский. — Ну чего пасть разинул? Ведь не к скорняку веду.

Он схватился за поводок и дернул. Пес уперся. Белявский поднатужился и потащил Шарика по асфальту, как санки.

«Ну и кобель! — подумал он, обливаясь потом. — Жрать горазд, наверно...»

На верхней площадке пес ощетинился и злобно зарычал.

— Шарик! — крикнул Белявский, пританцовывая. — Фу! Для тебя же, дурака, стараюсь. Там... там колбаса, я тебе обещаю, — добавил он, тыча пальцем в дверь.

Пес не верил. Тогда Гурий Михайлович привязал его к перилам, а сам позвонил.

Дверь открыл Золотарь. Он был в пижаме и с зубной щеткой в руках.

— Ну, Иван Сысоевич, считай себя Мольером! — обрадовал Гурий Михайлович. — Привел я тебе собачку. А как же! Чистый домбер-баскервиль. Медалист, умник,

отличник дрессировки... А как же! Прямо с границы — оттуда, где тучи ходят хмуро.

— Анюта! — взбудоражился Золотарь. — Ты слышишь, Анюта?

— Тсс, пусть будет сюрприз, — сказал Белявский.

Изнемогая от усилий, он подтащил упиравшегося Шарика к дверям и на последнем дыхании пинком перевалил его за порог.

Пес проскочил, но, извернувшись, цапнул Гурия Михайловича за ногу. Белявский ахнул, добавил ушастому пинка дверью и лег на нее грудью.

Из квартиры донеслись глухой грохот, злобный лай и крики: «На помощь!»

Белявский с ужасом уставился на драную штанину и на одной ноге поскакал вниз.

— Дворник! — крикнул он уже из машины. — Зайди к жильцу из пятнадцатой. Он просил...

— От дворника слышу! — огрызнулся дачник-огородник, погрозив вслед машине саженцами.

Но Белявский пропустил это мимо ушей. Наезжая на красный свет и сигналя, как «Скорая помощь», он летел в поликлинику.

Пока доктор осматривал ногу, перепуганный видом крови, Белявский обещал ему квартиру, путевки и устройство родственников в ученики к профессору Нейгаузу.

Так он надеялся заручиться надежным лечением.

Доктор слушал и мрачнел.

— А пес-то здоров? — спросил он недоверчиво и строго.

— Еще бы! Еле ноги унес, — заверил Белявский.

— Вы меня не поняли. Я хочу знать, что за собака.

— А черт ее знает!.. Ушастая, чуть поменьше теленка и, что характерно, с медалью.

— С медалью? — переспросил ординатор и посмотрел Белявскому как-то особенно в зрачки.

— А как же! С золотой... Я даже подумал, не снять ли ее за такое хамство.

— Вы слышите, Мирон Лукьянович? — пониженным голосом заметил ординатор. — Опять собака и медаль... Аналогичный случай. Может, на улицу Веснина?

— Все может быть, — сказал Мирон Лукьянович. — Для начала сорок уколов...

Белявский посинел. По его телу забегали гусиные мурашки.

— Доктор, голубчик, хотите на бразильцев? — запаниковал он. — Или, может, квартиру, а? Окна на юг, в историческом центре...

— Вы слышите, Мирон Лукьянович? — Ординатор отложил шприц и заговорил на тарабарском языке, из которого Белявский уловил только «Сипун», «медаль» и «улица Веснина».

— Не надо! Вы не вправе так ставить вопрос! — истошно заголосил он. — Я автор книг!.. У меня Антон Пахомович... Капитан Кандыба...

— В палату, — тихо скомандовал доктор.

Дюжие санитары с материнской строгостью усадили Белявского в откидное кресло и повезли по кафельным коридорам. Кресло было на резиновых шинах, и несвязные бормотания насчет «связей в ГАИ» воспринимались санитарами как логический бред.

В квартире Золотаря события развивались еще кошмарнее. Двери там были обиты лишь с внешней стороны, и пинок получился на славу. Взбеленившись, пес загнал хозяев в ванную и теперь изгалялся в комнатах, вымещая зло на чем попало.

Иван Сысоевич приложил ухо к дверям и затравленно молчал. Анюта всхлипывала на краешке ванной. Из гостиной доносились плотничий шум, грохот и сухой треск раздираемого полотна. Месть была страшной.

— Ты сам... сам во всем виноват, — корила сквозь слезы Анюта. — Жила бы себе как все. А то трубка красного дерева, а мебель из гнилого пня... Ты... ты сгубил мою молодость!

— Анюта, опомнись! — воскликнул Иван Сысоевич. — В такой час — и личные счеты?

— И приятели хороши, — не унималась Анюта. — Погоди, они льва тебе привезут японского.

— Но почему японского?! — возмутился Золотарь. — Там тигры, дура... Ну никакого духовного роста!

Иван Сысоевич опустил бороду в раковину и напился из-под крана.

— Конечно, дура, — звенящим голосом сказала Анюта. — Вышла замуж, чтобы в ванной куковать!

Золотарь подавился водой и зафыркал. В таких слу-

чаях он уходил обычно в другую комнату или к Инге Драгунской. Но сейчас это было неосуществимо.

— Ну вот что, — сказал Иван Сысоевич, прислушиваясь к шастанью пса в прихожей, — наша совместная жизнь становится невыносимой. Я не желаю иметь с тобой ничего общего!

С этими словами он скинул тапочки, перелез через бортик ванной и задернулся хлорвиниловой занавеской.

Анюта помолчала, а потом громко прыснула в кулак.

— Вот дура! — сдавленно шепнул Золотарь и, скрестив руки, погрузился в размышления о невежестве толпы.

«Гений — звание посмертное», — горевал он, шевеля босой пяткой затычку.

Мысли Анюты были приземленней. Она хотела есть и думала о пироге, оставленном на кухонном столе под салфеткой.

Стасик между тем поднимался по лестнице, напевая:

Меняю комнату в мансарде
На океанский теплоход.

В руках он держал только что заправленное в раму «Бытие и сознание».

Дверь с табличкой «Писатель-драматург И. С. Золотарь» была приоткрыта, а из нее беспомощно торчал язычок английского замка.

Стасик нажал белоснежную кнопку. Раз, другой, третий. В прихожей раздались быстрое шлепанье и заливистый лай. Потом все стихло.

Стасик открыл дверь наполовину и спросил:

— К вам можно?

В ответ послышался бой посуды и скорбный скулеж.

Стасик осторожно миновал коридор и заглянул в гостиную.

То, что он увидел, сильно напоминало картину дореволюционного художника «После обыска»... Косо свесились драные шторы. Запрокинул ножки, как тракторист на привале, ореховый столик. Из шкафа вывалились полки, и по россыпям на полу легко угадывалось, что на них недавно была керамика.

Посреди всего этого безобразия, прямо на куче керамической гальки, развалился усталый щекастый пес. За его спиной, на зеленой в царапинах стене, едва висел на

живой ниточке «Голубой Козел». Стасик сделал шаг вперед и в ту же секунду, как ему показалось, в бельмастых глазах «Козла» мелькнуло злорадное торжество. Мелькнуло почти незаметно сквозь блудливый и гнусный прищур, а пес, как по команде, поднялся и обнажил желтые, будто пемза, клыки.

— Спокойно, — сказал Бурчалкин, загораживаясь «Бытием и сознанием».

Пес махнул по осколкам хвостом, рыкнул и скачком бросился вперед. Стасик попятился и ударил пса «Бытием и сознанием» по голове.

Рама надломилась, но собака отскочила в угол.

Не теряя времени, Стасик прыгнул на середину комнаты и схватился за стул.

Пес залаял и, царапая лапами паркет, изготовился к прыжку. Стасик телом заслонил «Голубого Козла» и выставил впереди себя стул, ухватив его за ножки, как тачку.

— Ну давай! Давай прыгай! — приговаривал он, хотя особого желания на то не испытывал.

Умный пес бил хвостом, страстно лаял, но держался на расстоянии. Помедлив немного, Стасик осторожно снял картину и, прикрываясь стулом, стал отступать по стенке к дверям. Пес учуял маневр и забесновался.

У самого выхода Стасик сделал зверское лицо и замахнулся стулом. Точенная древесными жучками спинка треснула, и сиденье полетело в другую сторону. Пес воспрянул... Но Стасик уже прыжками пересекал прихожую.

Шарик сделал все, что было в его лапах, но успел получить только дверью по голове.

На этот раз удар пришелся в чуткий замшевый нос. Пес озверел и набросился на дверь как на живую. Остаток злобы он переложил на «Павловский ампир», а «Бытие и сознание» разнес в клочья.

Ничего этого Золотарь не слышал. Распря в ванной не затихала, и утомленный междоусобицей драматург включил душ. Проливной теплый дождь заглушал посторонние звуки.

Выскочив на улицу, Стасик забегал вдоль тротуара, подавая знаки встречным машинам.

Картину он решил сбыть немедленно.

Втиснув «Голубого Козла» на заднее сиденье, он велел таксисту ехать в комиссионный магазин «Антиквар».

У входа в комиссионный толпились ленивые дневные зеваки. Образовав в дверях затор, два грузчика-садиста пропихивали в магазин парус-полотно с римско-греческим сюжетом. Зеваки восхищались размерами полотна, гадая, сколько оно может стоить и пропустит ли его дверь.

Полотно протиснулось, разочарованные зеваки разошлись, и Стасик проследовал через выставочный зал в узкий аппендикс, где сидел Ян Пшеничнер и оценивал приносимый товар. В руках у него была большая микробная лупа, через которую он смотрел одним глазом на картины, а другим изучающе косил на клиента. Назвав сумму, он прятал лупу в карман халата и откидывался всем телом назад, как бы избегая пощечины.

«Янчик — наш человек! — сказал сам себе Стасик. — Надо подождать, пока лишние удалятся, и — к делу!»

Он незаметно пристроился за углом и, чувствуя приятное томление под ложечкой, стал продумывать программу вечера.

Парадный ужин в «Берлине» возле рыбного фонтана. Он, Роман и Карина. Крахмальные пирамиды ресторанных салфеток. Серебряное ведерко с колотым льдом. Непринужденный обмен золотыми кольцами. Поздравительная открытка Герасиму.

«Открытку лучше послать с видом Новодевичьего монастыря, — подумал Стасик. — Туда ему и дорога».

Янчик тем временем освободился. Последний посетитель ушел от него, бормоча неясные угрозы куда-то жаловаться.

— Ну вот и свершилось! — сказал Стасик, появляясь в аппендиксе с торжественностью адмирала, поднимающегося на палубу, чтобы принять парад. — Свершилось, Янчик! Можешь меня поздравить...

— С чем, Стася? Тебе прибавили жалованье или сняли выговор?

«Ну выдержка! — мелькнуло у Стасика. — Силен, надо отдать ему справедливость».

— С твоим хладнокровием, Янчик, только капканы на песца расставлять, — похвалил он. — Но на меня это как-то не действует. Меньше пятнадцати тысяч можешь мне и не предлагать. Итак... Але оп-па! — и повернул «Голубого Козла» лицом к Пшеничнеру.

Ян вынул из халата лупу, потом опять спрятал, снова

достал и, поигрывая ею, как кастетом, едким голосом переспросил:

— Пятнадцать тысяч?! Ты всегда так смеешься? У меня все-таки трое детей и все...

— ...И все едят, как инспектор на именинах? Знаю.

— Нет, ты не знаешь самого интересного — я тебе и пяти рублей не дам... Во-первых, у нас тут, извиняюсь, не клуб шоферов: копий мы на стенку не вешаем. А во-вторых, тебе известно, что такое отвар от куриных яиц? Так вот, этот «бульон» я наварил на подлиннике. Взял за пятьсот и отдал за пятьсот, пока не поздно. Головную боль я имел с «Ко́зла». Голубое теперь, как вам это понравится, в Париже не модно, а у меня по-прежнему трое детей и Русланчик ходит в музыкальную школу.

— У меня тоже неплохой слух. Но я так и не разобрал, что ты пролепетал насчет «копии». Вот же подлинник! Живой. Нецелованный!

— Ну так можешь его поцеловать! Подлинник — гори он огнем вместе с модой на голубое! — прошел через меня еще в пятницу.

— В какую еще пятницу?! Послушай, Янчик, ты даже не представляешь, как я люблю сказки Андерсена. Но двух подлинников в природе не бывает.

— Вот именно! Ты же умный человек, Стася. Зачем же ты делаешь из меня идиота?

— Да, я умный. Очень умный! — сказал Стасик, сатанея. — И если ты, Янчик, мне врешь, тебя не найдут даже в эту лупу. У кого ты купил «подлинник»? Когда?

Ян посмотрел на Стасика и понял, что тот выполнит обещание насчет лупы, невзирая на музыкальность Русланчика.

— Зачем такое лицо, Стася? Не смотри на меня так, пожалуйста... Одну минуту... Разве я могу врать? — забормотал он, роясь в картонном ящичке с квитанциями.— Вот, пожалуйста... Приобретено у товарища Белявского Г. М. ...двадцать восьмого июня.

У Стасика словно оборвалось что-то внутри. Все еще отказываясь поверить, он взял негнущимися пальцами бумажку и прочитал: «Белявский Г. М. 28 июня».

На улицу Стасик вышел, все еще прижимая картину локтем. В голове было сонное затишье. Улица казалась ему лесной просекой. Прохожих он не замечал.

Ноги несли его автоматически.

Очнулся он на набережной. Дул ветер. К реке сбегали ровные, как пастила, ребристые ступени.

Стасик спустился к воде и присел, обхватив руками колени. Повеяло сырой прохладой. На воде приплясывали солнечные блики. Стасик зажмурился.

Он сидел долго. Перед глазами, словно мухи, проносились видения суматошной погони... Мельтешил над чучелом Тимур Артурович, бился в пьяной чечетке Василий, вскидывал босыми ногами Лаптев, убегал от расплаты Белявский, мчался с ведрами Мотыгин, задыхался в табачном дыму Золотарь...

«Бега», — подумал Стасик.

Волны с чавканьем бились о гранит. Тишину над рекой распорола гармошка. Показался катер с массовкой.

Стасик поднял «Голубого Козла» и с размаху швырнул в реку.

— Что же, одолжите мне вашу улыбку, — сказал он. — Я сделал все, чтобы жизнь была прекрасна... Но пока она только удивительна.

Катер приближался. Смех и топот на палубе усиливались. Волны шли своим чередом.

●



Джубан МУЛДАГАЛИЕВ

ОКРОВАВЛЕННЫЙ ЛИСТОК

На фронте
Крепкой дружбе рады:
Мела свинцовая пурга,
И мы отстреливались рядом
От нападавшего врага.

Смертельной оказалась рана
Тогда у одного из двух...
— Возьми бумагу из кармана! —
Сказал мне, умирая, друг.

Измят, но аккуратно сложен,
Завернут в крохотный платок,
Знать, другу был
Всего дороже
Тот окровавленный листок.

«Живу надеждами согретый
И к роднику храню любовь.
За край свой, за его рассветы
Отдам дыхание и кровь.

Пусть над землею ныне мглисто,
Живу, от мрака свет храня,
А коль погибну, коммунистом
Считайте, значит, и меня!..»

Вот несколько неровных строчек,
Что я прочел при огоньке
На том
Завернутом в платочек,
На окровавленном листке.

Перевел с казахского Вл. Савельев

Турсынхан АБДРАХМАНОВА

ДОТ

О, Бородинское поле!
Я пред тобою стою.
Сколько и крови, и боли
Пало на долю твою.

Пламя, мешаясь с землею,
Застило свод голубой.
Жизнь обращалась золою,
Смерть обращалась судьбой.

Холм с провалившейся пастью —
Полуразрушенный дот —
Грозным военным ненастьем
Душу мою захлестнет.

Снова о долге напомнит,
О беззаветной любви.
Родина.
Светлые полдни.
Дот, обагренный в крови...

Перевела с казахского Т. Кузовлева

Кадыр МУРЗАЛИЕВ

ГОРИЗОНТ

Родная степь! Разлука с ней нелепа,
Особенно когда простор в цвету.
Холмов и гор не признавая, небо
Уткнулось в горизонт, в его черту.

В нее мы верим,
Как ребенок в чудо,
Иным годам предпочитая миг.
Стирая горизонт, не зря отсюда
Выходят люди в космос напрямик.

Перевел с казахского Вл. Савельев

Утеген КУМИСБАЕВ

ТРИ ТОПОЛЯ

В долине, где во всем великолепье
Шумит листва, гордясь своей судьбой,
Ты снишься мне живым —
Стоят над степью
Три тополя, взращенные тобой.

Как сыновья твои крепки и рослы,
Они входили в силу не тайком.
Сменялись зимы, осени и весны,
Шептались листья с летним ветерком.

Тянулось детство к бесконечной сини
Под четкий стук мальчишеских сердец.
Три тополя
Да вот четыре сына
Осиротели без тебя, отец...

За нами мать ухаживала робко,
На семерых заботу разделя.
Жизнь проложила в мир
Четыре тропки —
Но неразлучны с мамой тополя!

...И вновь домой
Стремлюсь с перрона прямо,
От тополей не отрывая глаз:
Как будто ты воскрес, воскресла мама,
А третий — это кто-нибудь из нас.

Перевел с казахского Вл. Савельев

Надежда ЛУШНИКОВА

ГДЕ МОЕ СЧАСТЬЕ?

Счастье,
Где прячешься ты?
Там ли, где солнышко греет,
Там ли, где степь зеленеет,
Взгляд обжигают цветы?

В почках ли, где лепестки
Скрыты до первого взрыва,
В ветре ли, неторопливо
Веющем возле щеки?

Или в зерне золотом —
Первенце хлебного поля,
В песне, звенящей на воле,
В голосе ли молодом?

Иль в расколовшей зенит
Дерзкой и радостной птице?
В стуже, румянящей лица,
Может, секрет его скрыт?

Может, в любимом моем,
Может, в едином дыханье,
Может быть, на расстоянье —
В дальнем ауле родном?

...Вопросов водоворот.
А счастью
Нужны для полета
Знание и работа.
И счастье само придет.

Перевела с казахского
Т. Кузовлева

Фариза УНГАРСЫНОВА

●

Где вы, яростные аргамаки, в каких вы степях теперь?
Рассыпан по площади стук копытный,
гулкий, словно шрапнель.
Меня в аул любовь заманила, степная любовь опять,
как мне на бешеном аргамаке
по площади не помчать?

Брат дорогой!
Для меня вороного ты приготовь с утра,
и я помчусь через степь глухую,
опередив ветра.

Я устала в огромном городе! Дайте мне скакуна,
седло, подбитое знойным ветром,
серебряные стремена!

И осыпает от гула скачек
листья лучей рассвет,
и я моложе от этих скачек сразу на десять лет!

Оставь полукровку!
Дай вороного, чтобы во весь опор
перечеркнуть эту даль степную,
как неба даль — метеор.

СТЕПНАЯ МГЛА

Вот брожу одна я ночью темной —
так светло в моей душе влюбленной.
Ветерок, как будто ручеек,
прячется в густой траве укромной.

Из рассвета — белые цветы,
темные цветы — из темноты.
Белое, нетленное сиянье,
из цветов
вошло мне в душу ты.

Как прекрасна ночь моя степная —
вверить все мечты тебе должна я.
Ночь, ты словно майский душный сад,
где цветы от края и до края.

Собираю я в букет зарю,
со своей мечтой я говорю.
Песни,
что у сердца я взрастила,
степь, тебе от всей души дарю.

Перевел с казахского Владимир Цыбин



Михаил БЕЛЯЕВ

●

Где лежат в этом мире волненья?
Кто искал их, себя не щадя?
Проклинаю в пути опасенья,
Как пустыни без капли дождя.

Что в них, кроме взлетающей пыли?
Взгляд скользит
И тускнеет,
Как пыль.
Неужели ростки не всходили
И не бился под ветром ковыль?

Неужели все стихло, угасло —
Не достать
Тех весенних глубин,
Где так зелень волнуется властно
И покоя не ждешь,
Как седин?

Неужели отныне не сбросить
Все, что руки и сердце мертвит,
Не сорвется, как яблоко, осень,
Соком
Празднично
Не прозвенит?

Как хочу я к такому застолью,
Чтоб рвануться —
О всем позабыть
И, как светом, нечаянной болью

Каждый взгляд,
Каждый вздох оживить.

●

Раскручиваясь, ландыши пошли.
Скворцы гоняют по деревьям белок.
О женское движение земли —
С цветами сравнивать
Свое святое тело!
Стоишь, смущен...
А кажется, на ней
Все примелькалось,
Все давно известно.
Но колыхнулась грудью по весне —
И нет земли,
Опять пришла невеста.
Тебе в тиши открылась одному.
И замечаешь
Тонкости такие,
Что снова удивляешься всему,
Как будто землю увидал впервые.

Родных встречаешь посреди чужих,
Все зная,
Снова ничего не знаешь,
Цветы находишь
И теряешь их
И вновь к цветам
С улыбкой привыкаешь.
Раскручиваясь, ландыши пошли,
И травы наполняются их духом.
Цветы встречая,
Медленно шмели
Летают,
Словно ходят друг за другом...

●

Кукушка свой раскачивает голос:
Он глух пока,
Он словно из трубы.
От гнезд грачиных липа раскололась.
Блестят орешками
В сырых пеньках грибы.

Пеньки замшелые совсем ослабли:
Чуть ковырнешь —

И задымят трухой.
Садясь,
Стучат, как дождевые капли,
Коровки божьи по листве сухой.

Еще травинок всход зеленый зыбок.
Но сколько новой видится красы!
Вон изо всех дуплищек в старых липах
Торчат скворцов
Белесые носы.



Лоик ШЕРАЛИЕВ

●

Будьте счастливы, милые люди!
Я желаю вам верных друзей.
Пусть венчают спокойные будни
торжество ваших праздничных дней.

Не морщины, а лучшие миги —
вот что ближе и памятней нам.
Словно в зеркало — в детские лики
надо нежно глядеть по утрам.

Ну, а если печали — так что же?
Соберись и достойно терпи —
и земля подчиняется дрожи,
возникающей где-то внутри.

Никакой не откроется тайны
из моих поэтических уст,
что без молота нет наковальни,
что велик этот вечный союз.

Славлю звон рокового удара —
для того и дано бытие,
чтобы выковать тело кинжала
или бренное счастье свое!

ЗЕМЛЯ

Мать-земля не спит ночами,
чтобы спали дети,
чтоб стояла, как в Начале,
тишина на свете.

Беды сыновей уносят,
косят самых верных.
Ветер налетит и сбросит
плод, созревший первым.

Кто-то для земли, как мука,
кто-то — как отрада.
Для кого-то скрежет плуга
лучше звона злата.

Но молчит она и терпит
все земные драки,
хоть ее ввергают в трепет
танковые траки.

Ждет осенней непогоды,
ждет весенней кожи...
Мать-земля людского рода
старше и моложе.

Мы в земном саду — деревья —
тихо вырастаем,
листья нежного доверья
молча осыпаем.

На земле живут для жатвы
и бахча, и улей...
Нам не стоило смущать бы
всех ее раздумий.

●

Тот, кто знает землю эту,
знает истину одну,
тот, подобно почвоведу,
уважает тишину.

Сколько всевозможных шрамов
на земле и сколько ран!
Словно бы из ветеранов
это главный ветеран.

Кто ее сильнее любит?
Тот, кто гибнет за нее.
Он ее, обняв, целует
и впадает в забытье.

Древней верностью крестьянин
верен матери-земле.
Он, любовью этой ранен,
к ней выходит на заре.

Каждым утром я отныне
ей, видавшей столько зла,
приношу воды в кувшине,
спрашиваю: «Как дела?»

КОЧЕВНИКИ

Уют для жилья и ночлега —
вагончик передвижной.
Кочевники нашего века —
упрямый народ молодой.
Дощатый настил...
Раскладушка...
Да тяготы,
что впереди.
А что еще юности нужно?
Лишь только сознанье пути.
Кочуют,
кочуют,
кочуют
подвижных вагонов стада,
в пустыне и в тундре ночуют,
закладывают города.
Но как только город отстроят,
опять — к колесу колесо —
уходят вагончики строем
куда-то совсем далеко.
Рождаются дети в дороге,
а жизнь все течет и течет...
Нельзя усидеть на пороге,
когда тебя юность влечет
туда, где метель распевает,
где зной или где холода...
Где жизнь за собой оставляет
построенные города.

Перевел с таджикского
Ст. Куняев

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ЖУРНАЛА

Валерий ГАНИЧЕВ,
кандидат исторических наук

ПЕРВЫЕ ГОДЫ

В мае 1922 года был создан ежемесячный литературно-художественный и научно-популярный журнал ЦК РКП(б) и ЦК РКСМ «Молодая гвардия», который сыграл важную роль в деле коммунистического воспитания молодежи, в борьбе за становление социалистического искусства и литературы.

Издание было рассчитано на широкие массы образованного читателя, молодого рабочего, студента, интеллигента. Его организаторы писали в «Правде»: «Мы — рекруты коммунизма. Под руководством кадровых солдат революции мы в историческое «сегодня» продолжаем великое дело, начатое в историческое «вчера». В борьбе с нашими основными недостатками, в борьбе с незнанием, неумением, некультурностью — наша основная задача. Мы хотим стать органом революционного воспитания, идейно-политического вооружения молодых отрядов рабочего класса.

Позор тому, кто уклоняется от скучной работы революционных будней. Позор тому, кто своей повседневной кропотливой работой не подготавливает великий праздник бурь и обновления. Таковы задачи, которые ставит себе недавно вышедший журнал «Молодая гвардия» — орган ЦК РКП и ЦК РКСМ» (№ 1—2, 1922).

Это была эмоциональная декларация-программа. Ее продиктовало само напряжение идеологической борьбы того времени, а отсюда — необходимость углубленной подготовки и обучения комсомольского актива, помощи каждому молодому человеку, вырабатывающему марксистское мировоззрение (на рабфаке,

в вузе, политкружке, клубе и т. д.). Эти задачи и были возложены на новый молодежный журнал широкого профиля, к работе в котором были бы привлечены лучшие литературные, партийные и научные силы.

Появление столь необычного журнала — органа ЦК партии и ЦК комсомола — было вызвано серьезными попытками свергнутых классов выступить против Советской власти на сей раз в области идеологии. Белогвардейская эмиграция организуется во всевозможных союзах, за границей начинает издаваться множество антисоветских газет, журналов, книг и брошюр. Внутри страны появляются активно действующие объединения и группы, которые, подобно сменовеховцам, пытаются активно содействовать «взрыву изнутри». Буржуазные элементы начинают активно использовать нэп в своих интересах. В одной только Москве в 1921—1922 годах возникло 220 частных издательств, в некоторых из них контрреволюция пыталась внедрять свои идеи. Многие созданные в те годы журналы и альманахи, проповедуя пессимизм, порнографию и мистику, открыто повели антисоветскую, антипартийную линию. Журнал «Мысль», издававшийся в Петрограде, был «журналом самой разнузданной поповщины» (А. Бубнов). «Россия», «Новая Россия» открыто выступили против идей Октября. Со страниц издания «Вестник литературы», «Летопись Дома литераторов», «Жизнь», «Начало», «Русский современник» озлобленно брюзжали на новые порядки люди, не принявшие революцию.

Советская власть ответила на этот вызов. Деятельность буржуазной интеллигенции пресекалась, вплоть до высылки за границу наиболее активных ее лидеров: Бердяева, Франка, Степуна, Изгоева, Осоргина, Прокоповича, Кусковой и др. Закрывались буржуазные издания, ибо нельзя было «...к бомбам Каледина добавлять бомбы лжи» (В. И. Ленин). Владимир Ильич сам набросал проект параграфа Уголовного кодекса о суровых репрессиях за пропаганду и агитацию в помощь международной буржуазии.

Партия в это время мобилизовала все свои резервы на борьбу с враждебной идеологией. В августе 1922 года XII партконференция РКП(б) приняла резолюцию об антисоветских партиях и течениях, в которой говорилось: «Антисоветские партии и течения систематически пытаются превратить сельскохозяйственную кооперацию в орудие кулацкой контрреволюции, кафедру высших учебных заведений — в трибуну неприкрытой буржуазной пропаганды, легальное издательство — в средство агитации против рабоче-крестьянской власти и т. д.». Поэтому необходимо было противопоставить этому сплочению активные меры идейного воздействия на массы и, в частности, на молодежь. А возможности для этого были невелики. Переход всей бумажной и полиграфической промышленности

на хозрасчет больно ударил по комсомольской печати. Количество газет и журналов намного сократилось. В 1922 году выходило всего 45 комсомольских газет и 10 журналов. (Сравните, в 1971 году выходило 226 молодежных газет и журналов.)

Поэтому появление «Молодой гвардии» оценивалось тогда как огромное завоевание.

В Отчете V Всероссийскому съезду ЦК РКСМ, уже в октябре 1922 года подводя итоги по первым пяти номерам, отметил, что «журнал сразу завоевал симпатии читателей, и весь тираж его расходится без остатка. Некоторые номера выпускаются даже вторым изданием».

Анализ показал, что то направление, которое взял журнал, обеспечило ему «подготовленную аудиторию», «основные кадры подписчиков — это комсомольцы, различные учебные заведения, рабочие клубы и библиотеки, учреждения наркомпроса и военного ведомства».

Уже в первых номерах журнала наметилось четыре главных направления. Это пропаганда марксистско-ленинской теории, освещение внутрипартийных дискуссий; материалы для самообразования и его методика; освещение, или, как тогда писали, «проработка», вопросов юношеского движения и художественная литература. Позднее художественная литература, публикация прозаических и поэтических произведений, литературная критика стали главными в журнале.

В первых номерах журнала обратили на себя внимание теоретические статьи по вопросам марксизма-ленинизма, публицистика и материалы о современном международном положении, публиковавшиеся в разделе «Современная жизнь» и «Общественные науки». Именно здесь выступали видные деятели партии и Советского государства Е. Ярославский, В. Бонч-Бруевич, Г. Чичерин, Н. Крупская, М. Калинин и др., печатались их речи и выступления.

Журнал давал политическую ориентировку комсомольскому активу, разъяснял позиции, которые в то время занимали Советская республика, партия большевиков по важнейшим внутренним и международным вопросам. Показателен в этом отношении первый номер за 1923 год, в котором излагались история происхождения, развития и перспективы будущего «Красного интернационала профсоюзов», печатались статья Е. Ярославского «Международное положение РСФСР в 1922 году», статья «Мертвая точка пройдена» о развитии советской торговли, статья «Об итальянском фашизме». Тут же Ф. Кон разъяснял значение IV конгресса III Интернационала: «Все секции Коминтерна, коммунистические партии всего мира — это лишь часть единого целого, руководимого единым центром, контролирующим их действия, выпрямляющим их такти-

ческую линию, дающим правомочные указания. Коминтерн это не федерация партий, а осуществление грез К. Маркса — единая рабочая международная организация».

Оценка самых злободневных международных событий была дана А. Лозовским, выступившим с несколькими статьями в журнале под общим названием «Лозанна, Рур и наша тактика». Это была боевая, острая, оптимистическая публицистика.

Заслугой журнала, безусловно, было освещение жизни и деятельности В. И. Ленина, популяризация его идей. Особое место занял номер, посвященный Владимиру Ильичу (№ 2—3, 1924).

Пытаясь мысленно охватить путь развития художественной Ленинианы, понимаешь, что все связанное с ней — это непрерывный поиск и прежде всего поиск той идейно-эстетической позиции, с которой можно было отразить все величие Ильича, громадную значимость его идей и вместе с тем его неповторимое человеческое обаяние. Это в одинаковой степени относится как к прозе, так и к поэзии.

Во втором-третьем номерах выступили со своими впоследствии ставшими хрестоматийными стихами В. Маяковский — «Комсомольская», А. Безыменский — «Партбилет № 224332», Н. Асеев — «Реквием». Тут же со стихами выступили А. Жаров, М. Голодный, М. Герасимов, И. Доронин и др.

Надо сказать, что сразу же после кончины В. И. Ленина появилось множество произведений, посвященных вождю пролетариата. Но следует отметить, что это не было художественным первооткрытием. Это скорее было продолжением литературной традиции, зародившейся сразу же после революции. Ибо никогда еще не было такого политика, который еще при жизни вызвал бы к себе столь пристальное внимание деятелей искусства. Вовлеченные в кипящий водоворот событий, сами ставшие не только их свидетелями, но и непосредственными участниками, литераторы-реалисты поднимали коренную проблему тех лет: Ленин и народ. Для героев из народной среды имя Ленина становится символом воплощающейся мечты, идеалом для подражания, аргументом в споре с противником. К имени Ленина обращаются герои произведений Вс. Иванова («Бронепоезд 14-69») и Л. Сейфуллиной («Перегной»), П. Замойского («Письмо Ильичу», «Из кривых озер») и С. Семенова («Бывший»), В. Шишкова («Диво дивное») и А. Неверова («Ленин») и др. В этих произведениях еще не было непосредственного изображения Ленина, но именно ленинская тема, тема большевизма, тема революции, кровно связанной с именем Ильича, определила их идейное содержание и была воспринята как традиция, требующая продолжения и углубления.

Не последнюю роль в пропаганде личности вождя, его живот-

ворных идей сыграла мемуарная Лениниана, выступления его друзей и соратников, раскрывающих значение ленинских взглядов для современности.

Во втором-третьем номерах «Молодой гвардии» за 1924 год о жизни Владимира Ильича в Казани рассказала в своих воспоминаниях его сестра А. Елизарова. С яркими воспоминаниями выступили В. Бонч-Бруевич, С. Орджоникидзе, В. Карпинский. Очерки и заметки о Ленине написали А. Луначарский, Н. Семашко, Ф. Ротштейн и др. «Молодежь должна учиться у Ленина» — так называлась статья Г. Чичерина.

В разделе «Теория и практика пролетарской революции» были помещены статьи М. Калинина «Что завещал нам тов. Ленин в коренных вопросах революционной борьбы», М. Покровского «Ленин в истории русской революции», Ф. Кона «Колониальный вопрос и В. И. Ленин» и др.

В последующих номерах (№ 4—8) было организовано «Ленинское приложение», где давались материалы о ленинизме, библиография ленинских сочинений, продолжалась публикация воспоминаний о Владимире Ильиче. Любопытными представляются «Схема фронтов РКП» (список сочинений Ленина для кружков по изучению ленинизма) (№ 4, 1924), обзор библиографических указателей по ленинизму (№ 6, 1924). В интересном разделе «Как мы пришли к коммунизму» говорилось о том, как облекались в реальность многие положения научного коммунизма, показывалась неизбежность, неотвратимость революционной победы, приближение к марксизму через борьбу с несправедливостью и гнетом. Эти материалы утверждали традиции старой гвардии большевиков.

К сожалению, некоторые статьи, посвященные ленинской теме, были написаны с позиций, которые предопределили их ошибочность. Так редактор журнала Л. Авербах в статье «Вопросы юношеского движения и Ленин» сделал явно ошибочный, вульгаризаторский вывод: «Владимир Ильич сталкивался с юношеским движением чрезвычайно редко». Противопоставляя школу трудовому процессу, он заявлял, что для пролетарской молодежи главным является «труд, а не ученье», совершенно игнорируя при этом ленинскую речь на III съезде РКСМ.

Следует сказать, что симпатии Л. Авербаха были на стороне Троцкого и журнал фактически ни разу не выступил с критикой троцкистских взглядов. Лишь после ухода Л. Авербаха в журнале были помещены статьи И. Сталина «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов», Н. Варейкиса «Исторический смысл нового выступления Троцкого», статья «Еще одна ревизия ленинизма» (№ 1, 1925) и др.

Стремясь утвердить и продолжить боевые и революционные тра-

диции нашей партии, «Молодая гвардия» уже с первых номеров в разделе «Из прошлого» публикует материалы о революционном подполье, битвах гражданской войны, о борцах революции. В четвертом-пятом номерах за 1922 год, например, повествуется о том, как строились подпольные организации, как ставилась типографская техника, организовывались паспортные бюро, перевозка материалов за границу. В статьях Н. Авдеева «В кровавом омуте», Л. Ступоченко «Взрыв в Леонтьевском переулке», Б. Зофа «Из истории флота прошлого и настоящего», В. Бонч-Бруевича «В. В. Воровский» раскрывалась вся трудность, героика борьбы революционеров, разоблачались кровавые преступления контрреволюции и ее приспешников. Особое место занимали историко-биографические материалы о видных борцах за свободу, оценка вклада, который внесли они в дело революции. Характерны в этом отношении статьи «Декабристы» (№ 4—6, 1923), «Дидро как философ», «П. Лавров о роли партии в пролетарской революции» (№ 4—5, 1923), «Из истории русской революционной мысли 60-х годов» (№ 4, 1924), «Август Бебель», «Вильгельм Вейтлинг» (№ 6, 1923), «Людвиг Фейербах» (№ 1, 1923) и др.

Фактически молодому читателю представлялась картина революционного движения, его философского осмысления, анализ ошибок и заблуждений отдельных революционеров, исходя из существовавших в то время концепций и оценок.

Характерна в этом отношении оценка П. Лаврова, известного теоретика народничества, данная на страницах журнала в 1923 году. Как бы обращаясь к соглашателям, предавшим революцию, журнал писал: «Лаврова — субъективного социолога, Лаврова — кантианца, наконец, Лаврова «Исторических песен» бери себе, ибо сданное в архив за негодностью пролетариату не нужно. Но Лаврова-революционера, Лаврова — автора «Парижской коммуны» не смей касаться ...не смей касаться Лаврова-революционера, ибо он проклял твоих духовных родителей по части предательства... дав великий завет пролетариату: «Первый твой долг после твоей победы — раздавить эту соглашательскую змею».

Основной, очень важный, по мнению автора, вывод, который сделал Лавров, это: «Необходимость железной партии, организованной, вышколенной до революции». В журнале, исходя из ленинских положений, подводится итог: «...Мы наследники всего того лучшего, что есть не только у Маркса, но у каждого честного, преданного пролетариату революционера-социалиста».

Такие статьи имели первостепенное значение в становлении марксистско-ленинского мировоззрения молодежи, показывали диалектику развития марксистской философии, источники и составные части марксизма, противоречия, которые преодолевала революцион-

ная мысль. Учитывая спекулятивную фразеологию, рассчитанную на молодежь, которой пользовались еще остатки меньшевиков и эсеров, журнал немало места уделял разоблачению представителей мелкобуржуазных партий, их идеологии и политической двурушнической практики. Важными в этом смысле были статьи М. Н. Покровского «Путь социалистов-революционеров» и Н. Попова «К итогам С-Р-ого процесса».

М. Н. Покровский, вскрывая истоки мелкобуржуазной идеологии в период революции, писал: «Врачи, инженеры, адвокаты, журналисты, вольноопределяющиеся, которые в довоенных условиях жили совершенно обывательской жизнью и не претендовали ни на какую роль, сразу оказались теперь представителями целых корпусов и армий и почувствовали себя вождями революции. Эти элементы относились с крайним высокомерием к нам, ...которые выдвигали социальные требования рабочих и крестьян со всей остротой и непримиримостью. В то же время мелкобуржуазная демократия под высокомерием революционного выскочки таила глубочайшее недоверие к самим себе и к той массе, которая подняла ее на неожиданную высоту. Называя себя социалистической и считая себя таковой, интеллигенция относилась с худо скрываемой почтительностью к политическому могуществу либеральной буржуазии, ее знаниям и методам». «Отсюда, — продолжал автор, — и стремление к коалиции с либеральной буржуазией плюс теоретическое оправдание в учении меньшевиков о том, что настоящая революция есть революция буржуазная». Так сложился блок социалистов-революционеров и меньшевиков, в котором находили отражение и политическая половинчатость, и вассальные отношения к капитализму.

Летом 1922 года в Москве состоялся судебный процесс над лидерами эсеровской партии. Был вскрыт чудовищный клубок преступлений, разоблачены перед всем миром особенности эсеровской контрреволюционной тактики.

«Партия эсеров, — говорилось в постановлении ВЦИК, — пропитывается двойственностью, лживостью, лицемерием; фактически подталкивает к убийствам и организует их, официально отказавшись от них; поддерживает, питает, организует каждое движение против советского строя, из каких бы черносотенных источников оно ни исходило, не беря на себя открыто ответственности.

Если восстание терпит крах в самом начале, эсеры пытаются сохранить видимость нейтралитета; если же движение разрастается, как в Тамбовской губ., Кронштадте (1921), и обещает видимость успеха, партия эсеров пытается возглавить его».

Выступая на этом процессе, известная немецкая революционерка Клара Цеткин сказала: «Здесь дело не в споре между политиче-

скими учениями о том, кто прав. Здесь стоит класс против класса, пролетариат всего мира против буржуазии... революция против контрреволюции».

В статье Н. Попова, опубликованной в «Молодой гвардии» (№ 4—5, 1923), раскрывалась контрреволюционная деятельность ЦК партии эсеров, их союз с белочехами, с белогвардейцами в Уфе, Архангельске, Самаре, организация провокаций в Кронштадте, на Тамбовщине и показывалась вся бесперспективность, лживость, обреченность дальнейшей политики этой партии.

Журнал «Молодая гвардия» уделял немало внимания вопросам юношеского движения.

Статьи эти четко распределились по двум разделам: а) проблемы и деятельность всесоюзного комсомола; б) деятельность КИМа и зарубежных коммунистических союзов молодежи.

Причем, если в первые годы (1922—1923) деятельность всесоюзного комсомола освещалась журналом нерегулярно, касаясь больше исторического прошлого (редакционная статья «Предшественники комсомола» и «Детские годы комсомола» Оск. Рывкина в седьмом-восьмом номерах за 1923 год) или развития школы рабочей молодежи (№ 3, 1923), либо деятельности рабочих подростков в московских профсоюзах (№ 7—8, 1923), то с 1924 года материалы о всесоюзном комсомоле стали более регулярны и разнообразны.

Помещается большая статья О. Тарханова «За двадцать месяцев» — отчет между V и VI съездами РКСМ (№ 5, 1924) и выступление секретаря ЦК РКСМ А. Мильчакова «О задачах воспитания РЛКСМ» (№ 7, 1924).

Особое место в журнале было отведено работе комсомола в деревне. Не обойдено вниманием и детское движение.

Значительно большую журнальную площадь занимали материалы о деятельности КИМа и борьбе союзов молодых коммунистов капиталистических стран. Однако, как отмечалось в статье «Новый этап» в десятом номере 1925 года, «юношеский отдел не развернулся в такой форме, как это предполагалось». В будущем этому разделу журнала еще предстояло выявить свое лицо и завоевать признание комсомольского актива.

Революция среди других важных и неотложных проблем выдвинула проблему формирования нового человека. Поэтому-то вопросы личностные — этики, морали и быта — необычайно волновали молодежь. Этот интерес нашел свое отражение и на страницах журнала. Необходимо было утвердить новые отношения, поддержать то, что поистине было важным и значительным для нового общества, внимательно рассмотреть и отбросить все псевдореволюционное, прикрытое оболочкой модной фразы. Работа эта была сложная и в то же время тонкая.

В годы гражданской войны молодой пролетариат брал винтовку и шел защищать рабоче-крестьянское общество и вместе с тем боролся за освобождение пролетариата всех стран — в этом было высшее проявление морали. В годы нэпа мещанская, мелкобуржуазная обстановка засасывала наименее стойких, действовала на них разлагающе.

Нельзя преуменьшать сложность и внутреннюю, нравственную остроту борьбы с мещанством. Это социальное явление — порождение мелкобуржуазной идеологии, подобно хамелеону, многолико. Мещанство умело маскируется под передовитость, манипулируя и прикрываясь псевдореволюционной фразой, оно пролезает в душу, в быт человека одному ему ведомыми путями, потакая человеческим недостаткам и слабостям, приглушая смелые и сильные черты личности. О мещанстве немало говорилось и писалось еще до революции, но каждый новый исторический этап давал новую окраску этому явлению, инстинкт самосохранения прививал новые черты. И все это — объективно — во имя одной цели — «поворотить реку вспять», перестроить каре революционной молодежи так, чтобы штыки торчали не наружу, а внутрь, чтобы водораздел между людьми лег в каждом доме, предприятии, деревне, чтобы стабильным оставалось только одно — жизнь, отгороженная от жизни, которая и представлялась мещанину счастьем. В журнале справедливо отмечалось, что мещанство «не убьешь винтовкой и штыком», для борьбы с ним нужно «марксистско-ленинское мировоззрение», которое поможет во всеоружии подойти ко всякому общественному явлению, и «здесь, — писал журнал, — кроме умения разобраться в хозяйственных, общественных и политических явлениях, играют важнейшую роль вопросы естествознания, а еще больше вопросы морали».

По вопросам морали и нравственности «Молодая гвардия» напечатала немало статей, иногда спорных, противоречивых, как, например, выступления А. Коллонтай, А. Залкинда и др., где упрощенно трактовались вопросы взаимоотношений между юношами и девушками, гипертрофировалась половая проблема. Но вместе с тем на страницах журнала печатались материалы, которые вносили ясность в сложные вопросы, помогали юноше и девушке найти правильное решение в жизненно острых ситуациях, воспитывали подлинное чувство ответственности. Это беседы П. Лепешинского о вольно-дискуссионном клубе «Проблема любви» (№ 1, 1923), Н. Семашко «Нужна ли женственность?» (№ 6, 1923). Следует сказать, что форма вольно-дискуссионного клуба вообще была наиболее интересной в журнале. Особая заслуга в его разработке и проведении принадлежит П. Лепешинскому. Клуб выносил на обсуждение все наиболее распространенные точки зрения, проти-

воречивые высказывания и в форме сопоставления подводил читателя к правильному выводу.

Журнал имел своей целью популяризацию и пропаганду достижений науки и техники. Характер этих материалов был самый разнообразный, короткие заметки «Величайший гидроаэроплан в мире», «Управляемый аэростат с разреженным воздухом», «Самодействующие электростанции» (№ 4—5, 1922), статьи Я. Войвуш «Управление механизмами на расстоянии» (№ 1, 1923), М. Я. Лопирова-Скобло «О путешествиях в межпланетное пространство» (№ 5, 1924), В. Есина «Специальная роль машины в сельском хозяйстве» (№ 2, 1923) и др.

В условиях, когда империализм не оставил своих надежд на реставрацию старых порядков, необходимо было дать молодежи военную подготовку и военные знания. Постоянным в журнале был «Военный отдел», в котором помещались материалы о стратегии и тактике, уроках мировой и гражданской войн, о влиянии техники на боевые действия, о военных операциях, о видах войск и вооружении. Однако позднее по мере ослабления непосредственной военной опасности и усиления этого раздела в журнале «Смена» такие материалы на страницах журнала появлялись все реже и реже. И отдел в 1924 году прекратил свою деятельность.

В 1923 году журнал выступил пропагандистом научной организации труда. Известный специалист в этой отрасли А. Гастев, рекомендуя читателю две свои книги «Восстание культуры» и «Юность, иди», обращаясь к молодежи, писал: «У нас недостает общих культурных организационных предпосылок. Мы решительны и революционны, но не обладаем достаточной культурой для проведения широких организационных мероприятий». В статье он приводил постановление ВЦСПС по НОТу от 31 мая 1923 года: «Главными лозунгами этой работы признать: быстрые и исчерпывающие обследования, точные донесения, способность биться за дело (неотступная воля), ловкое владение телом, умение исполнить основные трудовые приемы, проводить выдержанный режим, давать чеканную организацию, проявлять изворотливую **хозяйственность,** уметь давать заряжающее **воздействие**».

Под рубрикой «Новая культурная установка» вслед за выступлением А. Гастева как естественное продолжение, как указание пути в практику шла агитационная статья Л. Брагинского «В поход». Автор призывал двинуться в хозяйство, совершить «революционную колонизацию». «Будущая Россия вся пойдет под новым культурным знаменем: это знамя инициативы и исполнительства, знамя подлинной революционной массовой стройки. В этом ее новое лицо. Это ее новая культурная установка». Статья предлагала активно готовиться к этой работе, овладеть режимом, организовать пла-

нировку времени. Улучшать свое здоровье. «Не надо думать, что организовать можно только крупные учреждения, целые миры. На каждом шагу, в каждом углу — организация. Организовать — значит дать распорядок». Лозунгом, венчающим статью, было утверждение: «Режим воспитывает волю. Труд дает умения. Организация учит. Гимнастика доставляет силу».

К сожалению, после столь высоких призывов в дальнейшем редакция к этому вопросу обращалась редко, не найдя достаточно эффективной формы реализации этих общих установок в ежедневной практике хозяйственного и политического строительства.

Особенностью всех научно-популярных материалов журнала было не только то, что они несли в себе достаточно интересную информацию о научных достижениях своего времени, но и давали библиографию, отсылая читателей к специальным руководствам.

Даже в разделе «Физкультура и спорт» преобладали материалы-рекомендации «Как самому научиться плавать» (№ 4—5, 1921), «Краткое руководство по легкой атлетике» с советами, схемами, фоторазъяснениями, «Как составить шахматные задачи» и т. д.

Важное место отводил журнал самообразованию молодежи. Был заведен специальный раздел «Что читать и чему учиться».

Во втором номере журнала за 1922 год были предложены тезисы выступления для пропагандистов «Боритесь за самообразование». Была напечатана практическая инструкция «Пути самообразования» с подразделами «Как изучать науку рабочим?», «С чего начинать изучение?», «Какие организационные формы следует придать работе самообразования?», «Что необходимо для успешности работы?».

На страницах журнала с ответами читателям выступала «Комиссия помощи самообразованию» при Главполитпросвете. Комиссия рекомендовала программы чтения, списки книг, указания о методе образования, материалы для марксистско-ленинских кружков. При чтении журнал рекомендовал «проявить критическое отношение, постепенное уяснение прочитанного и объяснение его, по возможности, товарищам».

Следует сказать, что работа по самообразованию охватывала в тот период действительно широкий круг людей, и поэтому публикация подобных материалов встречала широкую поддержку комсомола. В частности, Всероссийская конференция РКСМ, отметив это направление журнала, постановила: «Молодая гвардия» должна стать центром самообразования работы пролетарской молодежи и поэтому на постановку отдела самообразования — что читать и чему учиться, критика и библиография, переписка с читателями должно быть обращено особое внимание».

Однако дальнейшее развитие обучения в массовом, обязательном порядке привело к естественному отмиранию этого важного на первых порах раздела журнала.

Первые годы существования журнала совпали с ожесточенными литературными дискуссиями: молодая советская литература остро обсуждала проблемы партийности и народности, идейности и мастерства, традиций и новаторства, классового и национального начала.

В период нэпа культурное строительство также стало подлинным полем идеологической битвы. Строительство культуры, особенно создание социалистической литературы, было делом сложным, тонким и в то же время не терпящим отлагательства. Основополагающим тут явилась высказанная В. И. Лениным мысль о создании культуры коммунистической «на основе усвоения запасов знаний, выработанных человечеством» на протяжении тысячелетий, развития их с точки зрения миросозерцания марксизма.

Однако при создании советской литературы возникло много препятствий — от правых сменовеховских попыток вернуть литературу на путь служения старому строю до «ультрареволюционных», а по сути реакционных теорий, отвергающих классическое наследие. В это же время целый ряд довольно шумных и безапелляционных деятелей литературы фактически толкали ее на путь художественной беспомощности, бесплодного экспериментаторства и конструирования разного рода приемов, выдавая это за новое революционное искусство. Восприятие литературы вне исторического и современного времени и пространства, вне ее реальных, а не надуманных противоречий и возможностей вело к одному — досужему умствованию по поводу литературного процесса, к нивелировке творческих индивидуальностей, к обесцвечиванию живого, богатого и разнообразного содержания произведений. А отсюда уже один шаг — и он был сделан — к рассмотрению литературы как иллюстрации к собственным домыслам по поводу закономерностей развития надстроечных явлений. Появление в 1925 году резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» оградило литературу от попыток монополизировать право говорить от ее имени только отдельным группам. Партия выдвинула тезис «О свободном соревновании различных группировок и течений» на основе пролетарской идеологии. Борьба за утверждение социалистической идеологии в литературе, подчеркивалось в постановлении, должна стать борьбой за подлинную художественную литературу.

Проза и поэзия «Молодой гвардии» в целом отражала состояние нашей литературы того периода, приход в литературу но-

вых сил, революционный пафос, творческий поиск, художественное несовершенство первых произведений.

В одном из своих выступлений А. Фадеев, вспоминая прошлое, говорил: «Как начала создаваться советская литература? Она создавалась людьми, такими, как мы. Когда по окончании гражданской войны мы стали сходиться из разных концов нашей необъятной Родины — партийные, а еще больше беспартийные молодые люди, — мы поражались тому, сколь общи наши биографии при разности индивидуальных судеб. Таков был путь Фурманова, автора книги о Чапаеве... Таков был путь молодого и, может быть, более талантливого среди нас Михаила Шолохова. И великим подвигом был путь Николая Островского... Мы входили в литературу волна за волной, нас было много. Мы приносили свой личный опыт жизни, свою индивидуальность. Нас соединяло ощущение нового мира как своего и любовь к нему. А всех, кто приходил после нас, все меньший отрезок лет соединял с прошлым. Наконец, стали приходить люди, целиком выросшие при новом строе».

«Ощущение нового мира как своего и любовь к нему» — это, пожалуй, было главным в миросозерцании этих молодых парней, которые еще вчера были солдатами революционных армий. Прошедшие школу революции и гражданской войны, участники легендарных походов и тяжелейших сражений на фронте и в тылу, писатели сменили винтовку на перо, чтобы выразить мироощущение бойца, показать формирование в огне революции новой личности. Их, как и предвидел В. И. Ленин, вербовали в литературу «не корысть и карьера, а идеи социализма и сочувствие трудящимся», глубочайшее знание опыта и живой работы пролетариата и крестьянства. «Я прежде стал революционером, чем писателем», — сказал о себе Фадеев, и это относилось к писательскому поколению, испытавшему органическую потребность выразить в слове пережитое в революционные годы.

Хозяйское чувство к окружающему миру, стремление навести порядок в том большом доме, который они завоевали и отстояли, определяло и отношение молодых писателей к литературе. Фурманов, например, считал «основным залогом успешности» в литературе постоянную готовность «оставить литературу и пойти работать на топливо, на голод, на холод, бойцом или комиссаром». Итогом его раздумий было: «Писать... то, что служит, непременно — прямо или косвенно — служит движению вперед». Н. Островский, пришедший в литературу как на единственно возможный для него фронт борьбы за социализм, — «жму по всему фронту», «бешено наступаю» — видел в творческом труде прямое выполнение своего долга коммуниста. Строки из его писем доносят до нас естественное, как дыхание, чувство слитности писателя с наро-

дом и партией, готовность подчиниться их требовательной заботе.

Пафос социалистического строительства захватил и писателей, именовавшихся в то время «попутчиками». Как показало время, формальная принадлежность к партии не могла быть и не была решающим моментом для определения партийности художественного творчества.

Но эти так называемые «попутчики» занимали в журнале весьма скромное место. Произведения К. Тренева, Л. Сейфуллиной, И. Катаева, В. Шишкова не часто появлялись на страницах журнала. Такое ограниченное участие «попутчиков» было не случайным. Будущий ярый «напостовец» и весьма бесплодный, но злобный критик С. Родов в статье «Литературное сегодня», охраняя «чистоту» журнала, предостерегал, имея в виду этих «непролетарских» писателей: «Бойтесь данайцев, даже приносящих дары».

В это время немалый успех у молодого читателя получила комсомольская поэзия, хотя ей в немалой степени были присущи недостатки своего времени — декларативность и схематизм. Комсомольские поэты представали перед читателем как певцы новой действительности, исследователи процесса становления новой личности. Революционный энтузиазм, оптимизм их произведений сделали их популярными среди молодежи, среди читателей, которые искали в художественной литературе отражение тех революционных событий и сдвигов, которые проходили в стране.

Ведущим среди комсомольских поэтов был в те годы А. Безыменский, известный как автор и переводчик песни «Молодая гвардия», напечатанной в первом номере журнала. До 1923 года он тяготел к абстрактной планетарной поэзии «Кузницы». После перехода на позиции группы «Октябрь» его поэтическая декларация была изложена в известном стихотворении «Поэтам «Кузницы»: «Откиньте небо! Отбросьте вещи! Давайте землю и живых людей». Несмотря на такие призывы, в целом ряде произведений его поэзия не смогла подняться на большую высоту и пройти испытание временем. «До меня Безыменский, как поэт, не доходит», — говорил А. Фадеев в 1930 году. Однако в то время поэзия комсомольских поэтов «доходила» и их стихи читались молодежью.

По публикациям в «Молодой гвардии» стали известными поэты А. Жаров, М. Светлов, Я. Шведов. Их творчество было проникнуто интернационализмом, откликалось на животрепещущие международные темы, призывало к постоянной боевой готовности.

Вот почему, когда в потоках крови
Встает на бой Марокко иль Шанхай, —
Мы снова в ожиданье хмурим брови,

Мы мучимся. Мы ждем... Мы наготове!
Да, наготове наш рабочий край.

(А. Жаров)

В условиях нэпа журнал стремился к искусству, романтически заостренному — «одному из сильнейших средств поддержания революционного огня в сердцах молодежи» (Н. Асеев). Поэтому поэзия в журнале «Молодая гвардия» касалась многих тем, но ведущей из них была тема революции, социальных потрясений, бурь, проносящихся над миром и клокочущих в душе человека.

Во втором номере 1923 года появилась знаменитая «Конная Буденного» Н. Асеева, бывшего одно время заведующим отделом поэзии. Стихи, написанные в бодром ритме, напоминали кавалерийский темп, увлекали своей моторностью, уверенностью:

С неба полуденного
Жара не подступи;
Конная Буденного
Раскинулась в степи...
Никто пути пройденного
У нас не отберет,
Конная Буденного,
Дивизия вперед!

Певцом труда, выразителем идеалов крестьянских масс предстал в журнале поэт Петр Орешин. Его герой всегда реально связан с действительностью, его заботят все нужды народа. Даже пейзажная лирика направлена поэтом к утверждению советских гражданских идеалов.

Поэт комсомольской и бедняцкой деревни И. Доронин, воспевая революцию, выступает за действительную смычку рабочего и крестьянина, против отсталости деревни. Поэт — страстный поборник преобразований, он хочет, чтобы «скорей бы, скорей бы — по лесам дремучим стучали «молотилки» и «кричали гудки». И это вызывало порой у поэта разрушительные чувства к деревне: «А ну-ка дай рубану стальным топором языка. По этим гнилушкам». В поэме «Тракторный пахарь» Доронин пишет: «Не та уж ты, деревня, и голос твой не тот», «Иных ты просишь песен, иных ты ищешь певцов». К деревне идет дорогой новой «железный друг».

Во втором номере 1925 года появляются стихи М. Исаковского «Подпаски». Талантливое описание радости труда, красоты родной земли, разговор о новых мотивах, вплетающихся в жизнь, уже в полной мере представляют нам будущего большого поэта.

Рассекая тишь хлыстом,
В тень ушли подпаски,
Свежий ветер из кустов
Говорил им сказки.
Солнце сыпало овес
Из горячей печи.
Клял жару мохнатый пес
На своем наречьи.

Песня подпасков «О малиновых огнях» вызывает оживление, как «на сходку» важно идут коровы.

Дед смеялся, пил лучи:
— Ванька, ты — кудесник.
Ишь коров-то приучил
К большевистской песне.

Наряду с этими талантливыми стихами были и чисто формальные поиски, претенциозные попытки создать новые поэтические структуры. Так, ведущий литературный сотрудник журнала Г. Лелевич, впоследствии один из печально знаменитых руководителей «напостовцев», пытался внедрить в поэзию свои «коммунаэры». Естественно, опыт, не поддержанный читателем, не удался.

Важным событием для журнала была публикация «Записок из дневника» Максима Горького (№ 10—11, 1925, стр. 3—11), которые привлекли сразу же внимание критики. В этом же номере журнала на них откликнулся А. Луначарский.

Следует сказать, что такая публикация произведения и критического его разбора служила общим целям издания, давала нужную, по мнению журнала, интерпретацию наиболее значительных произведений.

Поиски «своей» формы часто уводили молодых писателей в формотворчество, ошеломляли читателей, порою затрудняли восприятие содержания их произведений. Примером тому — произведение Артема Веселого «Реки огненные» (№ 1, 1923). Писатель показывает различные социальные силы, участвовавшие в революции, пытается проникнуть в психологию своих героев. В повести предстает анархиствующая вольница, этакая стихия в виде Ваньки и Мишки Крокодила: «С памятного семнадцатого годочка из крейсера вывалились. По сухой плавали. Всю гражданскую войну на море ни глазом. Шатались по свету белу, удаль мыкали, за длинными рублями гонялись».

Своеобразие стиля Артема Веселого в отрывистости, краткости фразы, в стремлении достичь динамичности, убыстряющегося

ритма. Пытаясь приблизить повесть к реальности, автор насытил ее блатными словами, морским жаргоном. Звуковые впечатления как бы усилил зрительным восприятием. Решив обойтись без знаков препинания, он располагал графически фразы на странице так, как того требовало, по его мнению, семантическое значение фразы.

К творчеству А. Веселого и некоторых других авторов журнала можно отнести слова А. Луначарского, сказанные им в Академии художественного воспитания в 1924 году:

«Мы воевали, мы устраивали первые начала нашей жизни, а если кто при этом и пел и бил в барабан, то в барабан довольно плохой, в барабан дырявый, потому что еще и научиться он не мог как следует барабанить. Это были первые попытки творить художественно.

И на нового писателя старые писатели ворчали:

— Мы-то форму какую создали. Вот это формочка!.. ...Ты научись у нас сначала.

И вот бедный пролетарий начал строить по-своему фразы, в которых сказуемое оказывалось несказуемым».

Обстоятельной, неторопливой представала проза в повести «Черноземье» (№ 3, 1923) Павла Низового. В ней рассказывалось о приходе революции в патриархальные деревни Казанское-Зарубино и Подгоровку. Отступали перед ней старые привычки и порядки. «Медленно. Грузно, как колесо трактора, докатился Октябрь. Сел прочно». Этими словами заканчивается повесть.

Может, самой большой удачей журнала было опубликование рассказа Вяч. Шишкова «Свежий ветер» (№ 4, 1924). Автор с присущим ему мастерством реалиста ведет рассказ о деревне. Перед читателем воочию возникает картина, нарисованная пером замечательного мастера, картина драматического столкновения старой и новой деревни. Перед ним проходят образы героев, несущие в себе черты уходящего прошлого и уже родившегося будущего.

Жизнь тетки Афросиньи кажется беспросветной, муж и сыновья пьют, избивают ее. «Не ты первая, не ты последняя», — говорит ей жена брата. И только приезд из армии сына Петра прекратил ее муки. Сын сталкивается с отцом, с суровыми домостроевскими законами. За ним идут комсомольцы. Петр стреляет в отца, когда тот заносит топор над матерью. Комсомольцы поддерживают Петра. Они согласны с ним, когда он говорит:

«— Да, я выстрелил в отца, но спас жизнь матери... Не отрицаю, может быть, перед законом я виноват, но перед народом своим, перед Россией я виновным себя не признаю. Как сын крестьянина Терентия Гусакова, я выстрелил в отца, а как кров-

ный сын народа, я всадил заряд в нашу темную мужичью язву, которая гниет и заражает все тело... Снисхождения не прошу».

И как голос новой деревни, ее будущего звучат слова комсомольца Галкина: «Может, старики принюхались, им ничего, по нраву, а нас от такой России, откровенно говорю, тошнит. Даешь новую жизнь! К черту пьянство, к черту самогон, к черту увечья женские...

Петр нас просвещал. Да таких людей не отстранять надо, а заражать ими. От таких людей жизнь крепнет».

На разном уровне мастерства, умения увидеть характерные черты эпохи написаны рассказы Л. Сейфуллиной «Инструктор красного молодежа» (№ 6, 1923), Н. Ляшко «Леска» (№ 3, 1923), Ив. Рахилло «Узел» (№ 6, 1923). Но в них есть нечто общее — при различных индивидуальностях авторов — это стремление к писательскому вмешательству в жизнь, желание определить свое отношение к этой новой и часто непонятной даже для самого литератора жизни. Здесь и религия, и взаимоотношения полов, и неумелость комсомольского агитатора... Вырванные из контекста жизни, эти и подобные им произведения оставались лишь писательскими зарисовками с натуры, но, рассмотренные вкупе, они все же воссоздавали частичку эпохи, полностью соответствуя характеру литературного процесса того времени. Недаром А. М. Горький, внимательно следивший за еще неуверенными шагами молодой советской литературы, видевший ее несовершенство, почувствовал главное — недостатки уйдут, останется лишь новое, отождествленное с интересами народа, отношение писателя к жизни: «Я с великим трепетом слежу, как растет на Руси новая литература, и многим восхищаюсь. Богатые всходы! Это хорошо. Нашей стране нужны тысячи писателей, и, вот, они идут. Неуклюже, крикливо, но смело и с большой силой. У многих шапки набекрень, мозги — тоже, но — это пройдет!»

Особое положение в журнале занимал в те годы критический отдел, который фактически вел редактор «Молодой гвардии» Л. Авербах. Он вместе с Г. Лелевичем, С. Родовым и др. полностью разделяет всю ответственность за те ошибки в области литературной политики, которые были впоследствии осуждены в известной резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 года.

Этот отдел журнала в те годы активно шел в фарватере направления, которое спустя некоторое время получило наименование «вульгарно-социологического».

На практике использование этой теории приводило к тому, что в 20-е годы называли «переоценкой ценностей» — всемирно признанные писательские авторитеты низвергались и, наоборот,

возносились личности, ничего общего с литературой не имеющие, выдвигавшие идеи, которые сегодня, мягко говоря, можно назвать варварскими. Л. Авербах ни на минуту не усомнился, когда писал: «...Достоевский не может войти в культуру здорового, доброго, оптимистического класса». Вероятно, идеалом-противопоставлением была для него повесть Тарасова-Родионова «Шоколад» (№ 6—7, 1922). В этом произведении, художественные достоинства которого весьма незначительны, автор рассказывает о некоем чекисте, который был безвинно арестован и затем расстрелян, «чтобы поднять авторитет партии в широких массах». Критик с олимпийским спокойствием и убежденностью в своей правоте пишет, что можно расстрелять, «если это нужно... для спайки партии, для укрепления ее авторитета в классе... если так складываются объективные условия, что нет иного выхода, что не переубедишь свою армию в том, что такой-то главнокомандующий не виновен, а имеет подобие виновности...» (№ 10—11, 1924).

Вместо того чтобы дать террору классовую характеристику, как средству защиты пролетариата, подавления буржуазии, Л. Авербах требует, чтобы массовый террор не вызывал «судорожное биение сердец, трепет и многочисленные этические «охи» и «ахи». Тут уж недолго до воспевания сильной личности, человека, способного уничтожить все ради своей цели.

Выступление против классического наследия прошлого, как буржуазного в своей основе, в современной действительности привело к травле и преследованию тех литераторов, которые в своем творчестве следовали замечательным традициям классики. Им приклеили известную кличку «попутчики», что не преминул использовать Троцкий, бросив фразу: «Попутчик, но до какой станции? Не пересядет ли на встречный поезд?» Отсюда шло все отношение к писателям, которые по праву считаются ныне гордостью советской литературы. Понятно поэтому, что критика «не заметила» первое, по-настоящему яркое произведение о рабочем классе Ф. Гладкова «Разорванная паутина». А на повесть П. Бляхина «Красные дьяволята», впоследствии ставшую необычайно популярной среди молодежи, была помещена разгромная рецензия. Критик увидел в ней «внушение любви к индивидуальным приключениям» и вообще ко всем добродетелям, «приличествующим каждому благонравному буржуазному мальчику». Даже А. Фадеева едва не подвергли остракизму, обвинив его при обсуждении рассказа «Против течения» в подражании классикам, что в тогдашних условиях квалифицировалось этой группой критиков едва ли не как измена пролетарскому делу.

Серьезным предупреждением для критиков «Молодой гвардии» прозвучала резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии

в области художественной литературы», где осуждался вульгаризаторский подход к оценке творчества писателей, администрирование в литературе, указывалось на необходимость бережного отношения к попутчикам.

«Коммунистическая критика должна изгнать из своего обихода тон литературной команды, — подчеркивала резолюция. — Только тогда она, эта критика, будет иметь глубокое воспитательное значение, когда она будет опираться на свое идейное превосходство. Марксистская критика должна решительно изгонять из своей среды всякое претенциозное, полуграмотное и самодовольное комчванство».

Однако ошибки отдела критики журнала не должны заслонять от нас то положительное значение, которое сыграла «Молодая гвардия» в деле становления молодой советской литературы. Журнал вывел на орбиту литературной жизни многих начинающих прозаиков и поэтов, произведения которых стали впоследствии хорошо известны каждому читающему человеку в нашей стране. Достаточно сказать, что первое произведение А. Фадеева — рассказ «Против течения» — было напечатано именно в в журнале «Молодая гвардия». Журнал сумел объединить на своих страницах писателей самых различных направлений. В журнале печатались и комсомольские поэты (так их тогда называли) — А. Безыменский, А. Жаров, И. Молчанов, Я. Шведов, М. Светлов, И. Уткин, рабочие поэты — В. Казин, В. Кириллов, крестьянские — И. Доронин, П. Орешин, лефовцы — В. Маяковский, Н. Асеев, С. Третьяков, писатели группы «Октябрь» — А. Дорогойченко, Д. Фурманов, А. Фадеев, группы «Кузница» — А. Неверов, Ф. Гладков, А. Новиков-Прибой, П. Низовой и др., «попутчики» — К. Тренев, Л. Сейфуллина, И. Катаев, В. Шишков. Поэтому главной заслугой «Молодой гвардии» было то, что она «способствовала выдвижению молодых литературных сил, постоянно давая им необходимые указания, помещая в журнале все достижения из литературной учебы» (№ 10—11, 1925). Для многих молодых сотрудничество в журнале было первым приобщением к работе в комсомоле. Недаром А. Фадеев позднее говорил: «Советская литература многим обязана существованию такой чудесной организации, как Всесоюзный Ленинский комсомол, созданный и воспитанный нашей партией. Первое, начальное представление о великих коммунистических идеях нашей партии многие из нас, советских писателей, получили через комсомол. Это было естественно и закономерно для лучшей части писателей моего поколения, писателей первых лет революции, гражданской войны, для тех, кто тогда начинал свою деятельность».

Комсомол внимательно следил за работой своего журнала.

На съездах и конференциях неоднократно ставился вопрос о журнале, принимались конкретные решения с целью поддержать и улучшить качество издания, приблизить его к читателю-комсомольцу.

Строительство социализма, дальнейшее развитие и углубление процессов культурной революции в стране определило новые задачи журнала, которые четко сформулировала сама редакция: «Это — стать одним из центров, выявляющих художественные достижения уже окрепшего ядра пролетарской литературы, состоящего из литераторов, уже вылезших из коротких штанишек начинающих. В задачу «Молодой гвардии» входит... отражение в более художественной форме составных элементов нашей современности, основных запросов жизни и быта (в первую очередь) рабочих и крестьян и их молодежи».

Но это уже было делом будущего.

МОЛОДАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ

ГДР

Вольфганг **ТИЛЬГНЕР**

НУЖНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Я держу наготове свой стих,
я несу его наперевес
между гор, меж домов простых,
меж земных и небесных бездн.

Вижу: сникли под градом горы.
Слышу: губит землю война.
Всюду, где существует горе,
существует моя вина.

Где-то подлости зреет завязь,
я иду,
не жду: «Помоги!» —
в мир, где губит таланты зависть,
где пока еще есть враги.

Этот мир
лишь того забудет,
кто пришел безоружным в него.
Я пришел к вам за помощью, люди,
с острием стиха своего.

Ханнес ВЮРЦ

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ

О таинство названья:
Четвертая Чайковского.
Хрустящая программка.
О первый твой концерт!
В твоей седой судьбе
нетронутого острова
коснется старый вальс,
холодный, как ланцет.
Анданте-состенуто.
Труба судьбу вещает.
Но почему — сирены,
и мужа бьет палач?
И мужа почему
тебе не возвращают?
Элегия кларнетов
и скрипок скорбный плач.
Так одиноко в доме,
так долго одиноко...
Но в мире есть товарищи,
и есть твоя борьба.
Поймут ли дети боль
вчерашнего урока,
твое седое горе...
Но вновь поет труба.
С детьми своими вместе
я город расчищала,
с детьми и со страною
училась и росла.
Аллегро кон-фуоко.
Финал — мое начало!
Я прежде на концерте
ни разу не была.
Мой сын,
мой мальчик будет,
я знаю, инженером.

Он рядом улыбается.
Мы счастливы,
хотя
для счастья никогда
не выдумают меру.
И музыка со сцены —
смеется, как дитя.

Перевел с немецкого Феликс Чуев

Готфрид **ГЕРОЛЬД**

ИЗ КАНТАТЫ «ХВАЛА КАМЕНОТЕСУ»

Пусть ваши дети, жены вас рассудят,
Они свои вам доверяют судьбы.
Во имя их доверчивых улыбок
Граните мир, как каменную глыбу.
И обрекайте старое на слом,
Вчерашний день перечеркнув резцом.
Прекрасно утро. До краев страна
Моя гуденьем молота полна.
В тебе, во мне, в любом из нас — она
Всем обликом своим воплощена.
Деревья рвутся к солнцу и цветы,
И у знамен есть жажда высоты...
Германия, в грядущий день спеши,
Сражайся против подлости и лжи,
Чтобы сердца вовеки не смогла
Вновь захлестнуть коричневая мгла.

●

Шагаю по следу,
Шагаю по следу.
Кто здесь прошел,
Ступая по снегу?
Длинною лентой вьется
Дорога.
Было их много,
Было их много...
Я их различаю призрачно, странно —

Дошедших до леденящего страха.
И тех, что дошли целиною снежной
До сердца другого —
Приюта надежды.
По снегу то круто,
А то вдруг полого
В завтрашний день
Нас уводит дорога.
Вы, которым по ней идти, —
Слабым не дайте сбиться с пути...
Шагаю по снегу
Сквозь стужу и вьюгу.
К цели шагаю
По следу друга.

Перевел с немецкого
Геннадий Серебряков




Александр БАЙГУШЕВ

ВОЗМУЖАНИЕ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ

Что делать мне —
Простому сыну века?
Говорить
О времени, о том неповторимом,
Единственном на свете. О гиганте,
Который поднялся над всей Землей,
На плечи взяв судьбу и жизнь планеты.

Владимир Луговской,
Середина века.

Собственно, с высокой теоретической точки зрения ничего неожиданного с молодой поэзией не произошло. Страна, построившая развернутое социалистическое общество, — XXIV съезд КПСС убедительно подчеркнул это! — вошла в зрелый период раскрытия своих творческих сил. Общие процессы не могли не отразиться, не повлиять на молодое поколение, обусловив его быстрое духовное развитие.

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е. Тяжельников обратил внимание на то, что иногда мы сами как-то невольно принижаем молодого героя, недооцениваем его. «Иногда современное молодое поколение, — писал Е. Тяжельников в «Правде», — противопоставляется героям гражданской войны и первых пятилеток. При этом усиленно подчеркивается, то с сочувствием, то с сожалением: вот, мол, нынешняя молодежь не имеет уже той классовой закалки, которая была у отцов. Мы преклоняемся перед отцами, славим их подвиг, завидуем их юности, мы всегда будем у них учиться. Но именно отцы **научили нынешнее поколение гордиться тем, что выпало на его долю, что возложено революцией на его плечи...** И если нынешнее молодое поколение не прошло школы воспитания на Днепрогэсе и в 41-м под Москвой, то оно проходит университеты пролетарской зрелости, воздвигая гигант Усть-Илима и осваивая нефтяные районы под Тюменью и Томском, где **требуется не меньшая стойкость, воля и идейность, чем в суровое время отцов»** (подчеркнуто нами. — **А. Б.**).

И мужественный лирический герой, властно входя-

щий сейчас в нашу молодежную лирику, — это просто молодой герой нашего времени. Это выразитель настроений современных молодых строителей коммунистического общества, настойчивых и энергичных, эрудированных и уверенных в себе, идейно закаленных.

Я писал свои стихотворенья,
не слагал, а возводил стихи,
чтобы оставалось ощущенье
каменно положенной строки... —

заключит свой новый сборник «Соколиная песня крыла» Феликс Чуев, и ему, будто рефреном, ответил Вячеслав Богданов. «Завод, завод... В твоих стальных цехах я возмужал и, кажется, стал счастлив».

Возмужания ждали, и оно свершилось. На состоявшемся прошлой весной объединенном пленуме правления Союза писателей РСФСР и правления Московской писательской организации с легкой руки К. Ваншенкина ораторы даже стали приводить длинные списки «посерьезневших молодых поэтов». И хотя у разных товарищей такие списки выглядели по-разному, единодушным был вывод: на Парнасе ныне чествуют молодых, но зрелых!

1

Не надо, однако, думать, что путь к зрелости был для нашей молодой поэзии безмятежно гладок и прям, как специально приготовленная трасса для сверхскоростных испытаний. Вспомним Ф. Энгельса: «Чем дальше удаляется от экономической та область, которую мы исследуем, чем больше она приближается к чисто абстрактно-идеологической, тем больше будем мы находить в ее развитии случайностей, тем более зигзагообразной является ее кривая». Вспомним, чтоб не особенно удивляться тому переходному моменту, с преодоления которого, хотела она того или нет, но должна была начинать свой творческий подъем нынешняя молодая поэтическая смена.

Что же пришлось преодолевать?

Перелистаем последний сборник Е. Евтушенко «Идут белые снеги» и увидим настойчиво повторяющуюся мысль о некоем фарсе, сыгранном в отдельных прежних стихотворениях. Поэт снова и снова бичует себя за эти былые срывы: «Не используй свой гений, поэт, ореол, перед коим робеют, и опальный отлив эполет... Одиночества не оглашай, не проси, чтоб тебя пожалели, и трагедией не обольщай, как Грушницкий солдатской шинелью». Если сбросить со счета «гения» и «ореол», без которых, как без шинели Грушницкому, нашему поэту никак не обойтись, то стихи оставляют впечатление самое искреннее. Пожалуй, поэт понял теперь многое. И прежде всего дешевую позу той «сложности», которую в один момент шумно подняли на щит некоторые наши критики — ошибка тут была прежде всего критиков, а не молодых поэтов, сбитых с толку! — и сделали героем экзальтирован-

ных псевдоэстрадных медитаций: «Я был жесток. Я резко обличал, о собственных ошибках не печалясь. Казалось мне: людей я обучал...»

Школьник в роли пророка — эта мелодраматическая фигура из драматургии В. Розова — на какой-то миг размножилась в молодежной лирике, будто в цепной реакции. Разом поплыли «тайны» из «Тань даже с цыпками на ногах», выливающиеся в многозначительные сентенции, «что мы замутнены, как воды вечности». Поплыли порочно-очаровательные признания поэтесс: «Толкаюсь в их движенье тесном, не в силах скрыться в стороне, как бы измазанные тестом, их руки липнут и ко мне. Все, что удобно и съедобно, так безудержно их влечет». На таком удобном фоне и объявился тогда в отдельных стихотворениях некий «сложный», так называемый «исповедальный» лирический герой. Вся сложность его была в том, что он не сумел разобраться в современности, не имел ясного мнения, но зато пытался собственную юношескую незрелость (случай понятный, даже простительный, если человек стремится ее преодолеть) объявить... героизмом.

Не надо было гадать, чтобы предсказать, что развитие исповедальной лирики приведет к подмене идей голым отрицанием. И действительно, вслед за этим вот самым «я был жесток, я резко обличал» очень скоро в поэзию вошло разрушительное начало — сначала в ее смысл, а потом и в форму выражения, причем, как это всегда бывает, когда теряются идеи, центр тяжести переместился именно на форму. «Косноязычье вовсе не порок! Застигнутый полупонятным зовом, пусть корчится измученный пророк в борении с рождающимся словом», — откровеннее, чем Е. Винокуров, кажется, и не выразишь сути происходившего. Если для самого «пророка» то, что он хочет выразить, — лишь «полупонятный зов», то и форма должна была быть по возможности косноязычна. Отсюда неминуемо должно было произойти хотя бы сегментарное смыкание с формальными приемами модернизма. А тех, кто попробует протестовать, предупреждали: «Поэтический язык по самому существу своему в отдельные периоды и в отдельных случаях может быть понятен сравнительно небольшому кругу лиц...» (эта расхожая модернистская цитата, к сожалению, попала даже в сравнительно недавнюю «Книгу о русском языке», выпущенную издательством «Знание»).

Спасти этот мертвый стиль хоть еще на пару лет могла разве только причуда моды. И надо же — мода подоспела в лике странной, довольно шумной полемики критиков о «физиках и лириках». Физика! Ну, кто ныне не молится этой современной богине! И как это оказалось кстати объявить чахнущий стиль «современным стилем», потому, мол, что он «сложен, как физика»! На какой-то уже совсем краткий, скоротечный как последний вздох, но блаженный миг исповедальная лирика даже пережила небольшой бум. Что могло быть весомей авторитета физики, что могло быть красивее неземных, почти марсианских слов «циклотрон» или «антитело»? Ее планер бодро набирал высоту.

Однако трос вдруг лопнул, казалось бы, в самом надежном месте: физики вдруг взяли и все испортили, настойчиво заговорив о справедливости мысли В. Маяковского, признававшего конгениальность красоты и простоты, и вспоминая его знаменитую декларацию из «Пятого Интернационала»:

Я
поэзии
одну разрешаю форму:
краткость,
точность математических формул.

Физики убеждали, что если вычертить единое человеческое устремление, владеющее людьми веками и подчиняющее себе науку и искусство, если вычертить «вектор времени», то он укажет на простоту. Еще на школьной парте, учась познавать мир, мы начинаем разбирать баррикады эмпирических усложнений и обнаруживать за ними гениальную простоту. Сведение к простому, объясняли физики, — это не только принцип решения любой алгебраической задачи, но и дорога, на которой открывают как сущность явлений природы, так и общественные законы. Площадь круга, закон тяготения, периодическая таблица, теория относительности формулировались с обезоруживающей простотой. И законы искусства тоже подчиняются «вектору времени». Фридрих Энгельс, сам, кстати, писавший стихи, видел именно в простоте силу литературного таланта. «Посредственность, — писал Энгельс, — почувствовала бы себя обязанной скрыть шаблонный, с ее точки зрения, характер фабулы под нагромождением искусственных усложнений и тем не менее была бы обнаружена». Разумеется, на практике это обнаружение происходит порой не быстро. Однако если пристально всмотреться хотя бы в прошлое поэзии, то мы легко убедимся, что побеждает, остается для новых поколений все-таки простота.

«Сложность» же нередко оказывается нарядом голого короля, проповедующего бездумье, бесчувственность и нравственную деградацию. Напротив, простота становится самым надежным средством от примитивизма. Простые стихи невозможно написать примитивно: простота сама отметает всякую искусственность и фальшь. В науке великое открытие в своей гениальной простоте отбрасывает множество усердных гипотетических построений, проясняя, что нагромождены были эти сложности лишь из-за несовершенства знаний. В поэзии действует тот же принцип: «колебания признаков образов на грани понятия», синкопические и ассоциативные сдвиги, изопы, монорифмы, тактовики и свободные размеры — весь модный набор «современного стиля» по большей части оказывается барочными завитушками, прикрывающими поверхностность, «недоведенность» авторской поэтической мысли. Сподобится такой автор наконец-то сам понять, что он хочет сказать читателям, — и завитушки мигом осыплются, исчезнут.

Нет, не поймите нас, что мы против тактовика или монорифмы, против синкопических или ассоциативных сдвигов или изопов. Прежде всего они давно были у нас — еще до Пушкина, еще в силлабической поэзии XVII века. Даже изопы, которыми недавно вроде бы удивил публику А. Вознесенский, сочинял еще один из поэтов так называемой эпохи смуты в русской истории монах Евстратий. Никто не против поэтических приемов. Мы только против того, чтобы искусственными нагромождениями всех этих приемов прикрывалась пустота поэтической мысли. Мы за добрую аксиому, сформулированную еще В. Белинским: «Простота языка не может служить исключительным и необманчивым признаком

поэзии, но изысканность выражения всегда может служить верным признаком отсутствия поэзии».

В 1970 году учебное пособие для старшеклассников по стихосложению «Простое и непростое» подтвердило: «Простота и языковая ясность — основной прием выражения глубокой, серьезной идеи. Это хороший барьер против манерничанья, «цветистости фраз», которыми иные поэты готовы прикрыть и прикрывают пустопорожность произведения».

Автор вышедшей в издательстве «Детская литература» книги «Простое и непростое» — недавно ушедший от нас прекрасный поэт старшего поколения Александр Коваленков.

Ну а молодые поэты?

Они еще более напористы. Они прямо-таки рвутся в бой за простоту:

Наслоенья — отметаю.
Пояснений — не хочу.
Аристотеля читаю,
Первоясности ищу.

В позабытые долины
Безоглядно ухожу.
В недра времени, в глубины,
На исходную межу.

Томич Василий Казанцев в своем новом сборнике «Равновесие», пожалуй, выразил общее настроение молодых. Рассеиваются критические туманы над последним «зигзагом» псевдоисповедальной лирики.

2

«Мы в поэзии, как на фронте, будем ставить вопрос ребром!» — без обиняков заявил, например, ленинградец Владислав Шошин, и свой сборник этот — по лестной характеристике маститого Н. Тихонова — «молодой поэт романтического склада, автор... стихов серьезных, искренних и непосредственных», даже назвал программно — «Развернутым фронтом».

Позже, уже через год-два, эта жесткость исчезнет, а прямота не будет непременно резать лезвием бритвы. Но сначала так было, и было далеко не всегда беспочвенно.

На XXIV съезде КПСС Л. И. Брежнев говорил о некоторых «осложняющих моментах» в развитии нашего искусства. «Кое-кто пытался, — подчеркнул Л. И. Брежнев, — свести многообразие советской действительности к проблемам, которые бесповоротно отодвинуты в прошлое в результате работы, проделанной партией по преодолению последствий культа личности. Другая крайность, также имевшая хождение среди отдельных литераторов, — это попытки обелить явления прошлого, которые партия подвергла решительной и принципиальной критике, законсервировать представления и взгляды, идущие вразрез с тем новым, творческим,

что партия внесла в свою практическую и теоретическую деятельность в последние годы. По существу же и в том, и в другом случае имели место попытки умалить значение того, что уже сделано партией и народом, отвлечь внимание от проблем сегодняшней жизни, от конструктивного курса партии и созидательных дел советских людей». Партийная характеристика ориентирует нынешнее молодое поэтическое поколение на трезвую оценку этих «осложняющих моментов».

Первый противник, которого взяла под свой «Комсомольский прожектор» новая, молодая лирика, может быть назван очень легко, ибо война с ним напрашивалась сама собой. Конечно же, им оказался выдуманный некоторыми критиками пресловутый «конфликт отцов и детей». Столкнуть поколения, огульно приписать старшим «культовую вину», а молодым сделать венец из «культоборства» — такова была нехитрая подоплека многих исповедей «сложных натур». Реакцией на такие признания стало естественное чувство оскорбленности за отцов, и оно вылилось в обязательный пункт новой лирической программы. Если молодой поэт обращался к публике, то сразу старался отмежеваться, объявить о том, что он не с теми говорунами, что пытались бросить тень на отцов, что он презирает этих недоумков. «Изгородью нас отцы живою загораживали, берегли!» — этот лозунговый тезис Вахтанга Джавахадзе из его сборника «Любимые ветры» в различных, но очень близких по идейному звучанию вариациях проходит лейтмотивом в новых сборниках буквально всех авторов нынешнего молодого поэтического поколения.

Вахтангу Джавахадзе даже рисуется своего рода символический ритуал молодого поколения: юноша и девушка, клянясь в верности, как обручальными кольцами, обмениваются фотографиями своих отцов.

Клятва у памятника отцам, погибшим за Родину, за революцию, открывает очень многие стихотворные сборники молодых. Где-то такая клятва уже превратилась в своего рода постоянный троп, как в народном фольклоре. И этому есть причины более веские, чем только «нет!» выдумкам о противостоянии отцов и детей. Оказалось, что клятва отцу уже сама по себе требует от молодого поэта взрослости. Говорить надо о большом, о главном. Поэтому, когда, например, Иван Лысцов доверительно начинает: «Знамение мне было от отца. Из-за холма он вышел, сел со мною», читатель может быть уверен, что речь пойдет серьезная и об очень серьезном.

В жизни многие нравственные понятия связаны нерасторжимо. И тема отцов, возникшая первоначально из чистого противопоставления нигилистическим взглядам, при серьезном к ней подходе оказалась той сокровенной «лестницей в небо», которая открыла молодым поэтам истинные лирические высоты. Как в фокусе, вбирает она в себя из отечественной истории самые высокие народные понятия — чувство Родины, патриотизма, исторической преемственности революционных традиций. Познавая отцов, дети учатся заново открывать себя.

У меня есть улыбка матери,
Узловатые руки деда
И глаза моего отца.
Крестоносец оставил мне ненависть,

А стрелок — возрожденную душу.
Я из них вытекаю рекой,
Я вбираю и камни, и солнце, и друга... —

говорит Имант Аузинь в сборнике «Путь к дому». Обратим внимание, насколько органично сливается в лирике Аузиня в один эмоциональный поток и собственное, личное, семейное и путь своего народа. Ненависть к захватчику из седых времен прошлого останется навсегда, ибо это уже символ ненависти к поработителям, возвысившийся до постоянной нравственной категории, усваиваемой с материнским молоком. А красные латышские стрелки, возродившие душу, это тоже не только метафора, но и воплощенная в ней историческая аксиома.

Тема революции — вообще определяющая для новой лирической волны. Она разворачивается в молодой поэзии не только фабульно (в поэмах, возвращающих нас к событиям 1917 года), но — и без этого не понять главного в новой лирической смене! — революция здесь становится тем эталоном, той точкой отсчета нравственных духовных ценностей, по которым измеряется все и вся не только в новом, но и в старом мире.

Поступь истории, отчетливо слышная в молодом поэтическом поколении, дала ему ту благотворную широту взгляда, которая позволила не только всецело принять, но и глубоко понять органичность интернационалистских убеждений для нашего общества. У молодых поэтов мы все чаще встречаем стихи не только о том, как в одном общежитии живут и дружат русский и негр (подобных трогательных и душевных стихов было у нас много всегда), но о том, что Октябрь 1917 года был явлением интернациональным, что Октябрьские дни выразили чаяния всего человечества и увенчали усилия многих народов, подвиги многих прогрессивных движений прошлого. Хочется привести целиком небольшое стихотворение «О прошлом».

Нашу землю
(Посмотри же!)
Прошлое украсило
Баррикадами Парижа,
Волгой Стеньки Разина.
Что кандальное железо
Против школы мужества!
«Варшавянка» с «Марсельезой»
Стали русской музыкой.
С ней сумели тьму осилить
Впереди идущие.
С ней идет
Моя Россия
В светлое грядущее.

Владимиром Фирсовым здесь удачно найдена напористая, маршевая интонация. Даны точные приметы исторических вех. Польская «Варшавянка» и французская «Марсельеза» переданы русскому революционному пролетариату эстафетой времени. В этих песнях душа свободы, поэтому они органично становятся «русской музыкой» — так же, как пришло к нам, став своим, с баррикад Парижа само великое слово «Коммуна».

Прошлое не только мемориальный музей. Оно с нами и сегодня.

Историзм поэтического мышления открыл для молодых совершенно новые возможности и в пейзажной лирике. Лопнул еще один мыльный пузырь, сочиненный поверхностной критикой: выяснилось, что противопоставлять в поэзии «урбанистов» и «деревенщиков» можно только от непонимания социальных основ истинной пейзажной поэзии.

Недавно трагически ушедший от нас молодой вологодский поэт Николай Рубцов был, казалось, только поэтом пейзажа. Но ни в одном из его стихотворений не найдете вы «экскурсионного» любопытства к природе. В сборнике «Сосен шум» — все от сердца, от того редкого проникновенного дара, когда родной пейзаж ощутим как часть нашей жизни, нашей отечественной истории. О чем писал Рубцов? О том, как ему не спится под шум сосен («да как же спать, когда из мрака мне будто слышен глас веков...»), и еще, как меняется деревня («слышен смех в тени под ветками, и песни русские слышны, все чаще новые, советские, все реже — грустной старины...»).

Белорус Степан Гаврусев, узбек Юсуф Шамансур, кабардинец Кашиф Эльгар, адыгеец Хамид Беретарь, русские Юрий Адрианов и Виктор Коротаев — каждый из них, воспевая родную природу, видит в ней советский край.

Сегодня в молодой поэзии стал закономерным выход с платформы пейзажа к большому нравственному разговору. У Иманта Аузиня есть написанная белым стихом поэма «Возвращение», образно раскрывающая смысл процесса, происходящего сейчас со многими молодыми авторами: лирический герой Аузиня, задумываясь о высоком назначении человеческой жизни, пытается заново взглянуть на людей, с детства его окружающих, на свой дом, луг. Он понимает, что был поверхностным, что не всегда умел за вещами видеть их суть.

И тогда возникает внутренний приказ: «Вернуться, вернуться! — таков мой призыв; если полет необъяснимым кажется, вернуться к крыльям!..»

Помните, мы цитировали в начале нашей статьи стихи Василия Казанцева, читавшего Аристотеля и жаждавшего «первоясности». Мысли Аузиня едины с мыслями Казанцева. Идея одна: для обоих возвращение — это не бегство назад, но более глубокий анализ себя как частицы общества. В теории драматургии, идущей еще от Аристотеля, есть понятие катарсиса. В своем отношении к «отцовской земле» и всему комплексу нравственных представлений, с «отцами» связанных, — будь то отечественная история или отечественный пейзаж, — поэты новой, молодой волны, на наш взгляд, как раз и вернули лирике такое вот очищение — катарсис, чуть ли не полузабытое. Они, как это ни парадоксально, сделали то, чего так хотели, но не смогли сделать эстрадные медитаторы: они заглянули в себя. И дотянулись до прозрачных родников. Они были социальны, партийны в своем творчестве и потому постигли не поверхностные, а серьезные, кардинальные связи вещей. Нет, не надо при этом понимать нас так, будто до Абылкасымовой, Аузиня, Сидорова или Куняева с их единомышленниками не было у нас в молодой поэзии стремления к углубленности, духовности. Один простой факт, что Владимир Соколов сейчас признанный авторитет в молодой поэтической волне, еще

десятилетие назад начинал писать ныне всеми восторженно хвалимые стихи, один этот факт начисто опровергает схематические варианты. Однако неоспоримо и то, что голос того же Владимира Соколова стал явственнее слышен именно сейчас, при дружной поддержке целой когорты единомыслящей талантливой поэтической молодежи. Что это значит? Да только то, что единичные черты стали превалирующими.

3

В атмосфере «развернутого фронта», непрестанного лирического наступления против мещанства и пошлости, за высокие революционные идеалы отцов, естественно, должен был благотворно измениться и сам облик лирического героя молодежной поэзии.

Вот, например, Вахтанг Джавахадзе посвящает одно из своих лучших стихотворений грузинскому классику Галактиону Табидзе. Какие же черты привлекают молодого поэта в Табидзе?

...Он не боялся риска.
Утратить все... И он не потерял души,
Отверг покой, уют — самим собой остался.

Не бросать слов на ветер! Не кричать о своей боли, но уметь, как любовь, понимать боль других! Быть сильным, цельным, одержимым идеей, как страстью, — вот к чему, указывая на фигуру Табидзе, призывает современника молодой грузинский поэт. В новом сборнике Джавахадзе «Любимые ветры» буквально на каждой странице звучит яростное «нет!» малейшему позерству.

Герой Владимира Фирсова убежден, что время высоких понятий не кануло в Лету вместе с красивым романтическим временем революции. Если такой парень, каким выведен герой Фирсова, скажет, что положит голову за народ, за партию, то можно быть уверенным, что он это сделает. Никто не может не поверить в героизм молодого человека, который был первым в Братске и на Усть-Илиме и который будет первым всегда и везде, где трудно!

Думается, что на формирование натуры нового лирического героя большое влияние оказали сами творческие биографии поэтов новой волны. Десять лет назад было модно эдакое феерическое творческое восхождение со школьной скамьи на скамью Литературного института и затем сразу на полки книжных магазинов. Казалось, что при такой системе талант расцветает удивительно быстро. Но оказалось, что удивительно быстро и... вянет. Нет творческого запаса, нет багажа жизненных наблюдений. Эмоциональный настрой остается на уровне актрисы-инженю, всю жизнь играющей наивных девушек. Но роль поэта в обществе несколько другая. И слава богу, что теперь сами молодые люди, мечтающие стать поэтами, стали избирать более трудный, но и зато более благодатный путь к Парнасу. На съезде Ленинского комсомола в полный голос прозвучало имя Валентина Сорокина, пришедшего в поэтический цех от уральского мартена. Биография

молодого поэта Вячеслава Богданова уложилась в двух строках. Но как весомы эти строки: «Родился в деревне Васильевке Тамбовской области. После окончания ФЗО более пятнадцати лет работал на Челябинском металлургическом заводе слесарем-монтажником»! И таков путь в современную поэзию большинства авторов новой молодой генерации.

Работала,
был сон мне не знаком.
Была работа, как борьба с врагом...
И снова вдруг помолодел мой голос,
после работы стала я свежей,
как налитой зерном пшеничный колос.

Майрамкан Абылкасымова от имени всех молодых поэтов объясняет, что наливает полновесный поэтический колос только рабочий труд. Истина эта в общем-то не новая. Но обратите внимание: почему нет ни у одного из молодых поэтов с рабочей биографией недостатков, до сих пор привычно списывающихся на молодость? Видимо, и молодость может быть серьезной, зрелой идейно и нравственно, если она закалена в горниле труда!

Критика сейчас с удивлением констатирует «парадоксальную» цельность натуры нового молодого лирического героя. Размытости чувств, импрессионистской расплывчатости мнений, этакой — бывало, модной на эстраде какого-нибудь лирического кафе — «стертости» идейной позиции резко противостоят и герои большинства других молодых авторов. Им просто непонятны размагниченные самобичевания, ложноинтеллигентская рефлексия.

Девизу Абылкасымовой «Добра, пока в тебе не встречу ложь. Радушна, пока честным в дом идешь. Мягка с тобой, покуда на две части не рассечет нас молния, как нож» отвечает лирическая героиня Ольги Фокиной. Она напутствует своего любимого: «Чтоб по жизни — не вкривь и вкось...»

А куда девалась альковная «романтическая» девица, пускающая лодочки или кораблики по синей реке вычурных снов? Где она, эта «игрушка заводная» в чужих липких руках? Даже в новых сборниках Беллы Ахмадуллиной и Новеллы Матвеевой уже нет «девочки, припавшей к седоку с ликующей и гибельной улыбкой». Молодая поэзия возмужала, посерьезнела. И поэтессы, пожалуй, уже сами улыбаются над былыми прегрешениями собственного вкуса, навеянными романами в духе Чарской. Героиня новой поэтической волны — молодая женщина-мать, со здоровыми чувствами и здоровой нравственностью, весьма самостоятельная, смелая, энергичная. Она покоряет целостностью восприятия мира.

И есть еще одна черта, которая объединяет героев и героинь молодой поэтической волны, — их одержимость. Возвращается время подвижнических натур. Герой Валентина Сорокина признается:

Ненасытность,
ненасытность жжет меня...
Лишь открою воспаленные глаза —
Хлынет солнце!
Хлынут птичьи голоса...

Я люблю —
И налюбиться не могу,
Бьется жизнь моя, как знамя на ветру...

Здоровый максимализм, энергичность, напористость, неуемная жажда работы («работа есть работа до хмельного бешеного пота»!) — разве не напоминает такой герой бойца Павку Корчагина?! Мариэтта Шагинян недавно подметила весьма точно: «Запад отрекается, отшатывается от «начала своего», он не хочет знать преемственности и великой, ведущей силы жизни, именуемой Временем (с большой буквы), даже в воспоминаниях. Но у нас эта сила жизни проступает, как связующее дыхание, во всем, что мы сейчас создаем». Современный молодой лирический герой одарен этим «связующим дыханием».

4

Новый облик лирического героя, само собой, потребовал поисков новых средств поэтической выразительности. Сейчас среди иных критиков бытует мнение, что вроде бы в области стиля у молодых поэтов все выглядит так, как написала Лариса Васильева:

Я открыла все то, что не раз уже было,
что другие давно до меня открывали,
что другие потом в суете забывали,
что веками земля щедро людям дарила.
Я опять все нашла.
Я опять все открыла.

Пожалуй, в основе своей поэтесса выразила справедливое суждение. Но все-таки на практике молодой поэтической волне предстояло пройти быстрый, но довольно насыщенный перипетиями путь от «атаки стилем» до уже совершенно своих, своеобычных форм, соответствующих точно и органично потребности нашего сегодняшнего времени.

Начнем с небезызвестной «атаки стилем». Была ли она? Пожалуй, все-таки да. Очевидно, нужно так, чтобы поэты начинали поиски с отрицания эпигонского сладкоголосья, с борьбы против зализанного стиха. Напомним известное недогоновское: «Я вышвырнул к чертовой тете божественный этот родник. Поэт, отупевший в пехоте, к протокам и лужам привык...». Напомним демонстративно вздыбленную «Дорогу в Тчев» Сергея Наровчатова. Напомним, потому что именно к послевоенной советской поэзии обратились прежде всего за отеческой рукой помощи молодые поэты новой волны.

К сожалению, у некоторых критиков об этой эпохе советской поэтической классики стало модным писать непременно пренебрежительно.

Но сами молодые поэты не обратили внимания на нигилистические характеристики послевоенной поэзии со стороны некото-

рых критиков. Молодые поэты готовились к баталиям, и они правильно решили, что у поэтов послевоенного поколения с их твердой убежденностью и высокой гражданственной зрелостью как раз и надо учиться владеть оружием стиха.

Ленинцев святая непреклонность,
Как ты нам близка
И дорога!
Подлостью ты называешь
Подлость.
А врага встречаешь,
Как врага.
И, впадая к недругам
В немилость,
Свет несешь пяти материкам.
Ты рождаешь в нас непримиримость
Ко всему,
Что ненавистно нам.
Говоришь нам,
Что нет тверже сплава,
Чем прямое мужество борца.
Ведь свобода —
Это наше право
Жить в борьбе,
Сражаясь до конца.

Эти строки Людмилы Татьяничевой, пожалуй, могут стать гимном молодого поэтического поколения, настолько точно выразила поэтесса старшего поколения чаяния, владеющие умами молодой генерации. О Валентине Сорокине критик А. Макаров написал: «Валентин Сорокин — поэт привораживающей искренности чувства... он неистово, прямо-таки взахлеб воспевал простых парней-работяг, дышащих вечным пламенем отваги... первые сборники его стихов... никого не оставили равнодушным именно неукротимостью темперамента, правдой и жаром чувства, искупающего и юношескую запальчивость и техническое несовершенство стиха». Такая оценка справедлива для многих коллег Сорокина. Они тоже начинали именно с недогоновского «к чертовой тете божественный этот родник». То есть прочь все, выделяющее поэта из среды!

Впрочем, очень скоро у молодых поэтов началось уже не только декларативное, а действительно органическое обретение желанной простоты: в их лирике некоторая первоначальная непритязательность и даже чуточку показная неуклюжесть, нетехничность стиля сейчас все явственнее сменяются песенными интонациями. Первоначальные демонстративные недогоновские протоки и лужи соединяются в широкое, спокойное и вольное течение равнинной реки.

Как раз в этот период открылась поэтам Традиция (с большой буквы). Впрочем, открылась она — и это очень важно для понимания всего литературного процесса! — не только поэтам.

Нет никакой тайны в том, что муза поэзии всегда взывает преимущественно к молодежи. А нынешний молодой человек, как утверждают анкеты социологов, в среднем оказывается намного культурнее, образованнее, чем десять лет назад. Тут делает свое дело неуклонный рост культуры социалистического общества.

Но есть и другой момент. В самые последние годы в круг обычного гуманитарного образования, благодаря открытиям нашей науки и более трезвым оценкам прошлого, было вовлечено много новых имен отечественной русской и особенно «восточной» (республик Закавказья и Средней Азии) истории и культуры. Идя навстречу новооткрытиям науки, нынешний читатель и сам стал чаще брать в руки не хрестоматии, а оригиналы произведений. Неоценимым учебником тут оказались для молодежи массовое издание «Библиотеки всемирной литературы», солидные тиражи классики, многосторонность популярной серии «Библиотеки поэта», несомненно возросшая активность букинистической книги. Молодой читатель теперь уже может не верить учебнику или критической статье на слово, а самолично взять в руки шедевры поэзии. Когда-то это требовали профессора от студентов гуманитарных вузов. Теперь это стало элементарным требованием культуры, признаком хорошего тона в обращении с искусством.

Серьезность отношения к книге у современного поколения молодых читателей требует ныне особой обоснованности и глубины от литературной критики. Вроде бы еще сравнительно недавно критик С. Рассадин темпераментно проповедовал умерщвление пушкинской традиции: «Поэзия идет своей дорогой. Стих, его лексика, его метрика неизбежно меняются. И будут меняться. И должны меняться. Меняется и само художественное мышление вместе со временем... Как уже было сказано, к Пушкину нельзя возвращаться».

Вроде бы еще сравнительно недавно снобистски игнорировали кое-какие критики и такого титана русской поэтической классики, как Тютчев. Если против Пушкина на манер тарана пытались двигать глыбу Маяковского, то Федора Тютчева даже почти не издавали и «не проходили» в школе. Но время для критического оригинальничания и произвола кончилось.

В. Бонч-Бруевич вспоминает: «Из старых поэтов и писателей всегда могли видеть у Владимира Ильича и Пушкина, и Лермонтова, но особенно кого он ценил — это был Ф. Тютчев. Он восторгался его поэзией». П. Лепешинский тоже вспоминал, что к Федору Тютчеву Владимир Ильич Ленин относился «с особенным благорасположением». Но, видимо, в самом деле неисповедимы порой пути иных критиков: Ленин при колоссальной загруженности находил время для Тютчева, а у нас под влиянием косных критических статей маститые составители школьных программ было решили, что у советских школьников не хватит времени на поэта-классика. К счастью, современное племя молодое читает не только Рассадина или школьную программу, но и книги о В. И. Ленине. И, естественно, молодежь затем пошла в библиотеку и сама взяла в руки томик поэта, а взяв, открыла для себя не только Тютчева, но целую плеяду поэтов-классиков и... интересных литературных критиков, в свое время об этих поэтах много и плодотворно писавших. Молодежь зачитывается язвительным Вяземским и гимническим Языковым. Она всем сердцем приняла духовно сосредоточенного Баратынского (того самого, о котором декабристская «Полярная звезда» писала: «Баратынский, по гармонии стихов и меткому употреблению языка, может стать наряду с Пушкиным». А Пушкин уже в то время почитался выдающимся поэтом!). В библиотеках записываются в очередь на сборники Полежаева, Кольцова, Полонского, Фета, Майкова, Апухтина, Ни-

китина, Бунина. Молодежь серьезнела и духовно выросла на этих стихах. Некрасова или Есенина она теперь видит не одинокими фигурами в полупустыне, а пиками гигантского поэтического горного хребта. «Нет надобности вооружаться сверхмощной оптикой, дабы убедиться, что как в самой поэзии, так и в ее взаимоотношениях с читателем происходят существенные, давно уже наметившиеся сдвиги... Ставшее без преувеличения массовым увлечение классикой в огромной мере содействовало эстетическому росту читателей. Оно обострило их способность отличать истинную гражданственность от мнимой», — тонко подметил критик Ф. Овчаренко. Прогноз этого, к сожалению, безвременно ушедшего от нас умного, глубокого молодого критика сейчас полностью сбылся.

Последнее литературное десятилетие знаменательно не только новооткрытием глубин русской философской лирики прошлого, но и постижением хикмата — мудрости классической поэзии отечественного Востока. Мы слишком часто судили до сих пор о восточной поэзии по представлениям, почерпнутым из декадентской лирики. И не знали мы, что восточная муза в тех переводах порой жеманно стилизована, что хваленые «туманы» восточной лирики — парижского или лондонского происхождения. Одержимое, искреннее проникновение современного молодежного читателя в азербайджанскую, таджикскую, узбекскую поэтическую классику разбило прежнюю фарфоровую куклу, накрашенную, в витиеватых и пестрых одеждах. И мы увидели теперь вместо заводной игрушки гармоничную и естественную красавицу женщину. Мы вдруг узнали, что романтический культ «Прекрасной дамы» из средневековой так называемой рыцарской поэзии восходит не к трубадурам, а что оригинал «Прекрасной дамы» у нас совсем рядом, в бывшем Гяндже, ныне братском Азербайджане. Благодаря многим отличным академическим переводам, осуществленным советскими исследователями в самые последние годы, мы не по отдаленным декадентским пересказам, а словно в оригинале узнали и преклонились перед философской напряженностью Ибн-Сины и прелестью газелей Хафиза, перед нетленным Омаром Хайямом. Истинным потрясением даже для искушенных любителей поэзии стал наконец-то осуществленный с фарси перевод «Пятирицы» Низами: «Спой о счастье, певец, чтоб уверился я, что о счастье поешь ты ясней соловья». Вот именно таким ясным, прозрачным, как пение соловья, услышали мы простой и чистый голос отечественной восточной поэзии.

Так предстало нам в эти годы совокупное и полнокровное наследие, впитавшее в себя вековую мудрость всех братских советских народов. «...Вы сделали бы огромную ошибку, если бы попробовали сделать тот вывод, что можно стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческим знанием», — говорил В. И. Ленин на III съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи. Молодое поколение, всерьез и глубоко обратившееся к наследию, выполнило ленинский завет; оно не скользит по поверхности скороспелых мнений, и прошлое с любовью и доверием открывается молодым. На новом, более высоком этапе развитого социалистического общества мы заново открываем себя — наверное, именно в этом первопричина неожиданно сильного «реликтового излучения» классики, проникшего в наши дни. Увлечение классикой как бы подготовило крепкую стартовую площадку

для нового подъема нашей социалистической поэзии. В этих условиях молодое поколение поэтов правильно поняло свою миссию. Молодые поэты от благородного песенного стиля — с его предельной простотой, музыкальностью слога, но, естественно, несколько узким диапазоном — начинают все настойчивее идти к многослойности, многопластовости сюжетного развития внутри стиха. Поэты — такие, как Анатолий Жигулин со своим сборником «Прозрачные дни», — доказывают, что им по плечу классическая гармония и простота, что их голосу доступны и тютчевские, и фетовские интонации.

Опять я подумал о родине,
Где стынет в росе лебеда,
Где в старой замшелой колодине
С утра холодеет звезда.

Там черные тени в дубраве
И белый над берегом сад.
И можно не думать о славе
И слушать, как листья летят.

Там речка прозрачна, как детство,
Там рыжим кустам камыша,
Наверное, точно известно,
Бессмертна ли наша душа.

5

Мы цитировали Ф. Энгельса, объясняя, почему одно время возник в советской поэзии такой не очень-то приятный и не сразу понятный «зигзаг», как псевдоисповедальная молодежная лирика. Но там же, несколько дальше, Ф. Энгельс разъясняет и то, как исчезают случайные «зигзаги» в чисто абстрактно-идеологической области. «Если вы начертите среднюю ось кривой, — пишет Энгельс, — то найдете, что чем длиннее изучаемый период, чем шире изучаемая область, тем более приближается эта ось к оси экономического развития, тем более параллельно ей она идет».

А теперь обратимся к материалам XXIV съезда КПСС, указавшим основные тенденции развития современного советского общества. Не только принцип решающего звена, как это делалось прежде, но именно комплексность, целостность решения всех вопросов. «Как известно, на первых этапах социалистического строительства мы вынуждены были сосредоточиваться на самом первоочередном, на том, от чего зависело само существование молодого Советского государства. Теперь, — говорил Л. И. Брежнев, — положение становится иным. Мы не только хотим, — хотели мы этого всегда, — но мы можем и должны решать одновременно более широкий круг задач».

Целостность взгляда, стремление постигнуть каждое явление не изолированно, а в комплексе взаимосвязей и непременном сцеплении с другими явлениями — такая тенденция общества, ставшая знамением нынешнего времени, постепенно должна была воздействовать и на всю нашу духовно-идеологическую область, в

том числе и на поэзию. Может быть, даже на поэзию прежде других искусств, потому что эстетиками издавна подмечена ее редкая мобильность, особая общественная чуткость.

Да позволено нам будет теперь процитировать старого диалектика Г. Гегеля: для классического «духовного образа искусства существенным было то, что он выступал как внешний и действительный... и абсолютное духовное назначение человека проявлялось как реальная действительность; индивид требовал согласия с ее субстанцией и всеобщностью. Этой высшей целью были... государственная жизнь, государственная гражданственность, нравственность и живой патриотизм. Помимо этого интереса, не было ничего более высокого, более истинного».

Вот, оказывается, зачем прежде всего мы обращались к опыту классики: мы искали там соответствия и переклички с нашими самыми благородными воззрениями. Но если это все так, то тогда совершенно очевидно, что и в области поэтической формы сейчас дальнейшие поиски должны пойти к ведущей классической форме, то есть к эпосу.

Быть бы мне бардом белоголовым,
Звонко на струнах густых рокотать,
Чтобы за взглядом, чтобы за словом
Соколы ввысь успевали взлетать.

Пусть небеса б надо мною гудели,
Пусть бы леса окружали меня,
Пусть бы бород своих древних кудели
Деды у тихого грели огня.

Только ведь ныне счастливее юный!
Что там былые Бояны земли,
Если
    едва прикоснешься —
                                        и струны
В звездную высь вознесут корабли.

Перекроить небеса, перестроить!
Все мирозданье — грохочущий цех
Гордое время рождает героев...

Весьма типичное для молодой поэтической генерации стихотворение из сборника Степана Гаврусева «Отправление в полет», на наш взгляд, хорошо передает эту нынешнюю атмосферу ожидания эпоса. Поэты нравственно готовы, чтобы, подобно Бояну, подняться «шизым орлом под облакы», потому что тоже ощущают себя звеном в цепи поколения и не мыслят себя иначе как частицей своего народа, потому что думают не частными, а всеобщими категориями («Все мирозданье — грохочущий цех»), слив свое внутреннее «я» с великой общенародной идеей.

В сборнике «Поющее лето» Борис Примеров говорит уже совсем в стиле эпического поэта: «Взошел я в совершенные лета, задумался о жизни поневоле, облокотясь о здешние ветра, как дуб могучий о широко поле». И ему в тон отвечает Валентин Сорокин в новом сборнике «Голубые перевалы»: «Я захожу по грудь в густое небо и трогаю ладонью облака...» Раньше такого рода стро-

ки, наверное, показались бы нам единичными красивыми метафорами, расшивающими, как пестрые нитки, обыденную канву стиха. Но ныне наши поэты иначе своего лирического героя уже и не представляют. Теперь они так видят мир. Вспомним, как пели в русских деревнях — да кое-где поют еще и сейчас! — про Святогора: «Едет богатырь выше леса стоячего, головой упирается под облако ходячее...» (Записано П. Рыбниковым в деревне Середки на Онеге). Вспомним этот фольклорный оборот, уже давно не акцентируемый творцами народного эпоса. Вспомним и поймем эпическую природу некоторых уже совсем свежих современных поэтических тенденций.

Впрочем, не будем углубляться в прогнозы. Все это пока еще только начало. Только еще контур нового лика молодой поэзии, которая сейчас на самом перевале и с которой мы связываем наши большие ожидания. Она уже развеяла туманы псевдоисповедальности. Она нашла мужественного героя.



МУЖЕСТВО ЛЮБВИ

Первый сборник стихов Владимира Фирсова «Березовый рассвет», вышедший в 1959 году, начинался не совсем в привычном для многих молодых поэтов той поры «ключе», а скорее в духе дебютантов конца 60-х годов:

...Я иду, ощущая
Весною согретую землю,
Я ищу свою песню
В лесах меж высоких деревьев,
Там, где пилы гудят...
Я ищу свою песню во всем:
В скрипе сонных калиток,
В разбуженной утром деревне...

Все ясно, все просто. Поэт отправляется в поиск самого себя, своей темы, своего поэтического мира не куда-то вдаль, не на новые земли, не в геологические экспедиции, не на гигантские стройки, а на свою тихую, но громкую в славе своей родную Смоленщину. Прямо скажем, неэффектно, неброско, немодно по тому времени было решение поэта. Но в этом был дальний прицел, предвидение своего завтрашнего дня, да оказалось, и дня всей нашей поэзии.

Владимир Фирсов, Чувство Родины. М., Воениздат, 1971.

В самом деле, прошло совсем немного времени, и стало ясно всем: вне конкретного познания родины, вне познания своего «я» среди земляков не могло в человеке, а в художнике трижды не могло возникнуть и утвердиться высокое чувство Родины.

Путь познания мира, путь поиска глубоко личного в созвучии с общественным есть в конечном итоге путь к зрелости. И наивно было бы полагать, что он прост и ясен, что он — сплошная восходящая линия.

Поэта, если он подлинный поэт, а не ремесленник от поэзии, ждут взлеты и падения. Но, может быть, потому и ярче у него бывают удачи и радостнее ощущения творческих побед, что иногда большой ценой внутреннего переосмысления многого платит поэт за каждую неудачу. Все это было и у Вл. Фирсова в пути от первого сборника до книги «Чувство Родины», где собраны лучшие стихи последних лет и несколько поэм. Эта книга — своеобразный итог пройденного и пережитого. А итоговое — всегда конечный результат скрытых от нас процессов развития, становления, складывания, верная возможность «восстановить» путь поэта, его творческого возмужания по промежуточным результатам.

Между «Березовым рассветом» и «Чувством Родины» были сборники «Вдали от тебя» (1961), «Зеленое эхо» (1963), «Память» (1963), «Преданность» (1964), «Горицвет» (1965), «Рябиновый пожар» (1966), «Солнечные колодцы» (1969).

Говорят, человек всегда должен прибавлять к себе что-то доброе, хорошее, так как он немыслим вне развития в коллективе. Поэт прибавляет не только в силу собственного мужания, но и в органичном единстве с отечественной поэзией. И потому каждый сборник во всем лучшем, что составляло его основу, вбирал в себя мужество любви к Родине, которое и представляется мне основой собственно чувства Родины — одного из самых сокровенных и глубоких чувств зрелого человека и поэта. К нему нужно было прийти. И Вл. Фирсов пришел, ибо верно и навсегда определил азимут своего пути в литературу.

Чтобы читатель сумел сам постичь этот многолетний и трудный путь, я хочу, помимо перечня основных сборников поэта, попробовать показать своеобразие уже первого сборника, в сравнении с которым будет проще выявить особенность фирсовского почерка в современной поэзии и воочию ощутить смысл мужества любви поэта. Собственно, потому и разговор начат с упоминания о «Березовом рассвете».

Писать о первых стихах Вл. Фирсова несложно. Они — воспоминания, наблюдения. Они акварельны в рисунке и ясны в слоге. В них явно заметна «зона обнаружения» поэтом окружающего мира: в его поле зрения пока все лежащее на поверхности. А это дает возможность «взвихрить» чувства. Зрелому поэту их взвихривать не нужно и нельзя: они и без того тяжелы у него и сильны. У молодого сила в задоре, даже в задиристости. «Другу» он советует с ходу: «Идти дорогой без дорог. И так — покуда сердце бьется». А горожанке: «Ты красивая? Да. Но твоей красоты слишком мало для тех, кто родился в России!» Кажется даже, будто Россия для него еще не включает город. Это родная земля с травой под ногами, с озимыми на полях, та земля, где он собирает свои песни. Юношеским вызовом звучали слова: «Я ребенком свое отплакал, чтоб сегодня не плакать зря». А если всерьез отнестись к этим словам, то за вызовом можно узреть уже нравственную про-

грамму. В ней угадывается, словно в зерне колос, будущее мужество любви, которое проявится в лучших гражданских стихах поэта и в его поэмах.

Так, в первом сборнике уже четко просматривался характер ершистого, дерзкого и смелого юноши, который в чем-то похож на новобранца, с чистым сердцем и внутренней убежденностью принявшего присягу на верность Родине, но еще не овладевшего искусством ратного мастерства. Для этого нужно время. Но таким веришь: они овладеют этим искусством и надежно оберегут Родину-мать.

Рисовать, петь, спорить — вот желания поэта. И ни в чем не усомниться, не остановиться, не спросить у себя. Да и зачем, когда все ясно. Это не оговор поэта. В такой позиции была тоже своя смелость, которую теперь можно понять и оценить, если сравнить с тем рефлектирующим и вечно сомневающимся молодым героем, что пришел в литературу как раз в момент дебюта в нем Владимира Фирсова.

Зрелость потом продиктует вопросительную ноту в повествовательной строфе стихотворения, начинающегося столь знаменательно: «Человек, познавший жажду», —

Ничего на свете не желая,
Об одном
Мечтается в пути —
Как бы красоту родного края
До людского сердца донести.

Я нисколько не склонен утверждать, что зрелости только и присущи сомнения, раздумья, осторожность, как это порой представляется в наших суждениях о творчестве писателей или поэтов. Да, эти свойства душевного состояния есть у зрелости. Но в еще большей степени, по-моему, ей присущи ясность и убежденность. Об этом свидетельствует и сборник «Чувство Родины». Но вот рождаются эти качества зрелости сложно. Чтобы прийти к ним, придется многое пережить, перечувствовать, постигая смысл ясности на личном опыте, выверенном опытом соотечественников и других людей. Именно тут открывается поэту главное, основное, во имя чего стоило и стоит жить, работать и бороться:

И еще немало будет пройдено,
Коль зовут в грядущее пути.
Но святей и чище чувства Родины
Людям никогда не обрести.

С этим чувством человек рождается,
С ним живет и умирает с ним,
Все пройдет, а Родина —
Останется,
Если мы то чувство сохраним.

Этим запевом начинается сборник «Чувство Родины». Не правда ли, кажется, сохранена тема начального стихотворения первой книжки?! Но насколько различен философский объем этих стихов! Уже не просто проселки, не просто собирание песен, не просто конкретность быта деревни в центре внимания Вл. Фирсова, а до-

роги Родины в грядущее, выводящие его к возвышенному чувству причастности ко всему на родной советской земле. Да вот что интересно: вне начальных проселков, вне конкретного быта родной деревни, вне любви к отчему дому и немыслимо было бы это философское постижение Родины.

Если в первом сборнике «кольцо» любой дороги замыкалось опять-таки в родной деревне, герой оказывался среди земляков, что было неизбежным и главным, то теперь все пути, возникающие в его стихах, ведут к Родине, за которой угадывается вся наша страна.

Заметно выявляется эта черта в отзыве души на «память» века, встающую то ли в образе обелисков, то ли в образе островов, что «как бакены качаются от бомб, летящих на материки». Вот откуда это в «Глазах памяти»:

Я стою один над снежным полем,
Уцелевший чудом в том огне,
Я давно неисцелимо болен
Памятью
О проклятой войне...

Это конкретно о себе и обо всем поколении мальчишек 30-х годов, детство которых сложила война, забрав навсегда или вернув немногим отцов, старших братьев, и тем самым навсегда осталась жестокой и беспощадной в памяти моих сверстников. Пожалуй, самые сильные потрясения для нас в детстве были связаны с войной и с первыми послевоенными годами. Осознать эти потрясения, «проявить» в сознании, сделать фактом биографии помогли годы мужания, нашего гражданского созревания. Жившие в деревне или в городах мальчишки — работали. Кто в поле, кто в цехе. Мы все казались взрослыми. И нас такими по справедливости считали. Как понятны и близки эти строки Вл. Фирсова, написанные им в 1967 году и перекликающиеся по теме со многими мыслями о своем военном детстве Вл. Цыбина и В. Сорокина, В. Богданова и Г. Серебрякова, В. Яковченко и других поэтов, кому теперь за тридцать:

Я был мальчишкой,
Маленьким, курносым,
Веселым и, конечно, озорным.
Но в эти годы я казался взрослым —
Нехитростным умением своим.
Я мог надежно лошадь засупонить,
Метать стога, косить, пахать, плясать...
И вот сегодня есть о чем мне вспомнить,
И есть чем жить,
И есть о чем писать!..

Эта взрослость человеческая должна была проявиться и вскоре проявилась в поэзии Вл. Фирсова. Дело тут, конечно же, не в назывном откровении поэта: я — взрослый. А в том специфическом, особом взгляде на жизнь, который обнаруживается почти в каждом стихотворении сборника. Я имею в виду постоянное «двойное», что ли, постижение предмета поэтического повествования у Вл. Фирсова. Помимо собственного взгляда, есть и видение другого или

других, что выражается в этом «И я сквозь слезы вижу слезы друга». Поэт как бы каждый раз проверяет или подкрепляет нужность того, что ему хочется поведать людям. В этом как раз и обнаруживается та своеобразная объективность личностного взгляда на жизнь, которая тоже есть качественная принадлежность поэтической зрелости. Наибольшей убедительности в своем приеме поэт достигает в тех случаях, когда незаметно, не акцентируя внимания, утверждает в самой ткани стиха эту «двойную» точку зрения на мир. И тогда незаметно психологически «я» лирического героя переходит во множественное «мы», среди которых есть «я» каждого из нас. Вспомните хотя бы стихотворение «Лето сорок пятого»:

Я бродил неустанно,
Словно жизнь познавал.
На глухих полустанках
С ребятней бедовал.

Мы все беды сносили,
Потому что не раз
Полустанки России
Были домом для нас.

Благодаря такому принципу изображения поэт добивается осязаемой слитности лирического «я» с чувствами адресата стихов. Больше того, в этом принципе, как мне представляется, и заключен основной нерв лирических поэм Вл. Фирсова. Это придает им цельность и эпическое начало. Этот же «нерв» почти всегда спасает их от возможной для такого «открытого» в своей публицистичности поэта, как Фирсов, голой декларативности или лозунговой призывности. И в то же время сообщает особый пафос лирической проникновенности, его публицистическим, я бы сказал, даже политическим, стихам, которые, кстати, почему-то ныне не в особой чести у поэтов-современников. А потому и в кругу единомышленников поэту-публицисту приходится преодолевать сопротивление этакого если не скептического, то, во всяком случае, некоторого пренебрежительного отношения к своим остросовременным стихам.

Мы спорим, выясняем вопрос о гражданственности поэзии. Отчего? Чтобы проверить боевое оружие поэзии или вспомнить о том, что оно все-таки есть? А ведь гражданственность поэзии — это прежде всего понятие историческое и партийное. Во-вторых, оно жгуче современное со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И много ли у нас настоящих стихов о событиях сего дня? Много ли гневных, изнутри идущих выступлений поэтов по поводу различных происков империалистов, маоистов, сионистов? Стол дипломатических переговоров расширился, и за ним оказались уже... поэты. Но ведь им пристало быть бойцами, идеологическими комиссарами!

И в том, что Вл. Фирсов старается быть остросовременным, принципиально-партийным в своих публицистических стихах и поэмах, свидетельство и суть мужества его любви к Советской Родине:

Не из космических глубин
Исходит Родины понятье.
Она — созвездия рябин

И, если ты не отлюбил,
Любимой жаркие объятья.

Понятны Родины черты
В размахе песни соловьиной.
От малой тропки муравьиной
До лебединой высоты
Все — Родина...

Вот почему я убежден: поэт имел право назвать свой итоговый сборник именно так — «Чувство Родины». Вот почему чуткому слуху Михаила Шолохова они продиктовали эти слова предисловия к сборнику: «Не так-то много у нас хороших поэтов, но и среди них найдется всего лишь несколько человек, говорящих о России таким приглушенно интимным и любящим голосом, который волнует и запоминается надолго. Владимир Фирсов принадлежит к этим немногим избранным».

Бор. ЛЕОНОВ

АВТОРИТЕТ ЛИЧНОСТИ

«Повезло!» — говорят иногда о спектаклях, имея в виду большую хорошую пьесу, которую они получили.

На деле причина подобного «везенья» не случайна: высокое идейное и художественное качество работы театра, сумевшего поведать зрителю о важном, насущном.

Таким спектаклем, на который широко и благожелательно откликнулась печать (в первую очередь ленинградская), стал «Человек со стороны» в Театре имени Ленсовета, поставленный И. Владимировым по пьесе И. Дворецкого.

Этой работой коллектив продолжает свои поиски образного исследования одной из ведущих тем советского театра: о людях труда. Верен этой теме и драматург Игнатий Дворецкий, в пьесах «Взрыв» и «Трасса» на современном материале развивающий, можно сказать, традиции погодинской драматургии. Как и во многих пьесах Н. Погодина, во «Взрыве», «Трассе» и особенно в «Человеке со стороны» автор умело сочетает документальность, «узнаваемость» характеров (прежде всего — главного героя Чешкова) с обобщенными чертами, которые выявила в людях социалистическая действительность.

Молодой коммунист Чешков, пришедший возглавить литейный цех огромного современного завода, духовно родствен начальнику крупного строительства в годы первых пятилеток Гаю — одному из популярных героев пьесы Погодина «Мой друг». Природа энтузиазма Гая и Чешкова одна — преданность делу и партии, сочетающаяся с почти юношеской влюбленностью в профессию созидателя.

Неотъемлемость личного и общественного для Гая и Чешкова — не газетная фраза, а сущность жизни. Им доступно ощущение величия и поэзии труда, который из необходимости становится, по выражению К. Маркса, «наслаждением», «игрой физических и интеллектуальных сил».

Однако в известной трактовке образа Гая в Московском театре Революции в 1932 году М. Астангов подчеркивал некоторый фанатизм своего героя — веру в успех, несмотря на все и всяческие препятствия, умение выступить в роли «пробивного кулака» и буквально «вырвать» ассигнования или разрешение на что-то. Чешков же, которого играет сегодня в Театре имени Ленсовета Л. Дьячков, — руководитель другой современной формации.

Дело не только в том, что он обладает гораздо более глубокими специальными знаниями: иным оказывается психологический склад нынешнего командира производства. Чешков не рассчитывает в такой мере на энтузиазм (и личный, и общественный), как Гай. И вовсе не потому, что трудовой энтузиазм нынче уменьшился. Одним из требований производства сегодня является его возросшая культура, умение точно ощутить «пропорции» между чувством долга, трудовым порывом и возможностью приложить их с пользой и разумом.

Но одно дело знать возможности вверенного тебе предприятия, и другое — уметь реализовать их трудами большого коллектива людей. На эту-то сторону дела и обращает внимание театр.

И. Владимиров так сказал нам о направленности спектакля:

— Мы хотели поставить спектакль не о производстве, а о людях, заинтересованных в своем деле. Нравственные проблемы, затронутые в пьесе, могут относиться к любой области творчества.

Режиссер И. Владимиров и актер Л. Дьячков проделали сложный путь к своему герою. И сегодня Чешков, как видит и чувствует зритель, — истинный сын своего века, который знает не только, во имя чего он будет действовать, но и **как**.

Заметим: ни один из героев «Человека со стороны» не собирается приобретать личные блага за счет общества, думая только о своей обывательской выгоде. Люди тут — это хороший, по-своему сроднившийся коллектив, для них жизнь, престиж завода — личное и большое дело.

Поэтому, когда приходит человек, который начинает разрушать выработанную временем и немалым трудом жизненную систему (а Чешков делает это довольно резко), люди воспринимают его поведение как оскорбление своих принципов, ущемление «законного» авторитета.

По убеждению многих работников завода, куда был приглашен Чешков, подобный руководитель несет с собой разрушение, он **не гуманен** по отношению к людям.

Так драматург нащупывает новую природу конфликта. Он ничем не напоминает печально известный конфликт «хорошего» с «отличным». Конфликт в пьесе «Человек со стороны» — это конфликт современности, помогающий средствами театра поднять и во многом разрешить (в пользу Чешкова) вопрос о том, что такое гуманное отношение к людям в нынешних условиях труда.

Пьеса и спектакль утверждают: снисходительное отношение к людям — никакое не проявление гуманности; она — в требовательности, пусть суровой, но уважительной к творческим возможностям человека, помогающей их раскрытию, утверждению.

— Нельзя путать дружеские и служебные отношения, — говорит Чешков.

И он прав. Ибо отсюда рукой подать до другой, чреватой серьезными убытками путаницы: где — твое, а где — народное. Самые «добрые», «гуманные» побуждения лежали в основе поступка директора фирмы Плужина, который держал начальником цеха работника, в прошлом хорошего, но нынче безнадежно отставшего; как объяснил сам Плужин:

— Я привык беречь старых друзей.

Театр с помощью своего главного героя в первую очередь дискредитирует подобный «гуманизм», который приносит не только материальные, экономические убытки, но и разлагающе воздействует на коллектив.

Главный герой спектакля, обнажая недостатки, характерные для производства, вместе с тем отнюдь не выступает в роли непогрешимого арбитра. Чешков, каким он написан драматургом и сыгран актером, совсем не идеален по своим человеческим качествам, бывает прямолинеен, порой беспощаден не всегда пропорционально нуждам дела. Но его можно понять, когда он прямо и честно предупреждает своего заместителя Манагарова, что «отношения будут нелегкими»: они, скорее всего, не сработаются. Ибо Манагаров (и Чешков этого не скрывает) представляет собой ту враждебную молодому инженеру разновидность идеальных исполнителей, которые были (да и продолжают быть) любезны оку и самолюбию иных начальников. Современному производству безгласные «винтики» — интеллектуальные тунеядцы — не нужны.

Театр прослеживает полный огромного волевого напряжения путь, который приходится проделать герою к достижению цели. Идет столкновение не только со старым складом производства, но и с неправильными отношениями меж людьми.

На старейшем предприятии, овеянном боевыми традициями (в период Великой Отечественной войны люди вкапывались в землю и работали под огнем немцев), все привыкли делать своими руками, с помощью своих кадров. Но то, с чем приходилось мириться во время войны и в годы послевоенной разрухи, неприемлемо как норма и обыденность теперь.

Когда Чешков пришел на завод, многие, не отдавая себе в этом отчета, продолжали работать по старинке. Одни устали, другие притерпелись к системе накачек, в основе которой — безответственность, привычка к авралам. Выполнение плана в таких условиях достигалось «любой ценой», и, по сути, лишь доказывало, что завод не в состоянии обеспечить бесперебойный трудовой процесс.

— Нужно работать по графику! Необходим анализ работы. Самое страшное — обман. Он деморализует производство. Тянется цепочка мелкой лжи, которая перерастает в крупный обман. Ваша неправильная информация влечет за собой неправильные указания с моей стороны.

Эту жесткую правду Чешков говорит прямо в лицо собравшимся на совещание.

Нередко герой обращается и непосредственно в зал.

И зрители, слушая «производственные» рассуждения героя, относящиеся, казалось бы, к узкой сфере его деятельности, не только не скучают, но оказываются целиком захваченными происходящим. На спектаклях «Человека со стороны» зал сидит, как на митинге — в лучшем смысле слова.

Фразы Чешкова, ставшие, можно сказать, афористичными — «Я не хочу давать план! Работать хорошо и выполнять план — не всегда одно и то же», — зрители встречают аплодисментами.

Разумеется, секрет успеха новой работы театра не только в таланте актера Л. Дьячкова, который отличен внутренним, углубленным пафосом гражданственности.

В своем герое драматург и театр вскрыли то сочетание качеств, которым должен обладать человек коммунистического общества, в первую очередь командир производства: идейная убежденность и нравственно-психологическая зрелость.

Несмотря на недостатки характера, о которых шла речь, Чешков у Дьячкова гармоническая в целом личность. Истоки его поступков глубоко мотивированы, естественны. Как отметил один из рецензентов, Чешков — это человек, который «и в чисто деловом смысле не может согласиться с тем, что претит ему эмоционально, по-человечески; человеческое, эмоциональное входит в его деловой арсенал как полноправное оружие...»

И верно, одним из важных морально-этических выводов спектакля является мысль о неразделимости понятий «авторитет руководителя» и «авторитет личности». Работать на передовом производстве могут лишь те, кто не только профессионально, но и духовно подготовлен для такого труда.

В спектакле, публицистическом по содержанию и форме, на материале экономической и общественной жизни страны раскрывается тема тесного идейного и делового взаимодействия руководителя с людьми современного производства.

Труд, основанный на таком взаимодействии, дает не только отличный экономический, но и моральный эффект: он дарит то чувство удовлетворения, которым во многом жив человек.

Этот интересный, отнюдь не успокоительный по своим мыслям спектакль, сделанный на большом внутреннем накале, оканчивается оптимистической нотой. Желание работать с полной отдачей, на уровне нашего века, вера в Чешкова, как одаренного руководителя, приводит в его лагерь самых разных людей — начальника бюро технического контроля Пухова — тихого, придерживавшегося теории «невмешательства», энергичного коммерческого директора Валентика, и даже начальника бюро экономики и хозрасчета Щеголеву. Эта знающая, умная и достаточно самоуверенная женщина сначала была среди тех, кто принял в штыки «человека со стороны». Впоследствии она полюбила Чешкова чисто по-женски, сердцем, поставив ему высшую оценку как человеку.

О том, как нелегко складывались отношения этих двух людей, объединенных общностью устремлений, но столь непохожих по характеру, в спектакле рассказано «вторым планом».

Подобная расстановка сил оправдана.

В центре постановки — актуальные нравственные проблемы в сфере труда сегодня. Без их правильного разрешения невозможно служение своему делу и в конечном счете людям. Современный советский руководитель должен уметь и сметь масштабно мыслить, сочетая размах и точный расчет, опыт специалиста и особый талант — быть личностью.

Алиса ДАНЧИЧ



В. А. Шошин, Летопись дружбы. К проблеме интернационализма в советской литературе. Л., изд-во «Наука», 1971.

При первом же знакомстве с книгой она впечатляет прежде всего богатством историографического, библиографического и собственно фактического материала. Количество его требовало от исследователя как строгой систематизации, так и четкой композиции. Думается, что эта двуединая задача в основном решена в книге. Во всяком случае, в ней соблюдена историческая и историко-литературная последовательность в раскрытии истоков, становления и обогащения инонациональной темы в русской литературе вообще и в русской советской в особенности; причем делается это в постоянном сопоставлении с литературами Запада и Востока.

Практика социалистического преобразования в нашей стране, обострение социальных противоречий в капиталистических странах и развертывание национально-освободительной борьбы народов, стремление противостоять лжетеориям о развитии нашей многонациональной литературы и реакционной теории «вненациональных» тенденций — вот факторы, обусловившие необходимость и актуальность работы автора.

Что касается непосредственного определения задач, то об этом сказано прямо: «Конспективно определить основные линии развития интернациональной темы в русской советской литературе...»

И В. Шошин стремится как можно полнее представить уже на раннем этапе развития советской литературы богатство фактов, примеров, имен и книг, которые подтверждают мысль об органичности инонациональной темы в русской литературе. В. Арсеньев и В. Тан-Богораз, А. Фадеев и М. Пришвин, Л. Соловьев и Б. Чепрунов, Л. Пасынков и П. Лукницкий, С. Бородин и многие другие русские писатели уже в начале своего творческого пути связывали свое творчество с инонациональной темой; причем новация была в том, что герой брался в единстве с народом и рассматривался как творец истории. Попутно автор раскрывает интернациональное как родовое свойство русского характера.

«Наша тема, — пишет в «Заключении» В. А. Шошин, — дает простор различным типам историко-литературных исследований. В частности, несомненный интерес представляет изучение произведений, посвященных отдельным народам». И в качестве примера этому автор дает «Приложение»: «Финляндия в русской советской литературе (опыт обзора)».

Итак, книга вроде бы просматривается в своей завершенности, проставлены необходимые «координаты» ее проблем и вопросов, и, стало быть, есть возможность дать ей оценку. Мне кажется, здесь не может быть двух мнений: книга будет с интересом встречена не только специалистами-литераторами. Она сослужит добрую службу и в школьной практике преподавания, ибо учитель-словесник найдет в ней много интересного материала, который он сможет использовать на уроках по литературе.

Но есть в книге и досадный, с моей точки зрения, авторский недочет. Стремление к расширению «штатного расписания» авторов и произведений порой забивает собственную мысль исследователя, рвет ее, дробит стройность изложения проблемных вопросов. Это нужно учитывать при работе с книгой, как не следует забывать и того, что она несет в себе заряд пристрастного отношения автора к проблеме, к произведениям, к самому литературному процессу. Именно это свойство выделяет ее из многих сугубо научных книг, делает доступной каждому, кто всерьез интересуется проблемами развития родной литературы.

Л. БОРИСОВ

Борис Примеров, Румянец года. М., изд-во «Советский писатель», 1971.

«Румянец года» — пятая книга Бориса Примерова. Это уже определенная итоговая черта, необходимая и четкая. Поэт представил в сборнике не только самое важное и интересное, но и со всей ответственностью и непоказной лирической вдумчивостью оглянулся на прошедшие годы, чтобы сравнить их со своим сегодняшним мироощущением, точнее и зорче определить теперешние свои гражданские и художественные позиции.

О возраст мой, ты многого не знал,
Не принимал, не допускал до сердца!
Как соловей, ты мысленно витал
И рассыпал беспечные коленца, —

признается Борис Примеров. И еще говорил он в своем «Начале»: «...голос мой звучал, самой дальней песне он принадлежал». Прошло время раздумий, выработки мастерства, поиска поэтических концепций — и «дальние песни» для поэта стали слышнее, явственнее.

Тема Родины — и «малой», вскормившей тебя, и России в целом — высокая и необходимая для всякого поэта. Но она же и ответственна как никакая другая. В поэзии Бориса Примерова эта тема является главной, кровной, все определяющей. О любви к

России поэт говорит взволнованно, страстно. Это настоящее «половодье чувств». Тут и околдованность картиной сельских сумерек: «...и присядет ночная небыль, словно лебедь, на край пруда». И невольное внутреннее содрогание перед мощью окружающей природы: «Пусть с жадностью глядят нескрытой, бедой внезапною грозя, зеленые, как малахиты, реки подводные глаза». Густая метафоричность достигается у Примерова живой и трепетной жизнью чувства, движением души. Восприятие родной природы как конкретно живого, близкого, понятного и глубоко любимого — одна из характернейших черт его лирики. Без какой бы то ни было неестественности и образных натяжек делится поэт всем увиденным. Картины его полны торжественной мощи, философского значения:

Недаром движущая сила
Полян мерцающих и нив
Приподняла собой светило,
Его к земле поворотив.

Но не только это отличает музу Бориса Примерова. Ему понятно и другое: искренность и задушевность поэтических песен еще не являются тем мерилом, по которому судят о творчестве поэта вообще.

Но я человек,
И мне мало утехи,
И мало стоять
Возле песни своей, —

говорит автор «Румянца года», и это не мимолетное признанье, не случайно вырвавшийся возглас, а глубокое осознание существа поэзии — ее гражданской наполненности.

Владимир ЮРШОВ

В. В. Каргалов, Московская Русь в советской художественной литературе. М., изд-во «Высшая школа», 1971.

Уже потому обращаешь внимание на эту книгу, что приходится задуматься о современных судьбах, сегодняшнем состоянии исторической темы в литературе. Вспомним притом, что утверждение творческой зрелости основоположников русского критического реализма связано именно с обращением к истории: у Пушкина — это «Борис Годунов», у Гоголя — «Тарас Бульба», у Лермонтова — «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Читая книгу Каргалова, убеждаешься, что с исторической литературой у нас нынешние дела обстоят все же не скудно. Автор рассматривает немало, романов, описывающих Русь на отрезке времени от XI до XV века. Книги те разнообразны по материалу

и по углу зрения на него. Какие же творческие воззрения поддерживает Каргалов?

Более всего — преимущественное внимание к народной жизни. Так, он постоянно напоминает писателям, что сопротивление татарскому игу и одоление его происходило прежде всего благодаря не дипломатическому хитроумию князей и оборотистости церковных иерархов, а — неслабеющей воле к борьбе у всех сословий простонародья, патриотическому постоянству крестьянских масс. Именно с этой стороны исследователя не удовлетворяют роман В. Язвицкого «Иван III — государь всея Руси» и повесть Вс. Н. Иванова «Иван Третий». Вот какой упрек адресует он Язвицкому: «Автор наблюдает за событиями в основном из окна княжеского терема, глазами великого князя и его феодального окружения». Соответственно, встречают одобрение те литераторы, кто рисует Русь мужицкую, то есть полноту народного существования. Стоит пожалеть, что при подготовке книги осталась незамеченной повесть Д. Балашова «Господин Великий Новгород», как раз открывающая доказательно и новаторски народное бытие и мироощущение русских людей XIII века. Анализ этой повести мог бы подкрепить позиции нынешней книги, а кое в чем и уточнить их.

Что мы имеем в виду? Оговорившись сперва, что у исторической науки и исторической литературы есть взаимонезаменяемые преимущества, укажем: жизнь состоит не из одной борьбы, но еще и из созидания, повседневного труда, в котором прежде всего выражает себя народ. Понятно, повседневность никто не станет искать в древних государственных грамотах или в летописях, отчего прошлое начинает казаться историку цепью исключительных событий — лишь битв, смут, возмущений, пожаров, княжеских съездов и конфликтов. Отголоски же быта, как правило, остаются косвенные. И ученый прав, опираясь на доступные источники. Но прав и писатель, позволяющий себе восстановить, словно живою водой, ровное дыхание давнего дня. И это немаловажно даже для историзма современного мышления; к примеру, иначе не понять изуверской настойчивости татарских набегов — не волнения они подавляли через каждые несколько лет, а обирали народ, вновь и вновь неотступно возвращавшийся к созиданию, к творению общественного богатства, национального достояния, — вот его-то приращение разжигало аппетиты угнетателей, но и лежало в основе народного противостояния игу.

Так что стоит внести определенные коррективы в понятие историзма применительно к литературному творчеству. Иначе анализ окажется однобок, недовершен. Скажем, в книге много внимания уделено роману В. Д. Иванова «Русь Великая», приводятся десятки выдержек, кратких и пространных, прослеживается, какой исторический и географический материал охватил писатель. А зачем Валентину Дмитриевичу Иванову вся эта энциклопедическая эрудиция? Какой эстетической целью она продиктована? Мы не намерены здесь доделывать за другого критика анализ этого знаменательного романа, его патриотических идейных основ и стилистической самобытности, но вправе заметить, что «Русь Великая» прежде всего важна не по нагрузке материалом, а, так сказать, по монтажу, по тем мыслям, которые рождает смелое сопоставление различных бытовых и духовных укладов.

Мы приветствуем обращение к попавшему было в тень жанру,

к теме народности в историческом разрезе, приветствуем внимание к документальной подоснове произведений. Но ведь своим появлением книга Каргалова обязана введению в учебный план педагогических институтов курса «Историко-художественная литература» и обозначена как пособие студентам. Она, думается, не достигает полностью своей цели, особенно если останется единственным пособием; тем более здесь нет намека на учебник. А учебник хотелось бы видеть. И чтоб его авторы преодолели просчеты и ограниченность нынешней методологии: литературу прежде всего надо рассматривать как литературу, как самостоятельный художественный мир, анализировать его (чего самое бескрайнее цитатничество не заменит), а не считать факультативным приложением к курсу отечественной истории. Если пристально глянуть, мы много богаче литературой о прошлых веках и их славе, нежели то представлено в сегодняшней книге, где не сочтено даже нужным упомянуть о работе нынешних поэтов над исторической темой, — они работают, пожалуй, более дружно и обильно, чем прозаики, так что логичнее начинать с них (а им по части исторической грамотности порою невредно оказать неотложную помощь).

Святослав КОТЕНКО

**Ахсан Баянов,
Ищу молодость.
Авторизованный перевод
с татарского Николая
Нефедова. М., изд-во
«Советский писатель»,
1971.**

Казалось бы, немногого желает герой повести Ахсана Баянова татарский юноша Анис — жить по законам совести, по законам чести и добра. Но как это сделать, если многие говорят тебе: «Не бойся обижать людей, иначе самого обидят»? Где истина? Почему некоторые с легкостью перешагивают ту линию, что называется совестью, считая подлость — способностью, обман — умом; другие, наоборот, всю жизнь каются, что сделали подобный шаг?

Эти и другие вопросы занимают Аниса не беспричинно. Сталкиваясь с ловкачеством, ханжеством, он пытается понять первооснову подобных аномалий.

Натура цельная, прямая, Анис не всегда правильно оценивает те или иные поступки людей. Это подчас приводит к конфликтам, как было, например, с дядей Аниса Сафуаном Кильметовым, которого Анис по недомыслию обвинил чуть ли не в правонарушении. Свою ошибку Анис осознает значительно позже, уже после смерти дяди, и это больно ранит его и без того восприимчивую душу. Ранит — и заставляет задуматься юношу о правомочности столь строго и категорично судить людей. Он начинает пристальнее и вдумчивее приглядываться к окружающим и обнаруживает в них и доброту, и отзывчивость, и порядочность.

Немалое место в книге занимает и история любви Аниса. Но здесь, как нам кажется, автор увлекся теоретизированием, обедняя тем самым чувства своего героя, который слишком часто рассуждает о любви с позиций человека, не имеющего к ней ни-

какого отношения. А ведь именно рассудочность, холодный анализ должны быть чужды Анису — человеку эмоциональному, тонко чувствующему природу, поэзию, красоту.

В заключение нам хочется сказать несколько слов о манере письма Ахсана Баянова.

Повесть названа лирической, и это название оправдано не только ее настроенностью, но красочностью изложения, поэтичностью образов и сравнений, что, впрочем, закономерно: Ахсан Баянов до сих пор был известен как поэт, и в первом своем прозаическом произведении он остался верен себе.

Б. В.

Н. Бирюков, Твердая земля. Роман. М., изд-во «Советский писатель», 1971.

Осенью 1930 года на строительстве одного из корпусов Дулевского завода случилась авария: в котлован неожиданно прорвалась вода. Необходимо было срочно ликвидировать прорыв. Первым в ледяную воду вошел восемнадцатилетний комсомолец Николай Бирюков, за ним — остальные рабочие. Стройка была спасена, но Николай остался уже навсегда прикованным к постели. Тяжелое время переживал юноша, но сильный дух и комсомольская закалка взяли свое: он не сдался недугу. Стал писателем. Ему не хватало знаний, и он поступил в Литературный институт, который успешно окончил. В конце тридцатых годов был опубликован первый роман Н. Бирюкова «На хуторах», в основу которого легли события гражданской войны в Поволжье.

В годы Великой Отечественной войны Николай Бирюков с мужеством солдата и патриота борется с немецко-фашистскими захватчиками единственным оставшимся у него оружием — словом. Он пишет рассказы и очерки. Многие из них — такие, как «Перед дыханием смерти», «Русские глаза», «Песнь в лесу», и другие — получили широкую известность.

В конце 1942 года Николай Бирюков начал работу над романом «Чайка», который он посвятил памяти партизанки Лизы Чайкиной. Работа шла медленно — резко ухудшилось здоровье писателя, но он не сдавался, и к началу 1945 года книга была готова. Она успела «повоевать» — об этом лучше всего говорят письма, которые писатель получал с фронта.

После войны Николай Бирюков вступил в партию. Это событие обязало и без того строгого к себе писателя с еще большей ответственностью относиться к своему труду. Николай Бирюков много ездит по стране. Его коляску можно было видеть во многих городах. Он побывал в Узбекистане, Туркмении, Каракумах. Результатом этих поездок стал роман «Воды Нарыма». И снова поездки — на этот раз на завод «Красное Сормово», на Горьковский автозавод, на строительство Куйбышевского гидроузла. О виденном писатель рассказал в серии очерков «На мирной земле», рассказал так, как жил и боролся, — страстно, заинтересованно.

Действие романа «Твердая земля», переизданного в прошед-

шем году издательством «Советский писатель», происходит в годы первой пятилетки — с весны 1928-го по 1930 год, среди героев — уже известные читателю представители рабочей династии Орловых. Автор показывает, как в острой классовой борьбе были преодолены трудности, возникшие перед партией и Советским государством в период развертывания социалистического строительства.

1 февраля — шестидесятилетие Николая Бирюкова. Писатель не дожил до юбилея, но живы его книги, которые воссоздают его образ — образ борца, жизнелюба, коммуниста.

Б. ТИМОФЕЕВ

В. Щербина, Пути искусства. М., изд-во «Художественная литература», 1970.

Хотя ближайшим образом исследование В. Щербины и посвящено анализу современного этапа борьбы реализма против различных антиреалистических, модернистских течений в искусстве и литературе, но вместе с тем автор подвел исторический итог этой борьбы, начало которой восходит к концу прошлого века.

Книга В. Щербины содержит три раздела:

«Проблемы реализма» (XX век и судьбы реализма, проблемы художественного синтеза, о современном критическом реализме и «критицизме»), «Пути литературы и модернизм» (дифференциация модернизма, «новая действительность», мифотворчество) и «Спор о человеке» (миф о раздробленном мире, расщепление личности, отчуждение, две концепции жизни). Перечисление названий разделов и глав еще не дает представления о многогранности содержания работы, автор которой задался целью не только проанализировать все аспекты противоборства реалистического и модернистского потоков в современном художественном развитии человечества, но и обнажить их связи с другими сторонами жизни: наукой, философией, нравственностью, социальными отношениями и т. д.

Книга В. Щербины ценна тем, что его выводы и наблюдения вытекают из глубокого анализа широкого круга произведений художников-реалистов и модернистов, а также идущей вокруг них идеологическо-теоретической борьбы. Автор привлек материалы дискуссий о модернизме, прошедших за последние 10—15 лет в нашей стране, в Италии, Франции, США и других странах. Его суждения и выводы приобретают поэтому достоинство научных истин, а не субъективистских оценок-ярлыков.

Автор последователен в конкретности, историчности своего подхода к явлениям художественного развития, и декларации модернистов о революционности и новаторстве он проверяет анализом их продукции.

В этой связи ключевое методологическое значение имеет заключительная глава книги «Две концепции жизни», в которой рассматривается органическая связь разделяемой художником концепции сущности человека и его творчества. Модернизм и реализм противостоят друг другу прежде всего как противопо-

ложные концепции человека, смысла его бытия. Если для любой модернистской школы человеческая жизнь бессмысленна, сводится к обреченности человека на смерть, безысходности его бытия или вообще непознаваема, то реализм всегда разделял жизнеутверждающую концепцию человека.

Для выяснения действительно объективных социальных функций модернизма, его места в современном духовном развитии человечества автор тщательно и систематически проанализировал его отношение к гуманистическим традициям реалистического искусства прошлого и социалистическому искусству наших дней, хранящему и обогащающему эти традиции. Бесспорная заслуга автора состоит в том, что он выявил невероятную агрессивность модернизма. Демонстративно отбрасывая богатейшие национальные традиции реализма, модернисты лихорадочно ищут «архетип» первозданного, естественного человека, лишенного всякой социальности, национальности, исторической конкретности. Вместо конкретного, социально активного, борющегося за свое достоинство человека в творчестве модернистов мы встречаемся с различного рода убогими моделями человеческих пороков, порожденных буржуазным образом жизни, и эти уродства, искажающие облик и существо человека, характерные некоторым прослойкам буржуазного общества, выдаются авангардистами за новое прочтение человека, открытие его сущности.

Вполне естественно, сочиняемые модернистами мифы один за другим лопаются как мыльные пузыри. Не спасает их ни заигрывание с реализмом («сюрреализм», «символический реализм» или «реализм безбрежный»), ни апелляция к новейшим достижениям естествознания («новая действительность», «новое вӣдение мира» и т. п.), ни спекуляция именами известных художников, примыкавших в молодости к тем или иным модернистским течениям. Автор не обходит «острых углов» истории авангардизма, связи с ним некоторых видных реалистов, ставших позднее на позиции социалистического искусства.

Но и в наши дни, несмотря на бесспорное поражение претензий на монополию прогресса в искусстве, некоторые его тенденции оказывают влияние на идеологически незрелых деятелей социалистического искусства. То в форме всеобщего критицизма («отчуждение» как всеобщее явление современности), то под флагом воспевания «рядового» или «маленького» человека («дегероизация») либо «экзотического» героя веяния модернизма чувствуются в некоторых произведениях наших писателей. Рассуждения автора на эту тему заслуживают всяческого внимания.

Самое ценное у В. Щербины — доказательство тезиса о том, что «новаторство модернизма во многом относительно, иллюзорно, поскольку он сейчас толкает искусство на путь стандартизации и нивелирования. Подлинно передовое искусство наших дней, — пишет он, — художественный реализм с его интенсивным плодотворным обогащением жизненным материалом и передовыми идеями эпохи, рождающими все новые и новые эстетические ценности». Эти выводы всесторонне аргументируются с позиций действительно научной, диалектически-материалистической методологии.

Александр БЕЛИК

Рустем Валаев, Новеллы о драгоценных камнях. Киев, изд-во «Радянський письменник», 1971.

Век человека короток, драгоценные камни живут долго. Земные владыки некогда связывали свое могущество с обладанием драгоценностями и вели ради них жестокие войны. Камни видели возвышения и падения царств, были свидетелями и даже причиной исторических событий...

Рустем Валаев написал двенадцать новелл о драгоценных камнях. Написал их по-восточному цветисто, причудливо перемешав историческую быль с народными легендами, сказками, преданиями. Интересный рассказчик избрал благодатную тему.

В первой новелле — «Легенде о Санси» — Валаев прослеживает судьбу громадного алмаза, найденного в Восточной Индии. Алмаз принадлежал Великим Моголам. Ради него убивали друг друга восточные властители, сын не щадил отца. С ним Карл Смелый, некоронованный король Бургундии, ходил в походы. По остроумной легенде, сверканьем алмаза, вделанного в шлем, он ослепил своего противника и победил в единоборстве. Этот алмаз был на груди Генриха III, когда его убил монах Клеман. «Санси» обагрился и кровью короля Генриха IV, убитого Равальяком. В XIX веке обладателем алмаза стал П. Н. Демидов, а от него драгоценность перешла в руки Андрея Николаевича Карамзина, сына знаменитого писателя и историка.

Но интересно не перечисление, а острые коллизии, характеры владельцев камня. Все это в книге есть.

Алмаз «Шах» был подарен русскому царю персидским шахом, чтобы подкрепить извинения персов в связи с убийством в Тегеране гениального писателя и замечательного дипломата Александра Сергеевича Грибоедова. История преступления изложена в книге стройно, но, разумеется, алмаз не мог быть «выкупом» (смерти?), и не потому была предотвращена война между Россией и Персией, что драгоценность «произвела на Николая должное впечатление».

Рассказывая историю обнаружения богатейших алмазоносных кимберлитовых трубок в Южно-Африканском Союзе, Валаев раскрывает одну из тайн империалистической «кухни».

«Вся добыча алмазов Южной Африки, их обработка и реализация в течение последних семидесяти лет находилась в ведении ротшильдовского концерна, поглотившего почти все тресты и синдикаты, некогда занимавшиеся этим весьма прибыльным делом. На европейские и американские рынки попадало ограниченное количество камней, основной же запас хранился в сейфах и кладовых концерна. Им же устанавливались цены на бриллианты. Для искусственного создания ажиотажа в некоторых странах камни продавались дороже, в других — дешевле...»

И в самом деле, миллиардеры-сионисты Ротшильды и Оппенгеймеры завладели едва ли не всей Южной Африкой и поддерживают там расистский, фашистский режим, дающий им возможность прибирать к рукам все золото и алмазы и финансировать агрессивные международные акции.

Находка в Якутии коренных месторождений алмазов сорвала некоторые из ротшильдовских планов и полностью обеспечила отечественную промышленность техническими алмазами.

Любопытны рассказы о лове жемчуга, истории знаменитых жем-

чужин... Снова и снова возвращается автор к уральским драгоценным и полудрагоценным камням, к украинским минералам. Одна из новелл посвящена рубинам. Еще раз рассказана история таинственного исчезновения «Янтарной комнаты»...

Жаль, что автор лишь упоминает про рассуждение царя Ивана Грозного о драгоценных камнях, переданное англичанином Горсеем. Более подробный пересказ этого рассуждения, а также несколько преданий об отношении к драгоценным камням в Древней Руси, об искусстве русских ювелиров украсили бы новое издание увлекательной книги Рустема Валаева.

Дмитрий ЖУКОВ

Русские. Историко-этнографический атлас. М., изд-во «Наука», 1970.

Спросите сегодня у горожанина, да и не только у горожанина, что такое кокор, повал, охлупень или шелом, огниво, причелина или чуска. Наверняка немногие правильно объяснят значение этих слов. Большинство же обойдут их молчанием или улыбнутся и разведут руками.

А ведь слова эти — всего-навсего названия отдельных частей традиционной и всем известной русской избы, а именно: ее самой приметной конструкции — крыши. Конечно, сельский житель наших северных областей и сегодня растолкует непосвященному, что такое кокор или причелина, но даже он не скажет, из какой седой глубины пришли к нам эти древнерусские строительные термины. Только специалист — историк, этнограф, археолог — ответит на этот вопрос, ибо он, как и автор «Повести временных лет», решает волнующую загадку: «откуда пошла Руская земля...»

Всем хорошо известна русская строительная традиция украшать жилище деревянной резьбой, в частности, в самом древнем ее варианте — скульптурной резьбой. Чаще всего художественной отделке подвергался охлупень, или шелом, — массивное бревно, лежащее на самой верхушке двускатной тесовой крыши и своей тяжестью пригнетающее тесины кровли. Выступающему концу охлупня крестьянские плотники любили придавать самые разнообразные очертания — конской головы, головы оленя, изящно выгнутой лебединой шеи. Такой же обработке подвергались потоки — водоспуски и державшие их кокоры (естественно изогнутые корневища ели); повалы — кронштейны на продольных стенах сруба; причелины — доски по фронтону (в древности фронтон имел на Руси свое название — «чело»), которыми обшивались выступающие слеги кровли, и другие детали избы. Сколько столетий насчитывает эта традиция?

При сравнении исторических, археологических и этнографических данных выясняется, что уже в древнем Новгороде фронтоны домов закрывались резными причелинами. А в русских летописях сообщается, что Андрей Боголюбский приказал все крыши построек украшать резными птицами и кубками.

Сама же по себе скульптурная обработка дерева у славян уходит еще дальше, во времена язычества. Те же летописи рассказывают, а археологические находки подтверждают это, что в свое

время русичами сооружались деревянные идолы с человеческими «личинами», исполненные «секирою да ножом». С распространением христианства на Руси языческие статуи исчезли, но резная скульптура получила широкое распространение в крестьянском быту, в народной строительной технике; причем излюбленным мотивом скульптурных изображений повсюду остались животные и птицы. Последнее, кстати, позволяет сделать ученым любопытные выводы. Известно, что легендарные скифы не оставили прямых потомков, но их искусство, их знаменитый «звериный стиль» оказали влияние на искусство многих народов, в том числе и славян.

Из скифского времени, видимо, дошло к славянам изображение древней богини природы, «женщины-дерева со спутниками». Оно преобладает в русской народной вышивке на полотенцах, одежде, в росписи на прялках.

Живая связь времен отчетливо видится за страницами историко-этнографического атласа, выпущенного ныне Восточнославянским сектором Института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР и озаглавленного «Русские». Продолжая изданный в 1967 году первый выпуск того же названия, он состоит из равно значительных разделов, посвященных архитектуре и обстановке крестьянского жилища, традиционной одежде русских. Книга, без сомнения, заинтересует не только специалистов, но и всех, кто увлечен русской культурно-исторической традицией; отсюда многое можно почерпнуть и для украшения современного быта, так что приходится сожалеть, что она издана в 3400 экземплярах, что сделало ее библиографической редкостью.

Л. ЗАСЕДАТЕЛЕВА,
кандидат исторических наук



Публикуемая статья о стиле как основе идейно-художественного содержания произведений продолжает серию выступлений по проблемам литературного творчества, писательского мастерства и общественных требований к нему, которые мы адресуем прежде всего молодым литераторам, ступившим на непростые пути этой профессии, а также тем людям, кто решает для себя вопрос призвания и профессиональной пригодности. Но, естественно, мы всегда стремимся, чтобы «БМЛ» в не меньшей степени помогал и массовому читателю в выработке твердых критериев применительно к литературе, в формировании суждений относительно совершенства тех или иных произведений, степени одаренности их автора.

В дальнейшем редакция планирует ознакомить читателей «Блокнота» с иными проблемами подобного характера.

Вадим НАЗАРЕНКО

ПСИХОЛОГИЯ СТИЛЯ

Довольно многими критериями пользуемся мы, рассуждая о художественных произведениях. Но часто ли оцениваем их с точки зрения **стиля!**

Может, это и не особо существенно? Другое дело — содержание, типические характеры, идеи. Или захватывающие события, развертывающиеся в книге. Но стиль — что, собственно, это такое? Какое читателям до него дело? Интересоваться стилем — не есть ли удел этаких узких специалистов, «дегустаторов» искусства? А то даже эстетов, «формалистов»?

Но вот — Ломоносов. Не назовешь его «формалистом». Размашистая, крупных очертаний была личность! И, однако, Ломоносов писал так:

«Все мы глядим с удивлением на картину, когда видим изображенную на ней натуру или страсть чело-

веческую. Но те, которые притом видят растворение красок, смелость кисти живописной, соединение теней с светом, регулярную пропорцию в рисовании, изображенное удаление и близость объектов в своей перспективе, смягчение в дальних объектах же света и тени, двойственное увеселение чувствуют».

То есть, энергично настаивает Ломоносов, внимание к тому, «как сделано» произведение, так же важно в общении с искусством, как и внимание к тому, **что** изображено.

Если так, то, обходя проблемы стиля, не обедняем ли впечатляющие силы искусства, его значение в нашей жизни?

Но чтобы судить об этом, надо, конечно, поконкретнее представить: что, собственно, мы подразумеваем, произнося слово «стиль»?

Имеющиеся «на сегодняшний день» понятия, логично надеяться, нашли суммарное отражение в статье «Стиль» (5-й том «Философской энциклопедии», вышедший в 1970 году).

С одной стороны, статья констатирует:

«В теории искусства понятие «стиль» употребляется для характеристики физиогномического единства отдельного произведения (стиль произведения), целой группы произведений и даже определенного периода в развитии искусства (национальный стиль, стиль эпохи и т. д.), а также для характеристики способа обработки материала тем или иным художником (индивидуальный стиль художника)».

А с другой стороны, утверждается:

«Во всех этих случаях понятие «стиль» означает различные аспекты внешней организации художественного произведения, определенное, внешне выявленное единство художественного формообразования».

Конечно, если стиль лишь нечто **внешнее**, то он и не имеет значения глубинного, содержательного. Так оно в энциклопедической статье и пишется. Оказывается: «Одни и те же стилистические особенности в разных произведениях могут иметь различный и даже противоположный смысл».

Словом, стиль — что-то «не вредное», но и не жизненно-важное. Не то чтобы чистое «украшательство», но и не хлеб насущный.

Но Некрасов, ссылаясь на Шиллера, настаивал: «Важен в поэме стиль, отвечающий теме!» А Бюффон еще круче выразился: «Стиль — это человек!»

Конечно, Бюффон с этим своим знаменитым изречением в энциклопедической статье упомянут, но как бы на правах лишь «свадебного генерала». Ибо иначе нельзя уж рассуждать о стиле как о чем-то внешнем.

Однако, сколь ни авторитетны Бюффон и Некрасов с Шиллером, не следует судить об искусстве только на основе цитат. А если взять произведения искусства как они есть?

Вот, например, под конец XIX века нередко строились здания «в готическом стиле». Это были подражания подлинному готическому стилю средних веков. То, что называется: **стилизация.** На первый взгляд, особенности подлинной готики тут воссозданы. И, однако, мы ясно различаем подлинную готику и «подготику». Стилизация ощущается как нечто мертвенное, искусственное. И, видимо, потому, что она — подражание чисто внешнее, лишенное всего того внутреннего, глубинного, что образует жизненность, «полнокровность» стиля. То есть даже в искусстве архи-

тектуры, где произведение все целиком находится во внешнем, окружающем нас мире, было бы серьезной ошибкой понимать стиль как нечто внешнее.

А если взять литературное произведение, то за что можно «уцепиться», пытаясь вести речь о стиле как **внешнем** единстве? Нетрудно приметить: внешним являются тут лишь печатные знаки. А картины событий, человеческих судеб создаются исключительно внутренне: в нашем читательском сознании.

Анализируя литературное произведение, можно порознь рассматривать те или иные его части и стороны: такую-то из «сюжетных линий», «завязку» или «развязку», такие-то эпизоды судеб действующих лиц, и так далее. Но невозможно извлечь из произведения **стиль** сам по себе и рассматривать его независимо от произведения. Вот, к примеру, всякий скажет: произведения Гоголя обладают резко характерным стилем. Но ни одному литературоведу не удавалось еще описать гоголевский стиль сам по себе, в отвлечении от определенных произведений. Всяко пытались. Вели речь о гоголевских гиперболах; но, оказывается, очень часто дело обходится и без гипербол. Вели речь о гоголевских сложных сравнениях: но, оказывается, очень часто повествуется и без сравнений. Вели речь о «смехе сквозь слезы», но очень часто у Гоголя смех без слез, и слезы без смеха, и вообще нечто иное, как без слез, так и без смеха. И так далее.

Очевидно, понятие **стиль** выражает собой некую нашу оценку произведения в целом, некое наше суждение о всепроникающем единстве его оригинальности.

Литературоведы ведут речь о психологии чаще всего лишь применительно к душевной жизни действующих лиц произведения. Но ведь и само произведение насквозь психологично, по законам психологии строится.

Не размахиваясь характеризовать сразу «стиль эпохи», даже стиль всего, в целом, творчества какого-то художника, ограничимся тем, что попробуем обнаружить и примерно описать стиль в пределах одного произведения. И опять же ограничимся одним искусством — литературным.

Допустимо выдвинуть такую аксиому: стиль не может быть «бесплотен». В прикладном искусстве это наиболее наглядно. И в архитектуре стиль не витает сам по себе, а дает себя знать в опорах и перекрытиях, стенах и окнах; то есть проявляется вполне конкретно.

Конечно, «здание», возводимое писателем, духовно. Размещается в сознании читателей. Но и здесь есть своя конкретность, свое **строение**.

Конечно, рассуждать об этом лучше не умозрительно, а на живом примере.

Пусть это будет повесть Гоголя «Страшная месть». Почему именно эта? Ну, она, во-первых, одна из любимых вещей пишущего эти строки; и пусть будет ему позволено проявить свое пристрастие. Потом, повесть — произведение классическое, бесспорное. Именно на таком примере лучше всего прояснять спорную проблему стиля.

«Перестраховочный» вопрос... Обращение к повести, хоть и гениальной, но написанной без малого полтораста лет назад, не означает ли «уход от современности»? Думается, нет. Ибо классические традиции реализма приобретают острейшую злободневность в

идейной борьбе современности, в боевой полемике с теориями и практикой модернизма. Может быть, и проблема стиля также. Но об этом речь впереди. А пока надо попытаться «засечь» нечто самое основное: так сказать, «местопребывание» стиля.

Поскольку литературное произведение осуществляется не иначе как посредством слова, то может казаться простым и соблазнительным тут и отыскивать стиль произведения.

Говоря о стиле в литературе, частенько подразумевают лишь языковой стиль: особенности писательского словаря и синтаксиса. Однако это стилистика, а не стиль. Языковые особенности не соответствуют основному в понятии стиля, так как не обладают **единством** на протяжении всего произведения.

Правда, Ломоносов выдвинул теорию трех стилей; подразумевался стиль именно языковой.

Однако с развитием реализма в русской литературе однородность языкового стиля в пределах произведения отпала. Жизненно-углубленные характеристики действующих лиц требовали, чтобы каждый персонаж говорил такими словами, в таком языковом стиле, как ему свойственно. И авторская речь тоже стала многообразна, меняясь в зависимости от отношения автора к изображаемому.

Об этом подробно говорится в известной работе Б. В. Томашевского «Язык и стиль», где детально показано, что если сводить стиль к языковым особенностям, то, скажем, «Евгения Онегина», как и «Медного всадника», придется признать произведением «разностильным», «пестрым» по стилю.

Взглянем с такой точки зрения на «Страшную месть».

Конечно, все знают, что эта повесть входит в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», «изданный пасичником Рудым Паньком». Всем известно также, что Панько снабдил предисловиями и первую и вторую части и что Панько сообщает в предисловиях о том, как собирались вечерами у него гости и рассказывали разные истории, которые и составили потом сборник.

Если всмотреться в повествование, заметишь: речевая стилистика такого устного рассказывания зачастую воссоздается Гоголем. Но далеко не всегда. Например, знаменитая страница, начинающаяся «Чуден Днепр...», написана очевиднейшим образом не так, как мог бы повествовать устный рассказчик. Вот и XIII глава, сплошь рисующая бред Катерины, отнюдь не в «паньковском» речевом стиле. Очень много в повести и таких мест, которые следуют стилистике былин, причитаний, что в устах Панько или кого-то из его гостей опять же невозможно. Словом, единого **языкового** стиля в повести нет.

Между тем резко ощутимы ее художественная характерность и единство.

Чем создается это?

I. НИТЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ

Сознание работает быстро, зачастую молниеносно. Мы видим, понимаем, переживаем такое-то жизненное событие. Но не отдаем себе отчета, **как складывался в нашем сознании** образ этого собы-

тия. Впрочем, порой нам приходится вдаваться и в самоанализ, мысленно проверять шаг за шагом ход наших впечатлений, соображений, запоминания. По причине быстроты сознания мы и в литературном произведении находим сразу действующих героев, развертывающиеся события; от нашего внимания ускользает тот факт, что на самих-то книжных страницах этих образов нет, они создаются в нашем сознании благодаря каким-то «превращениям» текста.

Но если мы хотим уловить возникновение и единое устремление стиля, нам надо вдаться в самоанализ; проследить, как, собственно, создаются в нас образы литературным повествованием. Надо как бы «замедлить» этот психологический процесс, различая **образы, создающиеся в нашем сознании, и само повествование.**

Как оно, повествование, при этом выглядит?

Пишущие о литературе нередко употребляют такие выражения, как «художественная ткань», «образная ткань». При этом литературное произведение представляется чем-то... ну вроде гобелена. Однако эти фигуральные выражения применимы, если вникнуть, лишь к картинам, уже создавшимся в нашем читательском сознании.

А само произведение, если взглянуть на него реально-психологически, имеет иную форму. И тут — если уж применять «текстильные» сравнения — вернее всего старинное выражение: **нить повествования.**

Это ведь и фактически именно так. Книга на полке выглядит как прямоугольный предмет такой-то толщины, в таком-то переплете. Книга перелистываемая, но еще не читаемая, — пучок сброшюрованных страниц. Но книга **читаемая** — это именно нить.

Читаешь ведь не иначе, как по очереди — слово за словом, строку за строкой. (Конечно, иной читает «по диагонали», но нам с этим читателем не по пути.)

А читатель добросовестный — не случалось ли вам наблюдать, как движется его взгляд? Слева направо до конца строки, вниз налево, и опять слева направо. Точно как разматывание нити и вместе с тем наматывание. Можно сказать: читатель наматывает на ус нить повествования.

Читательское «наматывание на ус» этой нити является, если вникнуть, процессом чудесным до невероятия. Мотается и мотается тоненькая эта — «толщиной» в одно слово — ниточка; и что-то из нее идет в этом вот направлении, и обрисовываются места действия: днепровские берега, или светлица пана Данила, или каменные цепи гор Карпатских. А что-то из той же ниточки устремляется вот в эту сторону, и возникают в этих местах действия фигуры Катерины, и мужа ее, и колдуна, и других из населения повести. А еще что-то, все из той же ниточки, вонзается вглубь: и становятся как бы «прозрачными» действующие лица; видимы думы и чувства и Данила и Катерины; обнажаются страшные душевные корчи изверга-колдуна.

Все, что ни нарисуется в моем сознании в ходе чтения, может нарисоваться только через эту нить повествования. Другого пути нет.

Успех или неуспех писателя, читательское волнение или скука — все, можно сказать, висит на ниточке повествования.

В высказываниях мастеров о своем искусстве всегда подчеркивается необходимость художнической заботы не только о том, что-

бы повествование было жизненно правдивым, но еще и о том, чтобы нить повествования наиболее осваивалась сознанием читателя.

И реальным «местопребыванием» стиля может быть, конечно, именно эта нить повествования.

Однако нам надо представить ее еще конкретнее. **Из чего она состоит?**

Средневековые восточные риторы говаривали: на нить повествования нанизывается «жемчуг слов». Истина? Да, но не вся. Хотя текст состоит именно и только из слов, но читатель имеет дело уже не со словами. Потому что слова сразу же превращаются в **образы.**

Вот, например, я читаю о ссоре и поединке пана Данила и Катеринина отца — колдуна.

«...Ни тот, ни другой не одолевает. Вот наступает Катеринин отец — подается пан Данило. Наступает пан Данило — подается суровый отец, и опять наравне. Кипят. Размахнулись... ух! Сабли звенят... и, гремя, отлетели в сторону клинки. «Благодарю тебя, боже!» — сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидела, что козаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки. Выстрелил пан Данило, не попал. Нацелился отец... Он стар, он видит не так зорко, как молодой, однако ж не дрожит его рука. Выстрел загремел... Пошатнулся пан Данило...»

Не правда ли, читая, чувствуешь даже вроде бы физическое, мускульное напряжение; словно в самом деле поворачиваешь шею, глядя то на пана Данила, то на Катеринина отца, то опять на пана Данила...

Очевидно: нить повествования и состоит из этих вот подробностей: как размахнулись саблями... как отлетели клинки... и так далее. Слова воссоздают эти подробности. Но главное, захватывающее нас, — не слова (они стали, как говорится, «прозрачны»), а именно эти подробности боя.

Произведем теперь несложный мысленный эксперимент. Постараемся совершенно отвлечься от гоголевского повествования. Попробуем самостоятельно вообразить картину такого вот поединка. И вникнем: какова выходит в нашей фантазии эта картина. Конечно, тут будут все те мгновения, что отмечены Гоголем: как взвели курки... как выстрелил пан Данило... как нацелился отец, и так далее. Но между этими мгновениями, как бы мы ни воображали эпизод поединка, непременно окажется еще много подробностей, жизненно вероятных. Скажем, после того как «выстрелил пан Данило, не попал», фантазия наша, может быть, нарисует досаду на лице Данила, злобную радость на физиономии колдуна... И тому подобное. В жизни ведь бесконечность подробностей. И они, эти подробности, в житейской реальности плавно соединяются воедино.

Но нить повествования перебрасывается через многое; совершая бросок, скажем, от того, как отлетели сабельные клинки, прямо к тому, как противники взялись за мушкеты.

Такие броски постоянны в нити повествования.

Об острой избирательности повествования говорил Короленко: «Нужно избегать останавливать долго читателя на мелких деталях того, что он уже знает и что он, пожалуй, даже опередил воображением».

Нить повествования представляет собой не плавное движение, не

«сплошное» изображение, а нечто вроде «пунктира»; ряд отдельных образов — как сказали бы мы применительно к фильму, кадров.

Однако лишь при аналитическом рассмотрении замечается эта «пунктирность», «отдельность» образов. А в чтении выходит, напротив, картина чрезвычайно целостная, захватывающе-впечатляющая.

Искусство писателя иной раз представляют себе так: создать творческим воображением такую-то картину и изобразить эту картину **словами.**

Но вот Некрасов не просто в словах видел главную основу литературной «живописи». Он говорил: «Уловить именно те черты, по которым в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама собой данная картина, дело величайшей трудности».

Но почему, собственно, те немногие черты, которыми ограничивается нить повествования, создают в нашем сознании такую вот живую картину поединка? Тут глубинные сферы таланта, тут нет «рецептов». Но все же можно заметить: эти немногие подробности оказываются столь изобразительны потому, что соответствуют живому восприятию, глубоко заинтересованному в исходе поединка. В таком восприятии в стороне остается все, кроме самого главного, — куда клонится схватка. Кто одолеет? Повествование глубоко захватывает именно потому, что нить повествования предлагает как раз те подробности, которые владели бы вниманием очевидца, глубоко захваченного происходящим, возбуждая этим такое же переживание и в читателе.

Вообще в самых разных планах замечаем, что образы, составляющие нить повествования, обретают острую выразительность, глубокую красноречивость в зависимости от того, как они сопоставлены в **читательском времени.** К примеру, когда за таким «кадром» — «гремя, отлетели в сторону клинки» — сразу такой «кадр» — «Благодарю тебя, боже!» — сказала Катерина», — то одним этим сопоставлением изображена крайняя напряженность, с какой следит Катерина за поединком своего мужа и своего отца.

Мы вправе отметить и подчеркнуть: писатель хоть и пишет словами, но **живописует** именно избранными им сопоставленными моментами, подробностями, чертами рассказываемой «истории». И в этом-то суть его искусства.

«Умаляет» ли это роль слова? Конечно, нет. Напротив, позволяет вернее эту роль представить.

Вот, к примеру, такие строки «Страшной мести»: «...ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился как волчья шерсть середи ночи». В чем художественная сила этого сравнения? В самих по себе словах? Конечно, нет. А в сопоставлении водной ряби и волчьей шерсти (такое сходство может быть передано и в «бессловесном» искусстве — например, живописцем в пейзаже или оператором в фильме). Однако, когда мы выхватываем это сравнение из нити повествования, оно теряет едва ли не всю свою силу. А выразительность оно получает в образном контексте оттого, что сейчас вот начнут на днепровском берегу подыматься из могил мертвецы. И как бы в предчувствии этого, словно взъерошенная ужасом, дыбится рябь реки подобно шерсти исполинского волка.

Выразительность этого образа создается не словесно, а «отблесками» образов соседних. Что касается слова, то его высшее досто-

инство в том, чтобы, с «деловой точностью» передав нам очертания сопоставляемых «кадров», «исчезнуть».

Не потому ли крупнейшие мастера литературы, при всем различии своих художнических индивидуальностей, неизменно ратовали за точность и простоту языка?

Мы тут лишь в малом обрывке нити повествования приметили главнейшую суть писательского искусства: создание картин, овладевающих сознанием, из немногих избранных подробностей в соотнесении их между собой.

Но то же искусство сопоставления предстает и в больших «масштабах» повествования.

Взять, к примеру, то, как соотнесены меж собой главы «Страшной мести». Резко-своеобразное впечатление создается, когда многолюдная, буйным разгулом полная, первая глава контрастнейше вдруг сменяется второй главой — тихой, пустынной, знобяще-зловещей.

А как резок бросок повествования, например, от конца пятой главы, где отрекается Катерина от отца-колдуна, восклицая, обращаясь к Даниле: «Сохни он от тайной травы — не подам воды напиться ему. Ты у меня отец мой», — как резок бросок от этого к началу следующей главы: «В глубоком подвале у пана Данила, за тремя замками, сидит колдун, закованный в железные цепи, а подале над Днепром горит бесовский его замок, и, алые, как кровь, волны хлебещут и толпятся вокруг старинных стен...»

Это искусство сопоставления — глубиннейшее и существеннейшее в искусстве писателя — не имеет названия в литературной теории. Но великим нашим кинематографистом детально освещена природа, обобщены принципы этого (хотя, к сожалению, общая теория искусства еще далеко не освоила его открытия).

В общем почти все знают, что Эйзенштейн создал теорию монтажа и что это произвело в двадцатые годы всемирный переворот в кинематографе.

Но часто склонны полагать, будто теория монтажа — теория специально кинематографическая.

А между тем теория монтажа касается отнюдь не только кинематографа, но любого искусства, и об этом очень много говорится в трудах Эйзенштейна. Более того, сама идея монтажа кинематографического возникла на основе наблюдений Эйзенштейна над произведениями литературными; и он приводит множество примеров того, как литературное повествование оказывается своеобразным, говоря по-кинематографически, «монтажным листом». Так, например, монтажно рассматриваются строки пушкинской «Полтавы»:

...Там роковой намост ломали,
Молился в черных ризах поп,
И на телегу подымали
Два казака дубовый гроб.

«Трудно найти более сильный подбор деталей, чтобы во всем ужасе дать ощущение образа смерти», — замечает Эйзенштейн. И силу этой образности находит не в самих словах, а глубже — в сопоставлении рисуемых словами образов: разламывание отслужившего эшафота — молящийся поп — деловитая погрузка тяжелого гроба.

Такого же рода «монтажные листы» образуют нить повествования в любом произведении подлинного искусства литературы; не иначе и в «Страшной мести». Для иллюстрации перепишем хотя бы два отрывка в порядке «монтажного листа», подчеркнув номерами те «планы», что даны Гоголем.

Вот отрывок:

1. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег.

2. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно уставили очи.

3. Остановился и пан Данило: страх и холод прорезался в козацкие жилы.

4. Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец.

Или такой:

1. Плачет и убивается Катерина.

2. А даль вся покрывается пылью.

3. Скачет старый есаул Горобець на помощь.

Вникнем педантически в основы выразительности «монтажа» хотя бы этих трех «кадров».

Если представить себе данную картину в действительности, то заметим: «монтаж» этот сводит воедино «кадры», житейски весьма далекие один от другого. Катерина, оплакивающая убитого мужа, — здесь, на первом плане. А пыль, взметаемая конным отрядом, — вдали, на горизонте. А увидеть, что это именно отряд Горобца, можно пока, лишь будучи там — вдали.

Сведение этих «далеких» кадров воедино соответствует взгляду широкоохватывающему и стремительному. Одно лишь сопоставление этих «кадров», без всякого авторского комментария, оказывается очень выразительным. Это сопоставление сразу говорит и о том, что сейчас вот приспеет помощь сражающимся хлопцам пана Данила, враг будет подавлен; и о том, что самому Даниле никто уже не поможет, ничто не залечит Катеринина горя.

Эти скупейшие «кадры» выбраны и сопоставлены взглядом повествователя, глубоко захваченного тем главнейшим, что свершается и чему предстоит свершиться в судьбах действующих лиц. Потому и читателя «монтаж» этот устремляет в том же направлении.

Приметив широчайшие выразительные возможности «монтажа» (которые мы наблюдали в крохотных обрывках нити повествования, но которые простираются на все ее звенья), можно наглядно представить себе, почему в искусстве **изображение** может быть одновременно и **отношением** к изображаемому; представить себе конкретно, как получается, что, говоря словами Энгельса, **тенденция** сама собой вырастает в повествовании без того, чтобы на нее было особо указано.

И **стилевое единство** повествования образуется, видимо, тем, что на всем его протяжении выбор и «монтаж» кадров определяются единой идейно-эмоциональной авторской точкой зрения.

2. НИТЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ И НИТЬ СОЗНАНИЯ

Подходя психологически, мы можем приметить общие основы в построении художественного произведения и в обычном освоении реальности нашим сознанием.

Сознание «прядет» для каждого из нас тоже, можно сказать, «нить повествования» о действительности. Работа сознания осуществляется именно в форме «нити». В любом учебнике психологии отмечены внутренние закономерности этого.

«Уже давно в психологии было описано явление, названное «узостью сознания». Допустим, например, что на столе разложено много отдельных небольших предметов... Сознательное отражение их осуществляется **последовательно:** сначала происходит отражение одних, затем других и т. д., в результате чего и складывается сознательная картина окружающего. Возникновение **одновременного** сознательного отражения многих объектов является результатом ряда **последовательно** протекающих процессов» — так это написано в учебнике психологии для педагогических институтов.

Наше сознание подобно повествователю и в том, что оно также отражает не все подряд, а избирает и сопоставляет некие определенные черты и подробности фактов, событий.

Именно в силу общей психологической основы и обладает искусство глубоким влиянием на сознание человеческой личности. Как замечал еще Карамзин: «Всякое чтение имеет влияние на разум». Влияние это оказывают не только сведения, сообщаемые произведением, но и само движение нити повествования.

Дело в том, что возможности художественной нити повествования в некоторых отношениях «превосходят» возможности нити сознания человека в освоении реальности.

Чтобы оценить это, подчеркнем элементарную, прописную истину. Нить сознания, образуя отражение реальности, охватывает тот или иной факт, то или иное событие **действительности.** А нить повествования охватывает и рисует своим «пунктиром» историю вымышленную, созданную творческим **воображением.**

В житейском обиходе мы чаще всего имеем дело лишь с «фрагментами» явлений и событий. Очень часто не знаем начала и конца интересующих нас событий; о многих их сторонах не имеем никаких сведений; наконец, душевная жизнь участников событий, естественно, скрыта от нас если не вполне, то в большой мере.

Но писатель по отношению к созданной им «истории» вездесущ и всезнающ. Поэтому нить повествования охватывает эту «историю» гораздо разностороннее, полнее, глубже, чем обиходная нить сознания действительные факты и события.

Нить повествования, созданная искусством по основным законам психологии, становится на время чтения нитью нашего сознания в освоении рассказываемой «истории».

Увлекательность чтения зависит не только от захватывающего интереса к событиям, о которых повествуется, но еще и от того, что чувствуешь: все возможности твоего сознания работают с особой интенсивностью и разносторонностью; мысль и переживание так ясны, целостны, напряженны, как не часто бывает в обиходе.

При этом единство авторской идейно-эмоциональной точки зрения на всем протяжении вещи, стилевое единство «монтажа кадров» во всех ее звеньях обостряет, ширит целостность нашего сознания в охвате разных сторон и свойств изображаемого. Стиль (понимаемый не внешне) имеет существеннейшее воздействие на целостность читательского мировоззрения.

Общаясь с гениальной книгой, мы «конгениальны» ее автору. И это не может не оставлять в нас определенный «отблеск». Не проходит бесследно и увлечение пошлыми, тупыми сочинения-

ми, ибо, хочешь не хочешь, оказываешься «конбездарен» их недалеким создателям.

Книга может быть и величайшей окрыляющей силой, и отупляющим «наркотиком». Если разобраться, не такое уж преувеличение — афоризм, кажется, Стендаля: «Дурной вкус доводит до преступления».

3. СТИЛЬ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО

Стиль нередко понимают чересчур уж просто: как повторение чего-либо одинакового. (Вроде того как на всех предметах «стильного» гарнитура мебели одинаковые, допустим, шишечки).

Но такое **внешнее** представление о стиле, думается, далеко не достаточно. Не удовлетворяет, упомянутое вначале, предлагаемое энциклопедической статьей, определение стиля как **внешнего** «физиогномического» единства, потому что определенно чувствуешь: стиль — свойство глубинное.

И мне кажется: вернее другая характеристика стиля (предлагавшаяся в БСЭ, и в других словарях) — «Совокупность идейно-художественных особенностей». Такая характеристика подразумевает именно глубинность стиля.

Важно, однако, представить это предметно. Тут, по-моему, на правильный путь наводит проникновенное замечание Чехова:

«Писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и вас зовут туда же, и вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель... каждая строка пропитана, как соком, сознанием цели... и это пленяет вас».

Не вправе ли мы сказать: **стилевое единство** и состоит в единой **целеустремленности** произведения?

Но это останется общей фразой, если не обозначить с достаточной конкретностью **цель** произведения.

И тут мы должны напомнить ту истину, что в работе писателя, собственно, две цели: единые, но достигаемые различными путями.

Дабы вести повествование, писатель, конечно, должен сочинить ту «историю», которую рассказывает.

«То, что не выросло и не созрело во мне самом — то недоступно моему перу», — утверждал Гончаров.

«Заранее — говоря чеховскими словами — обдуманное намерение» писателя, конечно, состоит в том, чтобы сочиняемая им «история» говорила собой о многом в жизни, обобщала, типизировала.

Этой целью художественного вымысла определяется и цель **повествования,** целеустремленность нити повествования. Но если цель вымысла в том, чтобы обобщить, типизировать жизнь, то цель повествования в том, чтобы эта «история» во всей своей внутренней значимости «уложилась» в читательском сознании.

Мы старались подчеркнуть, что нить повествования представляет собой вереницу «кадров», писателем «монтируемых». Заинтересуемся теперь: откуда берутся эти «кадры», что собой представляют?

Вот сознание наше охватывают один за другим эпизоды «Страшной мести». Уже с первой главы, с появления чудовищного колду-

на, мы в атмосфере легендарно-фантастической. От эпизода к эпизоду нарастает ужас происходящего. Вот видят Данило с Катериной мертвецов — предков колдуна, — поднимающихся из могил на днепровском берегу. Вот оказывается, что Катеринин отец и есть этот колдун. Вот узнает Данило, что колдун зарезал мать Катерины. Припав к окну бесовского замка, видит Данило: колдун вызвал к себе Катеринину душу и требует, чтобы дочь стала его женой. Вот колдун, запертый в темнице, добивается, что Катерина выпускает его. Вот предательским выстрелом из мушкета колдун убивает пана Данила. Вот ребенок Катерины в колыбели зарезан колдуном. Вот сходит с ума Катерина, и колдун закалывает ее ножом. Вот происходит неслыханное чудо: на самой высокой из Карпатских гор становится далеко виден исполинский всадник. В ужасе мчится колдун в Киев, умоляет святого схимника помолиться за его душу и, получив отказ, убивает схимника. Вот ухватывает исполинский всадник колдуна и швыряет его в пропасть... Вот поднявшиеся из пропасти мертвецы грызут колдуна...

Все это отнюдь не воспринимаешь как ходульное «нагромождение ужасов», характерное для иных «романтических» произведений начала XIX века. Каждый из этих легендарно-фантастических эпизодов написан реалистически — зримо, ощутимо, дышит ужасом отнюдь не наигранным.

Однако все эти злодеяния колдуна, все эти кровавые события кажутся в чтении загадочно-разрозненными; чем дальше, тем настойчивее вопрос: а почему, по какой причине, творит все это колдун? Повесть названа «Страшная месть». Но кто мстит кому? Нет ведь никаких причин колдуну мстить своей жене, дочери, Данилу, множеству других людей, им погубленных.

...Вместе с тем ощущаешь внутреннюю единую целеустремленность всего в повести. Но цель остается неясной; и это резко напрягает внимание, обостряет переживание.

Но вот последняя глава. Бандурист в городе Глухове поет народу про одно давнее дело.

Ехали два козака, два друга-побратима — Иван и Петро, щедро награжденные королем Степаном за победу над турецким пашой. Ехали по горам, над пропастью. Иван вез с собою сына-младенца. Задремал Иван, Петро столкнул его вместе с младенцем в пропасть и завладел один всем добром.

Когда, годы спустя, умер Петро, бог призвал на суд души обоих названных братьев. И предложил Ивану самому выдумать казнь для Петро, поскольку даже он, бог, затрудняется.

Долго думал Иван и наконец выдумал казнь исключительно сложную и жестокую. Он потребовал, чтобы все потомки Петро не имели на земле счастья; и чтобы **самый последний в роде был такой злодей, какого еще и не бывало на свете.** И чтобы при каждом его злодействе деды и прадеды вставали из могил, терпя муку неведомую. И чтобы когда достигнут предела злодейства последнего потомка Петро, бросить его Ивану к этим мертвецам, и они вечно грызли бы его на радость Ивану.

Казнь, изобретенная Иваном, пугает даже бога, видавшего виды. Но он обязался исполнить волю Ивана. Однако наказывает и его, определяя ему вечно сидеть на коне там, в горах, не зная царствия небесного.

Почему потрясен бог местью Ивана? Да потому, что Иван, думая лишь о том, чтобы неслыханно жестоко отплатить Петро, упустил

из виду страшную необходимость: для того чтобы был последний потомок Петро небывалым злодеем, должно погибнуть от его злодейской руки множество ни в чем не повинных людей. Мстя преступному Петро, Иван обрекает на гибель этих неповинных. Вот почему это страшная месть.

И как только дочитываешь эту последнюю главу — все эпизоды повести, дотоле казавшиеся разрозненными, собираются воедино. Злодей-колдун — последний потомок Петро. Предмет повествования — самый финал страшной мести, «запроектированной» Иваном столетия назад; злодейства колдуна нарастают, чтобы, как оно предусмотрено местью Ивана, переполнить чашу.

Если вникнуть, заметишь: примечательный процесс происходит в нашем сознании, когда мы дочитываем повесть. «Кадры» и «эпизоды», составлявшие нить повествования, следовавшие один за другим, «перемещаются» в нашей памяти, становясь как бы «мозаичными камешками», образующими уже единую, целостную картину, охватывающую все — от преступления Петро и мстительного замысла Ивана до того, чем обернулась эта страшная месть.

И если наивно-схематически обозначить ход творческого процесса, то можно сказать: создав художнической фантазией сполна эту легенду, Гоголь мысленно разымает ее на «кадры» и «эпизоды» и «монтирует» их в нить повествования так, как шло бы сознание, двигаясь от отдельных впечатлений и фактов к обнаружению связей и причин, к постижению и переживанию открывшейся таким путем общей картины.

Стилевое единство нити повествования и зависит от того, что «кадры», ее образующие, — звенья одной картины; и перегруппированы они, «перемонтированы» из «широкого полотна» в «нить», целеустремляемые интересами наибольшего внедрения в читательское сознание всего значения складывающейся общей картины.

И «Страшная месть», и любое произведение, глубоко отражающее жизнь — бытописательными ли, символическими ли, сказочными ли путями, — подтверждают правоту Эйзенштейна, утверждавшего: «Произведение искусства, понимаемое динамически, и есть процесс становления образов в чувствах и разуме зрителя. В этом особенность подлинно живого произведения искусства и отличие его от мертвенного, где зрителю сообщают изображенные результаты некоторого протекавшего процесса творчества, вместо того чтобы вовлекать его в протекающий процесс».

Эйзенштейн, развивая свою теорию монтажа, говорит, что произведение искусства «всю изощренность своих методов обращает на **процесс** становления образов» в сознании зрителя или читателя. Но устремлен к этому художник, замечает Эйзенштейн, «естественно, добиваясь **результата»**.

Эйзенштейну, конечно, показался б нелепым монтаж, не ведущий к важному и четкому образному **результату**. Но в борьбе с влияниями модернизма, насаждающего как раз **безрезультатные процессы** творчества и общения с искусством, значение **результата** очень важно подчеркивать.

«Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства», — настаивал Гоголь. И в этой высокой задаче искусства неотъемлемую и важнейшую роль играет стиль — всепроникающее идейно-художественное единство произведения.

В искусстве нового времени такой стиль выковывается в худож-

нической борьбе с «размагничивающими» влияниями, с, так сказать, «энтропией» великих возможностей искусства под воздействием идей и практики модернизма.

4. ДВЕ ЭСТЕТИКИ — ДВА ПОНЯТИЯ О СТИЛЕ

Проблема стиля имеет свою историю. В упомянутой статье «Философской энциклопедии» предлагается краткий очерк этой истории. В какой мере соответствует он действительности?

Ввиду важности вопроса разберемся с необходимой детальностью.

«Проблема стиля оказалась в центре внимания эстетического сознания во 2-й половине 19-го века» — так, несколько неопределенно, начинается этот очерк.

В известном отношении это верно. Взяв, например, сборник высказываний крупнейших писателей — от Пушкина до Чехова — о своем труде, почти вовсе не находишь самого слова «стиль». Значит ли это, однако, что сама проблема не была в центре внимания Пушкина или Лермонтова, или Гоголя, или Гончарова, или Некрасова?.. Никто, наверно, не будет отрицать, что их произведениям в высшей степени свойственны и характерность, и целостность, то есть то самое, что называем «стиль». И так как в искусстве ничто не является само собой, то, очевидно, писатели эти работали над стилем, хоть и не твердя об этом, не выпячивая это понятие. Надо при этом заметить, что, не говоря о работе над стилем, великие эти мастера в своих высказываниях очень много уделяют внимания **художественному единству, целеустремленности, впечатляющей силе произведения.**

Они достигали высот стиля, вовсе не работая специально над стилем, но оттачивая все в произведении соответственно захватывавшей их цели.

Этот парадокс можно пояснить простым обиходным сравнением. Вообразим, человек говорит себе: «Хочу быть **умным**». Может ли он развить в себе ум просто так, сам по себе? Конечно, нет. Только в определенной деятельности. И действуя, он будет заботиться уже не о развитии ума, а о решении задач, возникающих перед ним. При этом разовьется и ум — как результат сложной и многосторонней работы сознания. В общем, туманное утверждение энциклопедической статьи о том, что «проблема стиля оказалась в центре внимания во 2-й половине 19-го века», явно требует уточнения. Дело обстояло, видимо, так, что в эти времена интерес к стилю в какой-то среде принял какой-то иной, особый оборот. Какова причина этого?

Энциклопедическая статья очерчивает поистине ужасающее, катастрофическое положение по части стиля, будто бы существовавшее в искусстве до второй половины XIX века. Пишется так: «Появившиеся в этот период признаки стандартизации внешних форм искусства, выделение их из первоначальной целостности образа и распространение в виде унифицированных шаблонов художественного выражения вызвало — в качестве ответной реакции — резкое подчеркивание специфичности стиля художника, его неповторимой индивидуальности». Искусство будто бы заполонили стили «безликие

и механические (!), имевшие все более автоматический характер»; стиль в искусстве «создавался без ощутимого влияния личности и представлял собой твердую, объективную, внеличную систему форм, принятых обществом в целом».

Говорится это совершенно огульно о всем искусстве XIX века. Но ведь немедленно вспоминаешь Тургенева, Достоевского, Лескова, Толстого, Чехова (если говорить только о русских писателях). Неужели они пользовались «стандартизированными формами», писали по «унифицированным шаблонам»? Будто уж художническая личность не сказывалась в их творениях?

И, однако, энциклопедическая статья повествует о некоем новом понимании стиля, возникшем в конце XIX века, прямо-таки как о спасении искусства. Пишется:

«В царстве практического интереса и всеобщего отчуждения стиль стал выступать как символ победы духа и признак свободного человеческого отношения к миру».

«Безликим и механическим стилям... были противопоставлены индивидуальные художественные стили...»

Но кто именно «противопоставил», явившись «спасителем» искусства? На этот счет в статье ни слова.

А в чем состоит этот «спасительный» для искусства стиль? Вот об этом произносятся скупые слова, позволяющие все же представить, что подразумевается.

«Именно в эту эпоху стиль был обостренно осознан как форма, в материале которой (красках, звуках, словах) отразилась человеческая личность», — гласит статья.

Знакомые мотивы... Художническое самовыражение — прямиком через красочные вещества, выдавливаемые из тюбика; или — сами по себе слова, независимо от того, о чем речь... «Самовитое слово»... И тому подобное...

Неужели энциклопедическая статья, ее не оставивший нам своего имени автор, выдвигает на роль «спасителя» стиля **модернизм**?..

Надо заметить: самого слова «модернизм» в статье нету. И, однако, несомненно: именно модернизм превозносится тут как «победа духа» и «свободное человеческое отношение к миру».

Ибо молвятся слова, не оставляющие уже никаких сомнений.

Пишется, что этот новый «стиль возникает лишь через качественное пересоздание выразительных форм и элементов, находимых художником в действительности».

Что означает «качественное пересоздание»? По-видимому, не что иное, как пресловутую **деформацию** — основной принцип модернизма.

Во имя чего так расправляется художник с «формами и элементами» действительности? Во имя «подчинения их индивидуальному замыслу и внутренней структуре данного произведения», — гласит статья, то есть на основе чистого субъективизма и полного презрения к объективной реальности. Вот, оказывается, в чем состоит «свободное человеческое отношение к миру», — в отказе от художественного познания реального мира.

Принципы модернизма обозначены в статье хоть и «анонимно», но верно. Зря только они так уверенно противопоставляются всему предыдущему искусству как нечто «высшее». Так же напрасно выдаются эти модернистские принципы за всеобщие в «искусстве нового времени». Не будем уж говорить о мастерах социалистического реализма; но ведь и критические реалисты Запада, будь

то О'Генри, Уэллс, Голсуорси, братья Манны, Гауптман, Роллан, Гамсун (изрядный вышел бы список), произведения которых явно обладают характерностью стиля, отнюдь не стремятся к «деформации» реальности, подчиняют свое творчество отнюдь не одним причудам «индивидуального замысла», а прежде всего художественному исследованию объективной действительности.

Таким образом, чистейшая фантазия — утверждение, будто модернизм представляет собой все искусство нового времени. Истина фактов требует вести речь о борьбе в новое время искусства, отражающего реальность, и искусства, принципиально отказывающегося отражать реальность.

Не только теоретики, но и сами художники-модернисты постоянно подчеркивают свой принципиальный отказ от познания действительности, сосредоточение исключительно на «субъективном». И отказ от художественного познания действительности, разумеется, меняет понятие о стиле.

Конечно, без **нити повествования** не обходится, по коренным законам сознания, и модернистское творчество. Но **качество** этой нити становится совершенно иным.

Чтобы пояснить это, возьмем (из опубликованного в № 12 журнала «Иностранная литература» за 1970 год) такое вот стихотворение Т. С. Элиота:

РЭННОХ, ДОЛИНА ГЛЭНКО

Здесь голоден ворон, здесь кроткий олень
Пригоден для пули. В пространстве неярком
Меж небом и вереском ловкий прыжок и полет
Ни к чему. В тонком воздухе лунный
Либо жар, либо лед. Путь колеблется между
Равнодушием вечной вражды
И апатией сломанных копий.
Между шумом греха и безмолвием зла.
Здесь природы распад. Только память сильна
По ту сторону плоти. Гордость пала.
Но тень ее, та, что нетленна, ее смертного ложа длина
Не совпадает с размерами плоти.

Разбираясь в своих впечатлениях от этой вещи, что можно сказать?

Совершенно несомненно, во-первых: эти строки не запечатлевают в памяти какой бы то ни было единой целостной картины.

Движение образов этой нити повествования не ведет ни к какому образному результату.

Если в произведениях, отражающих жизнь, нить повествования оказывается нитью познания, то здесь эта нить... Что же она собой представляет?

Может быть, эти строки — ряды отрывочных мыслей, представлений, возбужденных неким пейзажем? Причем сам пейзаж уж не важен, являясь лишь толчком для возникающих воспоминаний, «раздумий» уже о чем-то другом?..

Может быть, уместно сказать: нить повествования тут является неким обрывком «потока сознания», и вся ее ценность в том, что поэт «улавливает», «запечатлевает» частицу того «потока»? Известно

ведь, что доктрина «потока сознания» — одна из основополагающих в модернистской эстетике. Но, ограничась этим, мы впали бы в досадную поверхностность.

Дело-то в том, что живое человеческое сознание по самой своей природе не осуществляется помимо отражения реальности. Не могут быть воспроизведены мысли и чувства помимо того, о чем и к чему они. В этом каждый может убедиться, попробовав «думать ни о чем». И «поток сознания» без той реальности, которую он охватывает, есть, с психологической точки зрения, абсурд. Невозможен психологически и «чистый», «стопроцентный» субъективизм, вне так или иначе отражаемой объективной реальности.

Но тут, хотя будто бы воспроизводится «поток сознания», однако, собственно, ничто не сознается. Все тут, можно сказать, демонстративно-бессвязно. Живого движения сознания, живого порыва, хотя бы и хаотической, мысли, чувства тут не ощущается.

Перед нами не действительный «поток сознания», а рассудочная имитация «потока сознания». Автор исходит из предвзятой, психологически нереальной доктрины о независимости сознания от впечатления действительности и, «симулируя» такой самодовлеющий «поток», последовательно нагнетает фразы, резко расходящиеся с логикой жизни, принципиально не сообщающие ничего определенного.

Абсурдные словосочетания — вроде «лунный жар», или «тень гордости», или «размеры плоти» и так далее — нагнетаются усиленно и систематически, «холодным способом» (как говаривал Толстой). Таким путем создается некое единообразие бессвязности, абсурдности; преувеличенно заметный, чисто внешний стиль. Мертвящим холодом, скукой суесловия веет от этого стихотворения, как и от любого из модернистских творений, которые могут порой озадачивать, зачастую лицемерно восхваляться желающими «быть на уровне», но бессильны вступить в живую душевную связь с человеком. Отказ от художественного познания жизни неизбежно также и отказ от живого общения с людьми, для которых это познание кровная, насущнейшая, жизненно важная, как дыхание, потребность.

Модернисты любят рассуждать о стиле. Любят уверять, будто реалисты вообще — и социалистические реалисты, в частности, — стилем пренебрегают. Было бы очень наивно поддаваться на такую «подначку». «Стиль», натужно-доктринерски комбинируемый в модернистском творчестве, не имеет ничего общего с живым, органическим стилем реализма.

Определение социалистического реализма гласит, что он предполагает «широкий выбор стилей». И это, конечно, не значит, что стили в самом деле «выбираются» готовыми наподобие одежд и париков в костюмерной. А значит лишь то, что социалистический реалист (как и реалист вообще) чужд предвзятым заботам о стиле, ничуть не склонен, так сказать, «запрягать телегу впереди лошади».

Бесконечно многообразный стиль социалистического реализма возникает как проявление острой целеустремленности, глубокого — идейного, художественного, психологического — единства всего в произведении. На этом-то, естественно, и необходимо сосредоточиваться в спорах о стиле, в борьбе с влияниями модернистской эстетики.

Для модернистского творчества, принципиально отвергающего художественное познание жизни, вполне закономерно, по-своему «логично» возникновение чисто внешних понятий о стиле.

Но как могли явиться в искусствознании чисто внешние понятия о стиле применительно к искусству вообще?

В теоретическом отношении «приоритет» принадлежит тут Генриху Вельфлину. В 1915 году он издал свой известный труд «Основные понятия истории искусств» (русский перевод 1930 года). Рассматривая живопись, скульптуру, архитектуру эпохи Возрождения и эпохи барокко, Вельфлин вывел «пять пар основных понятий», характеризующих, по его мнению, два вида художественного стиля.

В эпоху Ренессанса, полагал он, господствовал линейный стиль, главную роль играла линия. А в эпоху барокко возник живописный стиль, главную роль приобрели свет и тень, их контрастные «пятна». Таким же способом сопоставлял Вельфлин искусство этих эпох и в других планах.

Вельфлин пытался описать «стиль эпохи»; очертить, как он говорил, «историю искусства без имен»; рассуждать о всеобщем стиле, так сказать, «через голову» отдельных художников. При этом получалась характерная «неувязка». О «стиле эпохи» он, как ему казалось, рассуждал свободно. А стиль отдельного произведения или творчества такого-то мастера пояснить затруднялся. Между тем искусство эпохи возникает не иначе как в деятельности ряда творческих личностей. Пути творчества каждого из художников — пути, естественно, психологические. Вне социально-психологического подхода нельзя, очевидно, рассуждать о стиле эпохи.

Любопытно, что сам Вельфлин отмечает изрядный разлад своей теории стиля с живым художническим опытом. Он сетует: «Художников нелегко заинтересовать вопросами истории стиля. Они подходят к произведению исключительно со стороны его ценности: хорошо ли оно? Обладает ли внутренней законченностью? Изображена ли на нем натура достаточно сильно и ясно?»

Можно прибавить: не иначе подходит к произведению и зритель в своем живом общении с искусством.

Вельфлина впоследствии назвали «формалистом». Это едва ли верно, если подразумевать действительное исследование художественной формы искусства. Вельфлин скорее был «формалистом» в другом смысле слова. Определенно есть нечто канцелярско-бюрократическое в том, как, полностью отвлекаясь от живых впечатлений искусства, старался Вельфлин регистрировать саму по себе «линейность», «живописность» и т. д.

Вельфлиновская теория стиля — схоластическо-схематическая. Но такое чисто внешнее понимание стиля пришлось «ко двору» модернистской эстетике, давая ей, так сказать, «историческую базу», заверения, что вот испокон веков стиль тоже был (вроде как и у модернистов) категорией чисто внешней.

Такое понимание стиля искусства вызывало резкую полемику. Стоит упомянуть, например, Синклера Льюиса, который в «Письме о стиле» яростно настаивал, что стиль не вносится внешним, предвзятым образом, что серьезный писатель даже и не думает о стиле, что стиль — это результат внутренних процессов творчества.

Примечательно, что, например, даже в далекой от марксизма «Истории эстетики» Катарин Гилберт и Гельмута Куна (русский перевод 1960 года) Вельфлин характеризуется как запоздалый сторонник «классицизма», стремящийся «выделить формальные образцы, пригодные во всех случаях», как «дилетант высокой культуры», как один из представителей «века невежества и обширной осведомленности».

В марксистско-ленинском искусствознании вельфлиновская теория стиля постоянно расценивалась отрицательно. Не только в специальных трудах, но и в словарях, энциклопедиях, где в статьях «Стиль» непременно вспоминался Вельфлин как сторонник мертвенно-формалистических понятий о стиле. Озадачивает поэтому тот факт, что в статье «Философской энциклопедии» отсутствует даже упоминание о Вельфлине, а зато как бы «взято на вооружение» вельфлиновское понимание стиля как внешнего единства.

Надо ли понимать это как «примирение с Вельфлином» нашей эстетической мысли? Но о таком «примирении» в статье ни слова, Вельфлин «исчезает», а марксистской эстетике предписывается внешнее понимание стиля.

Однако «интеграция» марксистской и модернистской эстетики, противоестественная вообще, едва ли реальна и в области стиля.

Стремлением привлечь внимание к этим существеннейшим обстоятельствам творчества, общения с искусством и продиктованы данные заметки.



В третьем, четвертом и пятом номерах «Молодой гвардии» за 1971 год был опубликован роман Михаила Барышева «Вторая половина года» о трудовом коллективе огромного современного предприятия. В основу романа легли впечатления писателя о Новокраматорском машиностроительном заводе, где он ранее работал, куда не раз впоследствии приезжал в творческие командировки.

И вот недавно в Краматорске состоялась читательская конференция по роману Михаила Барышева. Вместе с писателем в гости к краматорцам приехали литературный редактор отдела прозы журнала Инесса Назарова и поэт Виктор Кожевников.

В просторном зале инженерного корпуса Новокраматорского завода собрались рабочие, инженеры, служащие этого машиностроительного гиганта. М. Барышев кратко познакомил собравшихся со своим творчеством, рассказал о трудностях, которые стояли перед ним, когда он работал над романом «Вторая половина года». И хотя автор призвал читателей не искать реальных прототипов героев, все выступавшие говорили о романе как о книге, написанной об их родном заводе, о заводской молодежи, узнали в некоторых героях произведения своих товарищей по работе. Не это ли свидетельство того, что все, о чем написано в романе, близко и дорого новокраматорцам! Ведь именно им, рабочим, и посвятил свое произведение писатель.

Выступавшие отмечали, что автору удались образы старого станочника Игната Ремнева, секретаря комсомольской организации Лиды Калинкиной, молодых рабочих Паши Воробцова, Ларисы Сосниной, Вальки Спицына и других.

В заключение Михаил Иванович Барышев поблагодарил собравшихся, сказал, что ему было очень полезно и приятно услышать мнение читателей о романе.

Кроме читательской конференции, состоялись интересные, волнующие встречи с секретарями цеховых партийных организаций Новокраматорского завода, с рабочими фасоннолитейного цеха, с журналистами и культпросветработниками Краматорска.

Представители журнала приняли участие в городском слете трудовых династий; желанными гостями индустриального Краматорска были династии машиностроителей нашей страны, участники Всесоюзного слета трудовых династий, который проходил в городе Донецке.

* * *

У нас в гостях побывала группа литераторов Киргизии: Омор Султанов, секретарь Союза писателей Киргизии; Александр Васильевич Жирков, редактор журнала «Литературный Киргизстан»; ответственный секретарь этого же журнала Вениамин Петрович Горячих; Курмайбек Абдукеримов, заведующий редакцией художественной литературы издательства «Мектеп»; Леонид Борисович Дедюченко, очеркист; доценты Киргизского государственного университета, литературоведы Александр Михайлович Рудов и Рея Султановна Шамурзина.

Омор Султанов рассказал о молодой киргизской литературе, назвал имена молодых талантливых поэтов и прозаиков, чьи произведения с успехом могли бы печататься на страницах журнала.

Гости интересовались творческими планами редакции в новом году, работой с авторами из союзных республик.

В одном из ближайших номеров мы познакомим наших читателей с творчеством молодых поэтов и прозаиков Киргизии.

* * *

Группа сотрудников и авторов журнала в составе заместителя главного редактора Анатолия Иванова, заведующего отделом поэзии Геннадия Серебрякова, прозаиков Михаила Барышева, Петра Проскурина, поэтов Виктора Кожевникова, Николая Старшинова и Владимира Шленского выступила перед читателями Библиотеки имени В. И. Ленина. Они рассказали о перспективном плане журнала, поделились своими замыслами, поэты читали новые стихи.

* * *

В Доме культуры завода «Фрезер» состоялась встреча с комсомольцами, выпускниками двух школ. Перед ними выступили автор недавно опубликованной в журнале повести «Тревожный месяц вересень» Виктор Смирнов, поэты Михаил Беляев и Александр Говоров.

ОТ РЕДАКЦИИ:

В № 12 за 1971 г. по вине работника редакции не указан переводчик романа Нодара Думбадзе «Не бойся, мама!» Зураб Ахвледиани.

Наш адрес:

Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва, А-30, Сущевская, 21, Редакция журнала «Молодая гвардия». Коммутатор — 251-15-00; отдел прозы — доб. 2-40; отдел поэзии — доб. 4-13; отдел очерка и публицистики — доб. 4-26; секретариат — доб. 4-16; отдел критики — доб. 4-14; отдел занимательной информации — доб. 3-66.

Сдано в набор 14/XII 1971 г. Подп. к печати 27/I 1972 г. А06815.
Формат 84×108 1/32. Печ. л. 10 (усл. 16,8). Уч.-изд. л. 21,4.
Тираж 374 000 экз. Зак. 2641. Цена 60 коп.
Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.

МАГАЗИН № 155 МОСКНИГИ ВЫСЫЛАЕТ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

- Гражданское и торговое право капиталистических государств. Учебное пособие. Изд-во «Международные отношения», 1966, цена 1 р. 42 к.
- Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. Учебное пособие для студентов исторических факультетов. Изд-во МГУ, 1968, цена 1 р. 44 к.
- История государства и права зарубежных стран. Часть II. Изд-во «Юридическая литература», 1969, цена 1 р. 17 к.
- История международного рабочего и национально-освободительного движения. Часть II (1917—1939). Учебное пособие. Изд-во «Мысль», 1969, цена 1 р. 13 к.
- История средних веков. Том II. Под редакцией члена-корреспондента АН СССР С. Д. Сказкина, проф. А. С. Самойло и канд. ист. наук А. Н. Чистозвонова. Политиздат, 1954, цена 89 коп.
- История СССР. Том II (1861—1917). Соцэкгиз, 1959, цена 50 коп.
- Курс лекций по истории Коммунистической партии Советского Союза. Часть III (1945—1966). Изд-во ЛГУ, 1969, цена 47 коп.
- Курс лекций по истории КПСС. Под редакцией проф. С. И. Мурашова. Часть II (1925—1969). Изд-во «Высшая школа», 1969, цена 70 коп.
- Курс лекций по истории КПСС. Часть II (1926—1970). Учебное пособие для вузов. Минск. Изд-во БГУ, 1971, цена 77 коп.
- Курс международного права. Учебник. Изд-во «Международные отношения», 1966, цена 1 р. 79 к.
- Курс советского уголовного права. Том I. Изд-во ЛГУ, 1968, цена 2 р. 52 к.
- Лекции по истории КПСС. Вып. I. Изд. 3-е. Под редакцией заслуженного деятеля науки РСФСР проф. д-ра ист. наук Ф. Д. Кретова. Изд-во «Мысль», 1971, цена 78 коп.
- Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. Учебное пособие. Изд-во «Мысль», 1971, цена 54 коп.
- Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. Учебное пособие. Изд-во «Мысль», 1971, цена 66 коп.
- Международное право. Учебник. Изд-во «Юридическая литература», 1970, цена 1 р. 16 к.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ: МОСКВА, И-254, УЛ. ЯБЛОЧКОВА, 8.



НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

Первая страница — рисунок Александра Плаксина, посвященный славным защитникам нашей Родины.

●

Вторая страница — монотипия художника Анатолия Зубова «Клятва».

●

Четвертая страница — фото А. Хрунова «На южной границе».

Цена 60 коп.

Индекс 70544